АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1978

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов В. В. (Москва). Русский язык в жизни народов и языков Советского Союза 3
Ширалиев М. Ш. (Баку). Процессы развития азербайджанского литературного языка на современном этапе 10

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Грубачев О. Н. (Москва). Этимологические исследования восточнославянских языков: словари 16
Сороколетов Ф. П. (Ленинград). Традиции русской советской лексикографии 26
Ахманова О. С., Магидова И. М. (Москва). Прагматическая лингвистика. прагмалингвистика и лингвистическая прагматика 43
Золотова Г. А. (Москва). К типологии простого предложения 49
Григорьева А. Д. (Москва). К вопросу об анализе языка поэтического текста. 62
Серкова Н. И. (Хабаровск). Предпосылки членения текста на сверхфразовом уровне 75
Курманбаев Н. М. (Алма-Ата). К проблеме происхождения морфологических формантов 83

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Маковский М. М. (Москва). Текстология и лексико-семасиологические исследования 92
Эдельман Д. И. (Москва). К теории языкового союза 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Бондарко Л. В., Лилич Г. А. (Ленинград), Николаева Т. М. (Москва). Чехословацкие языковеды о Л. В. Щербе 116

Рецензии

Крючкова Т. Б. (Москва) «Sprache und Ideologie» 126
Никольский Л. Б. (Москва). «Социально-лингвистические исследования» 129
Журавлев В. К. (Москва). Н. *Birnbaum*. Common Slavic 132
Арзикулов Х. (Ленинград). *Р. Г. Пиотровский*. Текст, машина, человек 136
Чесноков П. В. (Таганрог). *А. Л. Пумпянский*. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе 140
Дондуков У.-Ж. Ш. (Улан-Удэ). *Г. Ц. Пюрбеев*. Грамматика калмыцкого языка 144
Лыткин В. И. (Москва). «Suomen kielen etymologinen Sanakirja» 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Львов А. С. (Москва). Письмо в редакцию 149
Хроникальные заметки. 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64.

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1978 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ИВАНОВ В. В.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЖИЗНИ НАРОДОВ И ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Русский язык, один из наиболее совершенных языков современного мира, является величайшим достоянием духовной культуры русского народа. В свое время Ф. Энгельс писал: «Знание русского языка,— языка, который всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы,— теперь уж не такая редкость...» [1]. В. И. Ленин всегда подчеркивал богатство и силу русского языка и его значение для развития культур народов России; именно поэтому он, борясь против попыток реакционеров старой России использовать русский язык в качестве орудия русификации угнетаемых народов, одновременно считал, что необходимо создание таких условий, при которых бы «... каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку» [2].

Сформировавшийся на базе народно-разговорной речи и отшлифованный в произведениях великих русских писателей и поэтов, среди которых главное место принадлежит гениальному Пушкину, русский литературный язык как высшая форма национального языка достиг высокой степени развития своих выразительных и художественно-изобразительных средств. Историческое развитие русского языка в XX в. определяется тем, что он приобрел такие качества, которые выдвинули его в ряд мировых языков. Пророческими оказались слова А. Н. Толстого о том, что русский язык станет «...мировым языком. Настанет время (и оно не за горами),— русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара» [3]. Прошло сорок с небольшим лет с того времени, когда были сказаны эти слова, и мы явились свидетелями небывалого распространения русского языка по нашей планете.

В Советском Союзе русский язык — это не только язык русского народа, но это единое средство общения многоязычного, насчитывающего 130 языков советского народа. Выполняя функции средства межнационального общения народов СССР, русский язык обогащает другие языки нашей страны и вместе с тем развивает свои выразительные возможности. Такой единый процесс взаимодействия национальных языков характеризует современное языковое развитие в нашей стране.

Поэтому, говоря о роли русского языка в жизни народов и языков Советского Союза, надо иметь в виду два аспекта этой проблемы, а именно аспект социолингвистический, связанный с функционированием русского языка как средства межнационального общения, и аспект собственно лингвистический, связанный с влиянием русского языка на структуру национальных языков народов СССР. Первый аспект полностью определяется историческими условиями жизни народов нашей страны; второй — теми

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 18, стр. 526.
[2] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 295.
[3] А. Н. Толстой, Собр. соч. в десяти томах, 10, М., 1961, стр. 233.

процессами в развитии разных сторон структуры национальных языков, которые вызваны взаимодействием последних с русским языком.

В социолингвистическом плане усиление роли русского языка в жизни советского народа связано с расцветом культурной и духовной жизни советских национальных республик и с развитием и расширением межнациональных связей.

Как известно, до Великой Октябрьской социалистической революции Россия была страной с по существу неграмотным населением. По данным переписи 1897 г. грамотность в целом по России составляла всего 21%, причем наиболее низкий уровень грамотности был на окраинах царской России: у таджиков грамотных было около 4% населения, у казахов — 2%, у узбеков — 1,5% и т. д. Через 10 лет, к 1906 г., грамотность по России в целом возросла на 4%, но на Кавказе — только на 1%, а в Средней Азии — на 0,4%. Можно подсчитать, что при таком росте образования достичь общей грамотности в Европейской России можно было через 120 лет, на Кавказе — через 430, а в Средней Азии — через 4600 лет. Подавляющее большинство языков народов России были бесписьменными, и сфера их функционирования ограничивалась только бытом и фольклором. Около 20 существовавших тогда языков, имевших письменность, было по существу под запретом, так как обучение на этих языках не разрешалось или сводилось к минимуму.

В особом положении находился только русский язык, поставленный в положение государственного, обязательного для употребления во всех сферах жизни царской России. Против такой языковой, а тем самым и национальной политики царизма В. И. Ленин вел бескомпромиссную борьбу, однако вместе с тем он считал, что в России именно русский язык более всего и лучше всего может выполнять роль межнационального средства общения. При этом В. И. Ленин исходил из того, что в многонациональном и многоязычном государстве обязательно должно быть единое межнациональное средство общения — это историческая потребность и необходимость, однако такое единое средство не может быть насильственно навязано населению многонационального государства, ибо это означало бы политику национального угнетения, политику принижения всех наций и народностей и закрепления господства одной нации. Единое средство межнационального общения должно быть добровольно выбрано народами страны, которые делают такой выбор в своих жизненных интересах. Еще в 1913 г. В. И. Ленин писал: «...потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства. Чем демократичнее будет строй России..., тем настоятельнее потребности экономического оборота будут толкать разные национальности к изучению языка, наиболее удобного для общих торговых отношений» [4], и далее: «...потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной страны, знать который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм...» [5].

Надо иметь в виду, что русский язык, являясь языком, имеющим высоко развитые выразительные средства, богатый лексический запас для выражения всех необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности, начал становиться единым межнациональным средством обще-

[4] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 23, стр. 423.
[5] Там же, стр. 424—425.

ния уже в царской России, несмотря на угнетательскую национальную политику царизма. Это было совершенно естественно, ибо великий и могучий русский язык выполнял прогрессивные функции — нес трудящимся разных наций и народностей знания, передовые идеи, высокую культуру. Именно в русской культуре и в русском языке был заложен источник развития духовной жизни всех народов, населявших Россию, и это хорошо понимали такие прогрессивные общественные деятели, как Шевченко, Франко и Коцюбинский на Украине, Богданович в Белоруссии, Кунанбаев в Казахстане, Чавчавадзе в Грузии, Ахундов в Азербайджане, Неруца в Молдавии и т. д. Однако шовинистическая политика царского правительства тормозила распространение русского языка и препятствовала овладению им другими нациями и народностями.

После Октябрьской революции, в первые же годы советской власти были осуществлены мероприятия, направленные на ликвидацию неграмотности. К 1926 г. грамотность в СССР выросла до 56,5%, к 1939 г.— до 87,5%, а к 1959 г.— до 98,5%. Таким образом, не тысячелетия или столетия понадобились для свершения в России подлинно исторической культурной революции, а всего три с небольшим десятилетия. Это сказалось положительно на всем развитии национальных языков: была создана письменность для 50 ранее бесписьменных языков, расширились функции старописьменных национальных языков, получивших возможность беспрепятственного развития, стали формироваться литературные языки младописьменных народов, национальные языки стали преподаваться в школах и т. д.

В условиях развития и расцвета национальных языков народов СССР изменилось и положение русского языка, переставшего быть государственным и насильно навязываемым «сверху», но добровольно избранного всеми народами нашей страны как единое межнациональное средство общения.

Когда говорится о едином средстве межнационального общения, то под этим понимается не то, что один язык используется всеми при общении с носителями данного языка как родного, а то, что этот язык есть средство общения всех разноязычных наций и народностей многонационального государства между собой; иначе говоря, в нашей стране на русском языке происходит общение не только русских с нерусскими национальностями, но и носителей разных национальных языков друг с другом. При этом никаких привилегий правового характера русский язык не имеет — русский народ и русский язык равноправны с другими народами и языками, как равноправны все языки и народы Советского Союза. Дело заключается лишь в том, что русский язык, пользующийся огромным авторитетом, связанным с исторической ролью русского народа, который первым осуществил революционные преобразования в нашей стране, оказался выдвинутым на роль межнационального средства общения. Такому выдвижению способствовал ряд факторов, среди которых, помимо развитости, богатства, силы и выразительности русского языка, помимо высокой культуры, созданной на этом языке, большая роль должна быть отведена и определенным демографическим и структурно-языковым факторам.

В демографическом плане важно, что русский язык в СССР является родным для 142 млн. человек (из которых 129 млн. собственно людей русской национальности); кроме того, около 42 млн. лиц разных национальностей называют русский язык таким, которым они свободно владеют. Таким образом, 184 млн. человек, или 3/4 населения СССР, могут свободно использовать русский язык в общении между собой.

В структурно-языковом плане немаловажную роль в успешном распространении русского языка играет то обстоятельство, что он внутренне

однороден: фактическая монодиалектность русского языка, определяющаяся тем, что его диалекты не настолько отличаются друг от друга, чтобы было затруднено общение между их носителями, также облегчает использование его как межнационального средства.

Важно учесть и то, что с самых первых лет советской власти возникло тесное взаимное общение разных наций и народностей СССР, что было связано с советским строительством, с индустриализацией страны, обусловившей создание крупнейших промышленных объектов (Магнитогорск, Днепрогэс и т. д.) и потребовавшей участия в этих процессах огромного количества людей из разных районов страны, широкого обмена специалистами. Послевоенное восстановление и реконструкция народного хозяйства, рост промышленности во всех республиках, создание новых энергетических гигантов, прокладка газопроводов и магистралей и т. д.— все это усилило экономическую консолидацию народов и рост их взаимного сотрудничества. Рассматриваемые процессы нашли свое отражение в демографических явлениях. По переписи 1970 г. оказалось, что за пределами РСФСР живет 21 млн. русских, а в РСФСР — 22 млн. других национальностей; вне Украины живет 5,5 млн. украинцев, а на Украине — 12 млн. других национальностей; вне БССР живет 2 млн. белорусов, а в БССР — 2 млн. лиц не белорусской национальности; 1,5 млн. узбеков живет не в Узбекистане, в Узбекистане же живет 4 млн. не узбеков. Есть основания предполагать, что межнациональное передвижение, переселение людей, особенно молодежи, будет характеризовать нашу жизнь и в дальнейшем, а это означает, что роль межнационального средства общения, роль единого языка будет все время возрастать, ибо без такого языка работа разнонациональных трудовых коллективов невозможна. Все сказанное определяет тот факт, что в СССР широко развилось двуязычие, которое предполагает владение своим родным языком и языком русским как средством межнационального общения. Такое двуязычие носит прогрессивный характер, ибо оно облегчает решение многих вопросов в экономической, политической и культурной жизни народов нашей страны.

Наконец, важным представляется и то, что возникновение в СССР в результате осуществления ленинской национальной политики новой исторической общности — советского народа определило формирование и развитие единой по духу и принципиальному содержанию советской социалистической культуры. Л. И. Брежнев говорит: «Сегодня мы уже с полным правом можем сказать: наша культура — социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразная по своим национальным формам и интернационалистская по своему духу и характеру» [6]. Образование такой единой социалистической культуры народов СССР не означает отрицания в ней национального, ибо, по словам В. И. Ленина, «...интернациональная культура не безнациональна...» [7]. Содержание социалистической культуры определяется общественно-политическими, правовыми, философскими, нравственными нормами жизни советского общества, и нормы эти едины для всего советского народа. Форма же социалистической культуры определяется условиями жизни той или иной нации или народности, ее бытом, традициями, языком, т. е. она имеет национальный характер. Такая национальная форма делает более доступным для широких масс той или другой нации социалистическое содержание культуры. Русский язык, как и другие языки нашей стра-

---

[6] Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, в его кн.: «Ленинским курсом», 4, М., 1974, стр. 59—60.

[7] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 120.

ны, оказывает сильное влияние на развитие социалистической культуры советского народа. Вступая во взаимодействие с языками народов СССР, русский язык стал выступать как средство обогащения многообразной по своим национальным формам социалистической культуры. Такая роль русского языка определяется прежде всего тем, что через русский язык идет обмен духовными ценностями разных народов, через русский язык представители всех национальностей и народностей приобщаются к мировой культуре, к культуре разных национальностей.

В собственно лингвистическом аспекте роль русского языка в жизни языков народов СССР определяется тем, что, будучи высоко развитым, гибким и богатым по выразительным средствам, русский язык вступает в тесную связь с другими национальными языками через художественную литературу и средства массовой коммуникации и оказывает влияние на развитие и обогащение национальных языков народов СССР.

Влияние русского языка на структуру национальных языков заключается не в том, что последние теряют свою национальную специфику, меняют свой языковой строй, проникаясь, так сказать, русскими элементами и т. п.; оно заключается в том, что под влиянием русского языка в национальных языках интенсифицируются такие процессы, которые характерны для языкового развития современного общества. К этим процессам относятся стирание и утрата диалектных черт под влиянием литературного языка, распространение и укрепление литературных норм, социально-профессиональная дифференциация языков и т. д. Все эти процессы, определяющие развитие современного русского языка, осуществляются и в национальных языках, будучи стимулированными русским языком. Нет сомнения в том, что все они ведут к укреплению высшей формы национальных языков, к развитию литературных национальных языков, их выразительных и художественно-изобразительных средств.

В этом плане специального внимания заслуживает тот факт, что под влиянием развитой русской литературной стилистической системы многие литературные языки народов СССР выработали и развили такие структурно-функциональные стили, как научный, публицистический, официально-деловой. Развитие стилевой полифункциональности в национальных литературных языках народов СССР, опирающейся на принципы использования языковых средств в стилистических целях, выработанные в русском языке,— это свидетельство обогащения и развития национальных языков, а тем самым и национальных культур.

Однако, пожалуй, наиболее важным в общелингвистическом плане влияние русского языка на языки народов СССР оказывается в области лексики. Здесь это влияние обнаруживается не просто в том, что из русского языка в национальные заимствуется научно-техническая и общественно-политическая терминология, что ведет к образованию единого терминологического фонда языков народов СССР, но — главное — в том, что взаимодействие русского и национальных языков обусловило возникновение общего лексического фонда этих языков, отражающего общее в политической, экономической и культурной жизни советского народа.

Понятие общего лексического фонда теперь уже достаточно укрепилось и определилось в науке о национальных языках, причем исследователи, занимающиеся этой проблемой, в достаточном согласии полагают, что это понятие не совпадает с понятием интернациональной лексики, хотя последняя своей основной частью входит в общий лексический фонд. Общий лексический фонд богаче и обширнее интернациональной лексики; в семантическом же плане он определяется сферами связей между народами нашей страны. Общий лексический фонд включает в себя слова, характеризующие общественно-политический строй СССР, его экономику,

науку и технику, достижения социалистической культуры, международную жизнь, быт (особенно современный), топонимику, антропонимику, ономастику в целом. В этот фонд входят разные с точки зрения происхождения слова: это и интернационализмы, проникшие в общий фонд преимущественно через русский язык (типа *социализм*, *революция*, *космос* и т. д.), и заимствования из русского языка и кальки с русских слов (типа *ленинизм*, *комсомол*, *ударник* и т. д.), и заимствования из других языков народов СССР (типа *арык*, *акын*, *чайхана* и т. д.) [8].

Нельзя отрицать, что элементы лексической общности языков народов России начали формироваться еще до Октябрьской революции, когда в национальные языки попадали русские слова, приходившие вместе с заимствованными реалиями; это были слова, в основном относящиеся к бытовой лексике, а также, в меньшей мере и особенно в начале XX в., к общественно-политической и научной терминологии; такие слова попадали в национальные языки в результате прежде всего устного общения.

Однако для тех периодов едва ли возможно говорить об общем лексическом фонде, так как все процессы заимствования слов из русского или через посредство русского языка носили спорадический характер и нередко ограничивались только отдельными национальными языками, т. е. их распространение было ограничено регионально. Образование действительно общего лексического фонда стало возможным только в годы советской власти и было связано с формированием новой исторической общности — советского народа. Образование такого фонда — это следствие активных процессов взаимодействия национальных языков между собой и с межнациональным средством общения — с русским языком. В. В. Виноградов отмечал: «Сходства и соответствия в языках страны Советов, обусловленные воздействием русского языка, проявляются: 1) в расширении сферы влияния русских, особенно новых, советских, выражений, в калькировании их; 2) в стремительном распространении советизмов, в их движении из одного языка в другой; 3) в освоении основного фонда интернациональной лексики через посредство русского языка; 4) вообще в усилившейся тенденции к языковой интернационализации, в особенности к советской языковой интернационализации; 5) в приобщении к мировой культуре и цивилизации — в ее, так сказать, народной русской оценке, в ее русском восприятии» [9].

В процессе образования общего лексического фонда исследователи видят два явления, связанные с различиями младописьменных и старописьменных языков народов СССР. Младописьменные языки, не имеющие традиций создания общественно-политической, экономической, научной и технической лексики, идут по пути прямого заимствования соответствующих слов из русского языка; старо же письменные языки с устоявшимися письменно-литературными традициями, богатым лексическим запасом предпочитают заимствовать структурные модели, по которым из собственного языкового материала создают новые слова и словосочетания [10]. Поэтому в составе общего лексического фонда есть две группы структурно разных единиц: с одной стороны, это слова с общей исходной фонетической и морфологической структурой, заимствованные из русского или из другого языка народов СССР или интернационализмы, взятые в готовом виде; попадая в тот или иной язык, такие заимствования переживают изменения в фонетическом и морфологическом своем облике, подчиняясь

---

[8] См. подробнее: «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР», Киев, 1976, стр. 51—60.

[9] В. В. Виноградов, Великий русский язык, М., 1945, стр. 165—166.

[10] См. подробнее: «Русский язык — язык межнационального общения...», стр. 55.

звуковым и формальным законам заимствующего языка [11]; с другой стороны, это слова и словосочетания, созданные по моделям русского или иного языка из собственного языкового материала по законам слово- и формообразования данного языка.

Образование общего лексического фонда — это единый процесс, протекающий во всех языках народов СССР, хотя приемы и способы усвоения и освоения иноязычных слов, образующих этот фонд, в разных языках различны. Однако важно при этом подчеркнуть, что русский язык активизирует в национальных языках их словообразовательные и структурно-грамматические возможности, содействуя их развитию и совершенствованию, а это в конечном счете определяет развитие и подъем общего духовного и культурного уровня народов.

Еще до Октября В. И. Ленин, выдвигая русский язык на роль языка межнационального общения в будущем демократическом государстве, предсказывал, что русский язык обогатит культуру других народов и даст им возможность приобщиться к великим культурным ценностям человечества. Вся история нашей страны, первого в мире государства развитого социализма, подтверждает справедливость ленинского предсказания: русский язык в жизни народов Советского Союза стал могучим средством воздействия на языки и культуры всех наций и народностей нашей страны.

---

[11] Вместе с тем надо признать и существование обратной тенденции, а именно тенденции сохранять фонетический и морфологический облик заимствованных слов, сохранять слово в том виде, какой оно имеет в языке-источнике. Эта тенденция наиболее сильно стала действовать в младописьменных языках после перехода их на русскую графику.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ШИРАЛИЕВ М. Ш.

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Одной из актуальных задач советского языкознания является изучение живых процессов изменения соотношений литературного языка, народно-разговорного языка или наддиалектного койне и диалектов и говоров в развитии того или иного национального языка. С этой точки зрения определенный интерес представляют современные процессы развития азербайджанского литературного языка, характеризующиеся некоторыми общими закономерностями функционирования этого языка, а также структурных сдвигов в нем.

История азербайджанского литературного языка показывает, что если развитие азербайджанского языка до XIX в. характеризовалось взаимовлиянием и взаимообогащением в основном литературного языка и диалектов, то начиная с XIX в., в связи с формированием национального литературного языка, усиливается процесс непосредственного взаимодействия литературного языка с общенародным разговорным языком. В донациональный период азербайджанского литературного языка в городах Азербайджана функционировал преимущественно наддиалектный разговорно-обиходный язык, отражавший в себе определенные элементы литературного языка и в большей степени — особенности местных диалектов и говоров. В период же формирования национального языка наддиалектное койне выдвигается на место срединного звена, опосредующего взаимоотношения письменных форм и стилей литературного языка, с одной стороны, и территориальных диалектов и говоров — с другой. Таким образом, одной из существенных черт качественного своеобразия азербайджанского национального языка является все более отчетливая дифференциация трех стихий его общественного функционирования: литературного языка как совокупности функциональных стилей, общенародного разговорного языка и диалектов, причем роль связующего звена между литературным языком и диалектами начинает выполнять именно наддиалектное койне.

Развитие национального языка в советский период привело к тому, что теперь уже вряд ли может идти речь о взаимовлиянии литературного языка и диалектов, а следует говорить скорее о взаимодействии и взаимообогащении как актуальном процессе, имеющем место между литературным языком и общенародным разговорным языком. Расцвет языков социалистических наций означает прежде всего усиление взаимосвязи и взаимодействия литературных языков с народно-разговорными языками, а не с диалектами и говорами. Самая общая картина взаимоотношения азербайджанского литературного языка и общенародного разговорного языка в настоящее время выглядит следующим образом: с одной стороны, в результате сильного влияния литературных форм речи на народно-разговорный язык происходит нивелировка диалектных особенностей в наддиалектном койне, и нормы литературного языка постепенно приобретают права гражданства в повседневной обиходно-бытовой речи широких слоев населения, а с другой — путем социально-функциональной активизации

общенародного разговорного языка, узаконивающего в различных стилях литературного языка исконно азербайджанские элементы и прогрессивные тенденции обогащения экспрессивных ресурсов языка, сам литературный язык очищается от иноязычной средневековой архаики арабско-персидского толка, от чуждых строю азербайджанского языка книжных элементов.

Как известно, многовековое влияние арабского и персидского языков привело к тому, что в азербайджанский письменный литературный язык проникло большое количество заимствований, часть которых ассимилировалась и адаптировалась применительно к строю азербайджанской живой речи, другая часть — либо не привилась к азербайджанскому языку, либо вышла из употребления в нем, третья — сохранилась лишь в книжных формах научного, официально-делового и других функциональных стилей современного литературного языка. Вместе с тем до сих пор в азербайджанском языке продолжают употребляться отдельные слова и выражения арабского и персидского происхождения, которые характеризуются архаичностью и не укладываются ни в орфографические, ни в орфоэпические законы общенародного языка: их написание и произношение сопряжено с очевидными трудностями, например: *е'замијјәт* «командировка», *мә'зунијјәт* «отпуск», *вәкаләтнамә* «доверенность», *тәрчүмејиһал* «автобиография», *пејдәрпеј* «последовательно, непрерывно», *риггәт* «сострадание, умиление», *рөвнәг* «украшение, блеск», *пасибан* «надзиратель» и др. А между тем словообразовательные ресурсы самого азербайджанского языка позволяют заменить их исконными или общераспространенными словами типа *динчәлиш* (вм. *мә'зунијјәт*), *инаныш* (вм. *вәкаләтнамә*), *қөзәтчи* (вм. *пасибан*), *бәзәк*, *јарашыг* (вм. *рөвнәг*) и др., которые прозрачны по смыслу, кратки и плавны.

Нередко даже интернациональные слова терминологического характера совершенно необоснованно заменяются архаизмами. Так, например, вместо *аптек* на вывесках встречаем иногда *әчзахана*, вместо *ресепт* некоторые врачи «выписывают» *нүсхә*, *арбитр* заменяется расплывчатым словом *мүнсиф*, общепонятное *хирург* — устарелым *чәрраһ*, а *операция* — словосочетанием *чәрраһијјә әмалијјаты* и т. п. Не подлежит сомнению, что никак нельзя оправдать замену широко распространенных и общедоступных слов архаическими словами, непонятными массам и не выражающими современные понятия. Утверждение в языке средневековой архаики, разумеется, было бы не прогрессом, а регрессом в области нормирования современного литературного языка. Еще Ф. Энгельс писал, что «...необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу» [1].

Однако это вовсе не означает допустимости употребления в языке любого заимствованного когда-то слова без тщательной проверки того, существует ли его эквивалент в заимствующем языке, или не располагает ли последний внутренними словообразовательными средствами для выражения данного понятия. Например, следующие слова отнюдь не являются настоятельно необходимыми в азербайджанском языке: *пост*, *рејд*, *рубрика*, *менју*, *изолә* (*етмәк*) «изолировать», *рентабелли* «рентабельный», *әмтиә* «товар», *рифаһ* «достаток», *путјовка*, *тәрхис* «демобилизация», *тәчессүм* «олицетворение», *мүгәнни* «певец», *мүшајиәт* «сопровождение», *хәтм* (*етмәк*) «заканчивать», *хәсарәт* «повреждение, ущерб», *әзм* «решимость» и др. Следует при этом иметь в виду, что текстуальное возрастание доли

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 19, стр. 322.

ненужных заимствований вносит искусственность в словоупотребление и нарушает естественную специфику азербайджанской речи. Здесь уместно привести известное высказывание В. И. Ленина о вреде бездумного употребления иностранных слов: «Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить „дефекты", когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?... Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык» [2].

Таким образом, принцип использования в речи заимствованных слов и терминов будет сводиться к следующему: то или иное заимствование следует считать оправданным в том случае, если, с одной стороны, в общенародном языке отсутствует эквивалент соответствующего терминологического понятия, который был бы выражен словом или устоявшимся словосочетанием, а с другой — невозможно создание нового слова для обозначения данного понятия при помощи внутренних словообразовательных ресурсов самого языка.

Архаические реликты встречаются и в современной азербайджанской орфографии. Это касается прежде всего апострофа и удвоенной буквы *j* в заимствованных словах арабского происхождения.

Как известно, в связи с переходом азербайджанской письменности с арабского алфавита на латиницу (в 1929 г.) условный графический знак «апостроф» (') был введен в новый азербайджанский алфавит в целях отражения гортанных смычных «айн» и «гамза» в соответствующих арабских заимствованных словах. Надо сказать, что уже с самого начала орфографические правила употребления апострофа не опирались на реальные звуковые рефлексы арабских гортанных смычных в азербайджанском языке, ибо последним не соответствует какой-либо отдельный звуковой тип в современном азербайджанском литературном произношении. И вся история развития и совершенствования в советское время азербайджанской графики и орфографии показывает, что по мере освоения этих заимствованных слов в письменности, существующей с 1939 г. на основе русской графики, постепенно отпадала необходимость в обозначении с помощью апострофа разделительной функции, которой, собственно, и исчерпывается назначение этого условного знака. Так, еще правилами орфографии 1936 г. предусматривалось написание без апострофа целого ряда слов типа *сәнәт* «ремесло», *гала* «крепость», *мәсәлә* «вопрос, проблема», *дәфә* «раз», *чәфәр* и. с. м. Джафар, *суал* «вопрос, спрашивание», *муәллим*, «учитель, преподаватель», *муәллиф* «автор», *маариф* «просвещение», *мааш* «зарплата» и др. Правила орфографии 1938 г. прибавили к словам указанного типа и такие, как *чәм* «множественное число», *нөв* «тип, род, вид», *гәт* «отсечение», *сәнаје* «промышленность», *мөвзу* «тема», *мәнбә* «источник» и т. п., на конце которых (как и в середине предыдущих слов) также не нужно было ставить знак апострофа. Наконец, в результате реформы азербайджанской орфографии в 1958 г. и введения в азербайджанский алфавит буквы *j* был изъят апостроф и из слов европейского происхождения, типа: *объект*, *субъект*, *фельетон*, *ателье*, *Мольер* и т. п.

Таким образом, закономерный исторический процесс убывания количества слов, пишущихся через апостроф, привел к тому, что в настоящее время в словарном составе азербайджанского литературного языка сохранилось всего 5—6 десятков слов с апострофом. На страницах республиканской периодической печати обсуждался вопрос о целесообразности

[2] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 40, стр. 49.

и практической пользе (упрощение и облегчение правописания, полиграфическое неудобство апострофа и другие моменты) дальнейшего суживания круга слов, пишущихся со знаком апострофа, а в перспективе — и полного изъятия апострофа из азербайджанского алфавита. Научные же основания этого процесса отмечены многими азербайджанскими языковедами (А. З. Абдуллаев, В. И. Асланов, А. А. Ахундов, З. И. Будагова, Ф. Р. Зейналов, А. А. Оруджев, М. Ш. Ширалиев).

Точно так же фонетически не оправдано правописание удвоенного *j* в арабских заимствованиях на -(*и*)*jjə*, -(*и*)*jjət*, -(*и*)*jjат*, например: *малијјə* «финансы», *чəмијјət* «общество», *əhəмијјət* «значение», *ичтимаијјат* «общественность» и т. п. Ясно, что конечные элементы этих слов не выделяются в азербайджанском языковом сознании, поскольку такие слова вошли в азербайджанский язык целиком, без расчленения на морфемы. Поэтому в соответствии с азербайджанским литературным произношением слова указанного типа следовало бы писать через одинарное *j*.

Следует отметить, что вопросы употребления апострофа и удвоенного *j* в словах арабского происхождения оказывались остро дискуссионными каждый раз при обсуждении правил правописания. Принятие радикальной меры, а именно — изъятие апострофа и отказ от буквенного копирования арабских грамматических морфем вопреки фонетическим нормам современного азербайджанского языка, имело бы также реальные практические выгоды методического, технического и пр. порядка.

К числу недостатков, наблюдающихся в функционировании современного азербайджанского литературного языка и особенно его художественного стиля, относится также чрезмерное использование в речи диалектных слов. Выше мы отметили, что в современную эпоху сведено на нет взаимодействие между литературным языком и диалектами: теперь из диалектов и говоров уже не могут проникнуть непосредственно в литературный (письменный) язык слова и выражения территориально ограниченного характера. Более того, даже проникновение таких слов и выражений в общенародный разговорный язык стало редким явлением. И основным источником словарного обогащения литературного языка выступает именно общенародный разговорный язык. Поэтому в литературном и, в частности, литературно-художественном языке права гражданства могут приобрести и действительно приобретают лишь те диалектизмы, которые прошли испытание народно-разговорным языком и утвердились во всех формах общественного функционирования национального языка.

Другим заслуживающим внимания процессом, протекающим в современном азербайджанском литературном языке, в его грамматическом строе под сильным воздействием общенародного разговорного языка, является избавление от не свойственных структуре азербайджанского языка рефлексов аналитизма, сводящихся к употреблению служебных слов там, где вполне достаточна аффиксация. Так, например, русским предложным сочетаниям типа *в школе*, *при школе* в азербайджанском языке соответствует одно слово, стоящее в местном падеже: *мəктəбдə*. Или же азербайджанский дательный цели в русском языке может выражаться различными предложно-падежными конструкциями; например: *охумаға* «для учебы», *суја* «за водой» и т. д. Переводчики, упускающие из виду эту специфику азербайджанского языка, прибегают к искусственным образованиям, калькированным выражениям, как-то: *мəктəбин нəздиндə* «при школе, около школы», *бешилликлəр əрзиндə* «в течение пятилеток», *мајын 2-дəн е'тибарəн* «со 2-го мая» и т. д. Эти элементы аналитизма нельзя считать оправданными ни с точки зрения внутренних закономерностей словоупотребления в азербайджанском языке, ни с точки зрения предписаний куль-

турно-речевых норм, ратующих за лаконизм и очищение языка от словесных излишеств.

Реликты аналитизма наблюдаются и в правописании служебных слов. Так, раздельное написание *иди*, *имиш* со словами, оканчивающимися на гласный, представляют собой искусственное орфографическое правило, не подкрепляемое живым произношением: орфографические нормы дают ясное указание на то, что во всех случаях мы имеем единообразные энклитики, подчиняющиеся закону аффиксального сингармонизма: *исти* + *имиш* = *истијмиш* «оказывается, было жарко», *фәһлә* + *идим* = *фәһләјдим* «я был рабочим» и т. д.

Было бы, однако, неправомерным распространять специфические особенности народно-разговорного языка, оказывающего сильное влияние на стабилизацию норм литературного языка, также на собственно литературный язык во всей совокупности его функциональных стилей. Правда, литературный язык использует богатства и выразительность общенародного разговорного языка, за счет которого обогащается его словарный состав, отшлифовывается грамматический строй, совершенствуются его экспрессивно-стилистические средства. Однако литературный язык как таковой и сам располагает определенными традициями, отражающими внутреннюю структуру языка и закономерности его целенаправленного функционирования во всех сферах общественной жизни.

Говоря о грамматических нормах современного азербайджанского литературного языка, думается, нет необходимости останавливаться специально на всех разделах обычной нормативной грамматики, а следует, по-видимому, акцентировать узловые моменты. На наш взгляд, к последним относится, в частности, порядок слов в словосочетании и предложении. Как известно, азербайджанскому языку как одному из развитых тюркских языков присущи следующие синтаксические правила словопорядка: а) определение предшествует определяемому: б) подлежащее составляет тему и всегда стоит на первом месте, а сказуемое образует рему и занимает постпозицию во фразе; в) обстоятельства и дополнения разных рангов предваряют глагольное сказуемое, располагающееся в конце предложения. Одновременно в книгах по грамматике отмечается, что в стихотворной речи, в эмфатических или логико-смысловых целях возможен инвертированный порядок слов в предложении; например: *Јашасын Бөјүк Октјабр Ингилабы!* «Да здравствует Великая Октябрьская революция!», *Данышыр Бакы* «Говорит Баку», *Јохдур аллаһ, јохдур аллаһ!* «Нет бога, нет бога!», *Мән дүшмәнәм сизин инсан әти јәјән ики башлы гарталыныза!* (Дж. Джабарлы) «Я враг вашему двуглавому орлу, питающемуся человечьим мясом!».

Однако в последнее время в прозаических произведениях целого ряда молодых азербайджанских писателей под флагом «новаторства» грубо нарушаются правила словорасположения, существующие в современном азербайджанском литературном языке. Голоса протеста отдельных азербайджанских языковедов против подобного вольного обращения с устоявшимся в литературном языке порядком слов не достигают цели, остаются безрезультатными. По мнению этих писателей, литературно-художественный язык якобы не должен подчиняться общелитературным нормам: будто художественному стилю позволено любое «новшество». И они полагают, что напрасно стремятся языковеды втиснуть в прокрустово ложе грамматических правил свободное парение литературно-художественного стиля в заоблачных высях ненормированного поэтического языка. Свою позицию эти писатели пытаются подкрепить еще тем аргументом, что они, дескать, переносят в литературный язык порядок слов, фиксируемый в разговорном языке. Между тем нормированный литературный язык, обрабо-

танный и отшлифованный под пером художников, мыслителей, публицистов, никак не может слепо перенимать все особенности повседневного обиходно-разговорного языка. В противном случае перестало бы существовать само понятие литературного языка, предполагающее прежде всего отбор и нормирование экспрессивно-языковых средств, одинаково пригодных для всех функциональных стилей единого национального языка. А ведь грамматические правила как раз и составляют такую общую строевую базу литературного языка.

В настоящее время нормы письменной формы азербайджанского литературного языка более или менее кодифицированы — как в орфографии и пунктуации, так и в грамматике. Они успешно применяются во всех функциональных стилях литературного языка. Этого нельзя сказать об устной форме литературного языка: в области орфоэпии пока нет выработанных общими усилиями азербайджанской общественности единых норм произношения. А между тем в современную эпоху значительно расширился круг использования азербайджанской устной речи в различных аудиториях, по радио и телевидению, на сцене, в докладах и выступлениях и т. д. Отсутствие же общепринятых орфоэпических норм азербайджанского литературного языка, единых правил произношения приводит к нежелательным последствиям в функционировании устной формы современного литературного языка. Это касается в особенности произношения отдельных слов, аффиксальных морфем. Иногда люди, подчиняя свое произношение буквализму письменной формы речи, т. е. ставя орфоэпию в полную зависимость от орфографии, полагают, что они говорят на правильном литературном языке. А некоторые свою устную литературную речь пересыпают диалектизмами.

Таким образом, одной из актуальных задач повышения культуры речи лиц, говорящих на азербайджанском литературном языке, является выработка единых орфоэпических норм.

Основу правильного литературного произношения следует видеть в устной речи азербайджанской интеллигенции, выходцев из различных районов Азербайджана, говорящих на более или менее унифицированном литературном языке. Ввиду того, что современный азербайджанский литературный язык базируется на общенародном разговорном языке, нет существенных расхождений и противоречий между письменной и устной формами литературного языка. И целый ряд правил современной орфографии распространяется также на орфоэпию. Однако, наряду с общими чертами, между орфографией и орфоэпией современного азербайджанского литературного языка существуют и определенные различия.

С учетом всех этих особенностей произносительных норм были разработаны основы орфоэпии современного азербайджанского литературного языка, на основе которых составлен и готовится к печати орфоэпический словарь азербайджанского литературного языка, охватывающий 20 тысяч слов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ: СЛОВАРИ

Как известно, существуют три восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. Соответственно этому естественным представлялось бы наличие также трех этимологических словарей — для каждого из названных братских языков. Но как раз эти братские связи восточнославянских языков, то обстоятельство, что они очень близко родственны друг другу, иначе говоря, происходят из общего восточнославянского языка — древнерусского, были, по-видимому, причиной того, что идея «собственной» этимологии, этимологической ретроспективы вырабатывалась медленно, можно сказать, что и сейчас эта идея еще только формируется. Лишь в самое последнее время раздаются, например, голоса о «белорусском этимологическом ландшафте»[1], а также был выдвинут автором этих строк тезис об автономном состоянии праславянской лексики исторических отдельных славянских языков (последнее, однако, относится уже к специальной теме «Праславянская лексикография»). Но при таком близком родстве эта новая этимологическая концепция, может быть, не для всех так убедительна, как, скажем, теория восточнославянского родословного древа, потому что здесь праязык (древнерусский) засвидетельствован также в письменной форме и хронологически не очень удален от современности (конкретно — менее чем на тысячелетие; если считать начало самостоятельного существования позднейших восточнославянских языков с XIII в. — рубеж, кстати, целиком основанный на показаниях фонетики,— то временна́я протяженность сократится еще больше). Но при этом учитывались, как только что сказано, преимущественно критерии исторической фонетики, которые, естественно, были лучше исследованы, развивались почти исключительно в духе дивергенции и, собственно говоря, послужили основанием вышеназванной периодизации. Словарный состав был и остается хуже исследованным, его вообще нельзя охарактеризовать так однозначно, как, например, фонетику или даже морфологию, надо признать, что всякое сравнение хромает и паче всего хромает идея изоморфизма между разными уровнями. А может быть, именно словарный состав языка следует иногда мерить особыми периодами в отличие от исторической фонетики. Возможно, следовало бы несколько ограничить это «перво-

[1] В. В. Мартынов, Белорусский этимологический ландшафт, «Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slavischen Wortschatzes. Leipzig, 11—12 X 1972», Bautzen, 1975, стр. 60 и сл. Ср. далее: Р. М. Козлова, Белорусские регионализмы праславянского происхождения (на материале лексики восточного Полесья). АКД, Минск, 1977.

родство» фонетических признаков развития языка в пользу лексических, особенно если принять во внимание, что иное слово (именно слово, а не его нередко вторичная фонетическая форма со своими поздними особенностями из XIII и, может быть, еще более поздних столетий) в белорусском или украинском определенно старше самих белорусского или украинского языков.

Идея самостоятельного этимологического словаря для каждого восточнославянского языка неотделима от развития всей восточнославянской лексикографии. В течение долгого времени эта последняя была русской лексикографией в широком смысле слова. Ближайше родственные украинский (малорусский) и белорусский рассматривались как наречия русского языка. Можно сказать, что при этом (в русле развития русской лексикографии в упомянутом смысле) украинский получил статус самостоятельного языка значительно позже, чем русский, но все-таки несколько раньше, чем белорусский. Ту же последовательность мы наблюдаем в этимологической лексикографии всех трех языков. Первыми проявились этимологические словари русского языка. Несколько корневых этимологических словарей XIX в. вряд ли заслуживают здесь упоминания, тем более, что э т и м о л о г и ч е с к и й значило тогда скорее «морфологический», чем «относящийся к происхождению и истории слова» в собственном смысле. Но блестящий успех и большая притягательная сила сравнительного языкознания произвели глубокое впечатление на культурный мир России, и преподаватели русских гимназий начали издавать, вместо корневых словарей, этимологические словари в современном понимании того времени.

Первый труд такого рода, достойный упоминания, появился уже в 90-е годы прошлого века: это был «Сравнительный этимологический словарь русского языка» Н. В. Горяева, созданный и выпущенный в Тифлисе (2-е изд.— в 1896 г., позднее выходили в течение десяти лет еще несколько дополнений к нему, там же). Словарь Горяева как бы образует водораздел между старыми школьными методами и новыми научными методами нашей этимологической лексикографии. Автор стремился обучить своего молодого читателя самому необходимому, ссылки на специальную литературу при этом, конечно, отсутствовали, как, впрочем, и самый анализ, но содержащийся материал был довольно богат, словарь охватывает более 6400 слов-статей, круг сравниваемых языков весьма велик, примеры из разных языков даны, как правило, точно. И хотя словарь Горяева в целом давно устарел и принадлежит только своему времени, его этимологические идеи нередко заслуживают внимания. Достаточно привести две этимологии, в которых мы последовали бы Горяеву, а не Фасмеру, например *бедро*, относительно которого как раз Горяеву принадлежит бесспорно убедительная идея о связи этого слова со словом *бодать*, со ссылкой на семантическую параллель нем. *Schlägel* в значении «ляжка» и *schlagen*, *schlachten* «бить, колоть». Фасмер придерживается сравнения русск. *бедро* и лат. *femur* то же, несмотря на то, что последнее сравнение было осуждено еще Мейе как бесперспективное. Так была предана забвению удачная этимологическая мысль, хотя в данном случае скромный учитель гимназии в Закавказье предвосхитил в принципе такую же более позднюю этимологию Я. Розвадовского. Другим примером более удачной этимологии Горяева — при всей обычной для школьного словаря излишней краткости, даже скудости данных — может служить слово *гайка*, которое Горяев верно сближал с укр. *гáїти* «задерживать». На сей раз Фасмер знал о толковании Горяева, но, к сожалению, не последовал за ним. В другом месте я рассчитываю еще вернуться к этому слову, которое осталось для Фасмера «трудным».

Венгерский этимолог Л. Киш, опубликовавший обстоятельный очерк об этимологических словарях восточнославянских языков [2], говоря о словаре Горяева, характеризует его время следующим образом: «Всеобщий славянский этимологический словарь Миклошича (1886 года) имелся в распоряжении, но ни один славянский язык не имел собственного подробного этимологического словаря» [3]. Возможно, это утверждение не совсем точно, поскольку кое-где в славянских странах на рубеже столетий издавались — на уровне учителей гимназии — этимологические словари, которые были, однако, обречены на короткую жизнь и малую известность, тогда как словарь Горяева имел сравнительный успех, говоря словами Киша: «Для зарубежных исследователей словарь Горяева был в течение долгого времени самым важным источником, из которого они могли черпать сведения по вопросам этимологии русского словарного состава» [4].

Другой русский преподаватель гимназии А. Преображенский в Москве опубликовал в 1910—1916 гг. свой «Этимологический словарь русского языка» до слова *сулей* «сосуд для вина, масла и т. п.» До конца, хотя и с большими пропусками, словарь был издан долгое время спустя после смерти Преображенского, последовавшей в 1918 г. Труд Преображенского гораздо лучше известен читателям, чем, например, словарь Горяева, так как словарь Преображенского, кроме окончания (*тело — ящур*), выпущенного вскоре после войны (1949) Академией наук СССР, публиковался в 50-е годы, почти одновременно, помимо Советского Союза, также еще в Соединенных Штатах Америки и даже в Китае. Преображенский не был творческим этимологом. Мне трудно припомнить какую-нибудь действительно оригинальную этимологическую идею из его словаря. Но его хорошая начитанность в специальной литературе, добросовестность, богатая библиография, осторожная манера критики различных точек зрения делали его этимологический словарь в течение необычайно долгого времени (приблизительно около сорока лет) настоящим справочным пособием. Преображенский был школьный учитель, но словарь у него вполне научный. Это слияние обоих методов можно считать наиболее похвальной особенностью его словаря, можно сказать, что с его стороны это было едва ли не самым смелым шагом и самым важным авторским проявлением. Фактически есть только о д н а этимология, а не две — одна для учащейся молодежи, а другая для специалистов. Похоже, что с той поры эту истину стали забывать. Только таким образом можно объяснить себе появление целого ряда этимологических словарей русского языка, выпущенных за последние десятилетия специально для школы, которые вряд ли продвигают дальше этимологическую науку, да и для учащихся и для учителей не столь полезны, как это имелось в виду, потому что популяризация — дело не только трудное, но и нуждающееся в особо прочной научной основе и особенно точном знании фактов. Популяризация полунауки, разумеется, не оправдывается ни педагогически, ни с точки зрения ответственности перед широкими кругами читателей.

В 1955 г. вышел маленький «Школьный этимологический словарь», изданный Калининским педагогическим институтом. Менее элементарный характер, чем этот морфемно-корневой словарик, носил «Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя» трех авторов (Н. М. Шанский и др., 1-е изд.— М., 1961). Рецензии выявили в нем много ошибок и неточностей; одна из этих критических рецензий была напечатана М. Фасмером незадолго до его смерти, другая была опублико-

[2] L. K i s s, Die etymologischen Wörterbücher der ostslawischen Sprachen, «Publicationes Instituti philologiae slavicae Universitatis Debreceniensis. Slavica», V, 1965.
[3] Там же, стр. 106.
[4] Там же, стр. 107.

вана мной [5]. Я не хотел бы здесь повторяться. Этот словарь был переиздан в 1971 г. тиражом 200 000 экземпляров. Наконец, «Этимологический словарь русского языка» Г. П. Цыганенко (Киев, 1970, тираж 54 000 экземпляров) завершает пока, насколько мне известно, эту серию «кратких» этимологических словарей русского языка, составители которых спешат на помощь учителю русского языка.

И все-таки этимология и ее исследователи и читатели нуждаются в иной лексикографии. В настоящее время русская этимология уже имеет на своем счету труд, который сделал бы честь этимологии любого европейского языка. Это словарь Фасмера, который был опубликован за очень короткий срок начиная с 1950 г. и который оказал такое большое влияние на весь ход исследований в области русской и славянской этимологии, что знакомство с ним всех русистов и славистов, а также вообще всех интересующихся индоевропейскими языками как бы разумеется само собой. Здесь я не собираюсь говорить о словаре Фасмера с подробностью, которой он заслуживает (об этом словаре, а также об опыте своей работы над его русским переводом и дополнениями я предполагаю рассказать в другом месте). Нельзя, однако, не отметить и здесь больших заслуг М. Фасмера и его «Этимологического словаря русского языка» перед русской этимологией. Нельзя не вспомнить о достоинствах этого богатого, весьма надежного пособия по этимологическому исследованию не только современного русского литературного языка, но также и многочисленных диалектных и устаревших, в том числе древнерусских слов. Обычно высоко отзываются о немецком этимологическом словаре Клюге, и эта оценка оправданна; Фасмер, например, сам сознавался, что, когда он работал над русским этимологическим словарем, у него перед глазами всегда был словарь Клюге как образец. Но солидный труд Клюге не лишен существенных недостатков. Например, когда однажды я стал искать немецкое корневое имя *Scharn* (сюда относится гордая дворянская фамилия *Scharnhorst*, букв. «загаженное гнездо», в остальном — древнейшая, еще индоевропейская основа со следами гетероклитического склонения с исходом на согласный, как о том свидетельствует греч. σκῶρ/σκατός «грязь, нечистоты»), то, к великому огорчению, я ничего не нашел в своем экземпляре Клюге 20-го издания (1967). Словарь Клюге почти не дает древненемецких и диалектных слов, как, например, искомое нижненемецкое *scharn* «навоз», которые не имеют соответствий в литературном нововерхненемецком, явно выраженные диалектизмы попадаются в этом словаре редко. Установка на словарный состав исключительно литературного языка наносит ущерб принципу этимологического словаря. Граница между литературным и диалектным, древним и современным не столь существенна для этимологического исследования, в этимологии граница между существенным и несущественным (или, как сейчас еще говорят,— между релевантным и ирелевантным) проходит иначе. К счастью, Фасмер не последовал именно этому вышеназванному принципу Клюге, скорее наоборот: некоторые критики или критически настроенные читатели словаря Фасмера высказывают мнение, что местами этот словарь выглядит не совсем по-русски. Но было бы точнее сказать, что словник (репертуар словарных статей) подобного этимологического словаря не всегда тождествен словнику словаря современного русского литературного языка по закономерным причинам, только что изложенным выше. Здесь уместно вспомнить мысль, высказанную в свое время Л. В. Щербой, о том, что сущностью лексикографии является компромисс. Об этимологической лексикографии это справедливо вдвойне.

---

[5] См.: ВЯ, 1961, 5.

Ограничение большого по объему этимологического словаря словарным составом литературного языка производит поэтому странное впечатление. Я имею в виду «Этимологический словарь русского языка», издаваемый с 1963 г. Московским университетом (вышли шесть выпусков: А, Б, В, Г, Д — Е — Ж, З). В настоящее время мне приходится обращаться к 4-му выпуску (Г); в нем отсутствует целый ряд достаточно известных диалектных и старых слов исконного происхождения, со славянскими и индоевропейскими родственными соответствиями, которые следовало учесть, например, *глива* [6], *глог* [7], *глузг* [8], *глузд* [9], *глуда* [10], *глыза* [11] (как это видно, пропущенные слова взяты из одного ограниченного алфавитного отрезка словаря). При этом нельзя не отметить, что это отнюдь не «краткий» словарь, скорее наоборот. По принципу отбора слов этот этимологический словарь можно было бы определить как этимологический словарь современного русского литературного языка, что, при всей необычности аспекта, хоть как-то объясняло бы пропуски ценной низовой или старой лексики.

Заметным трудом мог бы быть «Историко-этимологический словарь современного (?) русского языка» П. Я. Черных, к сожалению, до сих пор неопубликованный [12]. В своем качестве исследователя-диалектолога, например, говоров Сибири, а также историка русского языка (как, впрочем, и автора несколько менее удачного «Очерка русской исторической лексикологии» 1956 г.) Черных был подготовлен для крупных работ, если не исключительно в области этимологии, то во всяком случае — в истории слов русского языка. Автор, умерший в 1970 г., успел окончить работу над рукописью своего историко-этимологического словаря. Его труд по своему объему (140 а. л.) почти равен словарю Фасмера (около 160 а. л. в русском издании), а по количеству словарных статей даже превосходит последний (25 000 словарных статей против восемнадцати с небольшим тысяч словарных статей у Фасмера). Рукопись редактировалась в течение пяти лет, для чего были привлечены несколько консультантов (назову из них Ж. Ж. Варбот, на которую были возложены редактирование и унификация праславянских и индоевропейских реконструкций.) Рукопись П. Я. Черных, готовая к печати, находится сейчас в издательстве «Русский язык». Словарь П. Я. Черных предназначается для широких кругов читателей, а также для учителей; главное внимание в нем не акцентировалось на вопросах развития праславянского и индоевропейского языка, лишь на заключительной стадии своей работы автор в какой-то степени

---

[6] Русск. диалектн. *глива* «род груши, дули» (юж., сарат., Даль [3] I, 875; Филин 6, 197: сарат., южн., курск., орл., донск., брян.), ср. родственные болг., серб.- хорв., словен., чеш., словац., н.- луж. слова, а также литов. *glėivos* «слизь», *glėivės* мн., латыш. *glīve* «зеленая слизь на воде».

[7] Русск. диалектн. *глог* «Cornus sanguinea, кизиль, дерен» (Даль [3] I, 877), сюда же диалектн. *глод* м.р. «боярышник Crataegus» (Даль [3] I, 878; Филин 6, 200), также *глёд* м. р. (Даль [3] I, 875) с соответствиями во всех слав. языках.

[8] Русск. диалектн. *глузг* «смежение и закрепа двух мягких кромок; уголок глаза, у самого раздела век» (Даль [3] I, 880), ср. чеш. *hluzek* «уголок глаза».

[9] Русск. диалектн. *глузд* «толк» (курск., Опыт 37), «ум, память, рассудок, толк» (курск., орл., юго-вост., южн., псков., смолен., зап.), «мозг» (южн., зап.) (Филин 6, 207—208).

[10] Русск. диалектн. *глуда* «глыба, ком; кусок» (моск., ряз., ворон., курск.) «выглаженная волнами поверхность камешка» (арх.) (Даль [3] I, 880; Филин 6, 207), ср. герм. **klauta-*, нем. *Kloß* «ком».

[11] Русск. диалектн. *глы́за́* «глыба или ком» (арх., волог., новг. и т. д., см. Филин 6, 223; Опыт 37; Подвысоцкий 31; Богораз 38; Куликовский 15; Сл. Среднего Урала I, 114—115; Словарь старожильческих говоров ср. части басс. р. Оби 1, 97), ср. сюда же русск. диалектн. *глы́жа*, пск., твер., с близким значением, см. Филин 6, 222.

[12] Сообщаемыми ниже сведениями об этом словаре я обязан главным образом Ж. Ж. Варбот.

изменил свою точку зрения на этот счет, хотя он и не проявил себя в этой области столь же самостоятельно, как, скажем, Фасмер. Главная заслуга П. Я. Черных — в тщательном освещении вопросов восточнославянской и русской истории слов на базе древнерусских картотек Института русского языка Академии наук СССР и собственных разысканий автора. Оригинальные этимологии представлены в ряде словарных статей. Изложенная характеристика говорит о том, что этот словарь оказался бы весьма полезен в дополнение к уже существующему словарю Фасмера.

До сих пор речь шла об этимологических словарях русского языка. Этимологические словари украинского и белорусского языков у нас еще не издавались, но это вовсе не значит, что работа над ними не ведется. Скорее можно говорить в данном случае как бы о латентном периоде развития этимологической лексикографии украинского и белорусского языков. Правда, эта подготовка, планы и объем которой с течением времени неоднократно менялись, несколько затянулась. В Киеве и в Минске имеются коллективы хороших специалистов, которые создают эти словари как коллективные труды [13]. Оба этих национальных научных предприятия имеют солидную базу в виде специальных собраний материала. В Киеве работу над словарем возглавляет известный украинский языковед А. С. Мельничук, в Минске — В. В. Мартынов, известный своими трудами по германо-славянским и балто-славянским лексическим отношениям. Поскольку оба этимологических словаря существуют пока только в рукописном виде и не вполне завершены (так, например только два небольших тома — 1 и 2-й — белорусского этимологического словаря подготовлены к печати), нет возможности обсуждать их здесь детально. Поэтому я говорю дальше только о тех частях этих трудов, которые читал, будучи рецензентом, и притом — говорю достаточно суммарно, не вдаваясь в подробности критики, поскольку речь идет о трудах неопубликованных. Как известно, по украинскому языку имеется этимологический словарь Я. Рудницкого, выходящий в Канаде начиная с 1962 г. (опубликовано два тома или шестнадцать выпусков от А до Ж) [14]. Разумеется, этот словарь, при всей его полезности, сохраняет лишь временное значение. «Етимологічний словник української мови», к настоящему времени уже законченный в рукописи большим коллективом в Институте языковедения им. А. А. Потебни АН УССР в Киеве, будет охватывать несколько томов и насчитывать 25 000 словарных статей (для сравнения целесообразно вспомнить о других известных цифрах в аналогичных случаях). Авторы поставили перед собой цель «изложить общее состояние этимологического исследования словарного состава украинского языка и обратить внимание будущих исследователей на слова, которые нуждаются в этимологическом объяснении» (цитируется по рукописи тома I). Учитывается лексика не только литературного языка, но и украинских диалектов [15], как старые, так и новые образования и заимствования. Равным образом солидно представлена этимология со всей относящейся

---

[13] Несколько раньше, в самом начале 60-х годов, в Киеве работал над украинским этимологическим словарем в качестве индивидуальной темы Р. В. Кравчук (в настоящее время — в Минске); я знакомился тогда с его выпуском 1-м (*А — бёзбечи*) как рецензент. Работа, однако, не получила продолжения.

[14] J. B. Rudnyćkyj, An etymological dictionary of the Ukrainian language, I—II (parts 1—16), Winnipeg, 1962—1977.

[15] Правильное лицо этимологического словаря академического типа с учетом сложного состава лексики народных говоров этот словарь обрел, видимо, не сразу. Во время первого всесоюзного координационного совещания по славяноведению в 1961 г. в Москве некоторые украинские участники из Киева в беседе со мной живо спорили против идеи широкого включения лексических диалектизмов (в связи со словарем Р. В. Кравчука).

сюда богатой литературой. В просмотренных частях словаря я с трудом мог отметить какие-либо пропуски. При изложении принципов этого нового словаря высказывается и обосновывается вне всякого сомнения разумнейшая мысль, что предлагаемый украинский этимологический словарь занимает свое определенное место в системе существующих украинских и других словарей. Однако эта идея проводится авторами главным образом со стороны украинистики, а именно: то, что относится к истории украинского слова, дается крайне лаконично, дабы не дублировать задачи ныне также уже подготовленного словаря староукраинского языка. Таким образом, мы получаем еще один возможный вариант решения: если, с одной стороны, имеются так называемые историко-этимологические словари, этимологические словари с подчеркнутым вниманием к истории, то, с другой стороны, надлежит поместить этот своего рода «чистый» этимологический словарь, почти без исторической документации. Но кажется, что украинские этимологи чересчур углубляются в собственную этимологию таких свежих заимствований, как, например, *авіація*. Точно так же в случае с церковнославянскими грецизмами, как, например, *акафіст*, было бы вполне достаточно указать на греч. ἀκάθιστος (ὕμνος) «церковное песнопение, исполняемое стоя, а не сидя» как на непосредственный источник заимствования, и кажется излишним в украинском этимологическом словаре возводить греческие формы к индоевропейскому (**sed-*), чтобы затем вновь вернуться к праслав. **sědĕti* «сидеть», укр. *сидіти*. Здесь угадывается аналогия с методом Ф. Славского в его этимологическом словаре польского языка. Отсюда, частично, объясняется монументальный объем этимологического словаря А. С. Мельничука и его коллег.

Омонимы трактуются в украинском этимологическом словаре как в толковом словаре современного литературного языка. Хотелось бы порекомендовать при этом более диахронический, исторический, короче говоря — этимологический подход. Известно, что современная лексикография принимает во внимание при трактовке омонимов прежде всего контекстные и семантические критерии, но только происхождение может ответить на главный вопрос, имеем ли мы перед собой несколько реальных омонимов или о д н о слово. Не станем вдаваться в этот большой вопрос о роли этимологии в так называемой синхронной лексикографии (можно лишь удовольствоваться констатацией в данном случае заимствования этимологическим словарем распространенной методики синхронной лексикографии в трактовке омонимов), отложим до выхода в свет и обсуждение деталей собственной этимологии. Своими вынужденно краткими и наиболее общими наблюдениями я хотел бы лишь привлечь внимание к предстоящей публикации этого бесспорно значительного труда, оценка которого — дело будущего. Словарь заслуживает скорейшей публикации, что, естественно, совершится не без трудностей, поскольку речь идет о большом этимологическом словаре.

Если в случае с украинским языком мы имеем уже упоминавшийся словарь Рудницкого, и кроме того, нам известно несколько проектов в области украинской этимологической лексикографии, то в белорусской этимологической лексикографии картина выглядит пока что намного скромнее. Начнем с того, что до сих пор вообще нет ни одного белорусского этимологического словаря. Возможно, что в этом отражаются еще не вполне преодоленные остатки прошлой культурно-исторической отсталости области распространения белорусского языка. Еще не изданы большой словарь современного белорусского языка и исторический словарь белорусского языка, тогда как нормальным условием следовало бы считать подготовку э т и м о л о г и ч е с к о г о словаря п о с л е появ-

ения этих необходимых предварительных работ, а не до их появления. Правда, за последнее время белорусские языковеды выполнили много полезных работ и в первую очередь в области диалектологии и диалектной лексикографии. Многое решает также и хорошая подготовка исследователей, приступающих к делу. В этих условиях составляется «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» под редакцией В. В. Мартынова. До настоящего момента подготовлены два тома, из них я знаком в рукописи с первым. Можно назвать этот первый том первым шагом белорусской этимологической лексикографии вообще. Не такой большой по объему — двадцать авторских листов,— том I (буквы А и Б) в наших глазах представляет событие. Предлагаемая там этимологизация белорусских слов хорошо обоснована славистически, а также построена с учетом новых и новейших методов исследования.

Срединное положение белорусского языка, напоминающее до известной степени положение словацкого языка, представляется во многих отношениях уникальным, достаточно вспомнить, с одной стороны, продвинутую фонетическую эволюцию белорусского языка и, с другой стороны,— местами довольно архаический словарный состав и соответствующее ему словообразование. Все это чем дальше, тем больше приковывает внимание славистов к белорусской лексике и этимологии. Например, слависты В. В. Мартынов, Р. В. Кравчук и А. Е. Супрун, работающие сейчас над белорусской этимологией, не были белорусистами в первый период своей научной деятельности. Задача нового этимологического словаря — удовлетворить пристальный интерес других исследователей-славистов. Требования к новым публикациям при этом, надо сказать, достаточно высокие, поэтому дискуссии по конкретной этимологии с выходом названного словаря вряд ли утихнут, скорее наоборот. Откладывая обсуждение вопросов по этимологии слов, естественно, до выхода книги в свет, ограничусь здесь опять-таки лишь самым общим наблюдением относительно разрастания омонимии, когда, например, омонимов *бабка* оказывается не менее восемнадцати. В этимологическом словаре мне казалась бы более желательной (и логичной) несколько отличная трактовка материала и проблемы. Впрочем названная организация словарных позиций, пожалуй, не исключение, как мы уже видели на примере родственного украинского словаря, почему и представилось необходимым не откладывать с оглашением именно этого одного общего замечания по восточнославянской этимологической лексикографии. Существовало одно праславянское слово **babъka*, это, кажется, бесспорный факт. Впрочем став на путь компромисса и сделав скидку на более, нежели тысячелетнее развитие, отделяющее праславянский, скажем, от белорусского, следствием чего могла явиться лексическая дифференциация, можно принять существование нескольких отдельных лексических случаев *бабка* (здесь возможны группировки материала вроде *бабка* — родственное обозначение, *бабка* — название растений, *бабка* — название бытовых предметов, частей тела и т. п.). Не имеем ли мы здесь, однако, ситуацию, напоминающую внутреннюю структуру многозначной словарной статьи с ее первичными и вторичными, метафорическими и окказиональными употреблениями?

Такова современная картина восточнославянской этимологической лексикографии, правда, обрисованная со всей краткостью. Я хотел бы еще добавить несколько слов о сути самого предмета. При этом напрашиваются некоторые лексикографические и лингвогеографические (лексические) замечания. Попробуем задуматься над «этимологическим ландшафтом» или даже «этимологическим субконтинентом» восточнославянских языков. Эти понятия тесно связаны с понятием восточнославянского языкового развития вообще, больше того — эти относительно непривыч-

ные понятия могут пригодиться для разъяснения понятий старых и привычных. Обычно слишком часто подчеркивают однородность восточнославянских языков и их развития, монолитность самих языков и их действительно большую взаимную близость. В отличие от западных и южных славян именно восточные славяне имели свой особый праязык — древнерусский как промежуточную стадию или ответвление праславянского языкового состояния. Но эта чрезвычайная близость и однородность, наблюдаемая в пределах восточнославянского языкового ареала, где границы между языками фактически не крупнее границ между иными диалектами, может быть также результатом длительного выравнивания. Этот процесс нивелировки при беспрепятственном протекании вполне мог завершиться опять-таки созданием единого языка для всего ареала. Но историко-политические обстоятельства восточноевропейского средневековья решили вопрос иначе, и политические границы того времени (Великое княжество Литовское с Речью Посполитой Польшей versus Россия) повинны, как и в других случаях, в том, что новые границы между языками сложились именно так, а не иначе. История этой д и ф ф е р е н ц и а ц и и в целом известна. Однако мы говорим здесь скорее о н и в е л и р о в к е, что отражает наши сомнения в том, что существовало некогда совершенно одноствольное родословное древо для будущих восточнославянских языков. Такие сомнения оправданы и с точки зрения общетипологической, и с фактической — исторической точки зрения. Ведь известно, например, что какие-то дулебы ушли из Руси [этимология паспортизует, впрочем, не только уход древних дулебов далеко на Запад, где они получили свой неславянский (западногерманский) этноним, но и последующий возврат их с этим благоприобретенным названием на славянский Восток, вплоть до полного их растворения там], с другой стороны, так и осталось неизвестным, кто, собственно, были эти уличи и тиверцы на юго-западной окраине древней Руси, далее, в западных районах древнейшей Руси засвидетельствовано пребывание неких сербов и хорватов, существует, наконец, недвусмысленное известие о «ляшском» (сейчас, видимо, надо читать «западнославянском») происхождении радимичей и вятичей, которые жили в позднейшей Белоруссии и в сердце позднейшей Великороссии (о субстратах неславянских я здесь не говорю). И это все не просто имена. Только имена дошли до нас там, где некогда должны были существовать и свой диалект, и своя культура. Отнестись к этому скептически, счесть все это недоказанной гипотезой нетрудно (точнее сказать — было нетрудно до недавнего времени). Теория восточнославянского родословного древа выглядит так просто и понятно. Но теоретическая концепция восточнославянской языковой группы как первоначально бескомпонентного монолита, до сих пор признаваемая многими, не могла удовлетворить всех. Ее неестественность ощущали уже априори. Ей противопоставлялись теории трехчленного и двухчленного первоначального состава, первая из которых принадлежит А. А. Шахматову, а вторая — Т. Лер-Сплавинскому. Но чем были эти теории как не попытками подменить один большой искомый монолит двумя или даже тремя монолитами поменьше? Невольно возникает желание предложить некоторым образом вместо игры в кубики другую игру — в мозаику. Мозаическое представление первоначальных языковых отношений, конечно, сложнее, но вместе с тем — значительно жизненнее, поскольку несравненно ближе историческим взаимоотношениям диалектов. Что осталось нам от гипотетического первоначального разнообразия? Потенциальные его реликты — приведенные выше племенные названия древней Руси. Далее, это — установимые древние ареалы распространения слов. Русский, украинский и белорусский языки обнаруживают и сейчас или в исторический период

ряд весьма старых образований, которые свойственны только одному из них и, по-видимому, никогда не разделялись всеми тремя. Я попытался подойти ближе к этой проблеме в своей работе «О составе праславянского словаря» [16]. И хотя предложенная там схема оставляет, быть может, несколько кубистское впечатление [17], она, тем не менее, представляет попытку нащупать следы действительных отношений в лексике восточнославянских языков. Малость сохранившегося не должна нас заранее отпугивать, поиски приводят нередко к конкретным результатам. Только в старобелорусской или юго-западнорусской письменности (например, в Литовском статуте XVI в.) документируется архаическое слово *зеремѦ* «колония бобров» [18], которое реконструируется как праславянское **zerdmę* «огороженное, ограда» и даже как индоевропейское **ĝherd-men-*, стоящее в образцовых, регулярных отношениях чередования ступени *-e-* в производных на *-men-* к ступени *-o-* в праславянском **zordъ* (древнем палатальном варианте к **gordъ*); последнее исстари представлено в форме *азарод*, *азярод* «вид сушилки для снопов», в частности, на белорусской языковой территории. Выявить такие реликты тысячами едва ли возможно, но и немногие находки этого рода весят много и дают нам право представлять себе, скажем, белорусский этимологический ландшафт не только в виде смеси из балтизмов, полонизмов, русизмов и т. д. В этом нам должен помочь этимологический словарь каждого восточнославянского языка, в этом мы видим смысл существования такого словаря.

История письменных памятников и заключенного в ней словарного состава поучительна, но она не может дать все. Приходится, например, считаться, с четко выраженной народнодиалектной основой украинского и белорусского языков. Наддиалектный западнорусский письменный язык средневековья и современный белорусский (или украинский) язык связаны друг с другом подчас весьма свободными отношениями. Это обстоятельство повышает информативность, а одновременно и ответственность этимологического словаря живого восточнославянского языка. Восточнославянская нерусская лексикография в течение определенного времени развивалась, как известно, на уровне диалектной лексикографии, которая существует в немалой степени под знаком дифференциальной методики. Этому дифференциальному образу мышления воздают дань и сейчас, когда, например, предостерегают от того, что полный этимологический словарь украинского языка рискует превратиться в украинский вариант праславянского этимологического словаря. И тем не менее, это неизбежно и заключено, так сказать, в природе вещей, о чем нелишне говорить сегодня, в канун широкой публикации восточнославянских этимологических словарей. Огромное множество слов белорусского языка — это чисто праславянские и общеславянские, а вместе с тем в известном смысле и русские, и украинские слова, но по одной этой причине их общераспространенности никому ведь не приходит в голову мысль воздержаться от помещения их в белорусских словарях общего типа (раз они есть в русских!). Существуют ситуации, когда повторяться необходимо.

---

[16] «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963)», М., 1963, стр. 159 и сл.

[17] Там же, стр. 195.

[18] До недавнего времени это слово оставалось как бы без подтверждения и продолжения в народных диалектах. Специального изучения заслуживает факт обнаружения его в укр. диалектн. *жэ̆рэмйа* «жилище бобров» в рукописном словаре Д. Запары 1849 года, см. о последнем: «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу. Черновцы, 4—7 окт. 1976 г.», М., 1977, стр. 183 (выступление Б. К. Галас).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

СОРОКОЛЕТОВ Ф. П.

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

На фоне общих успехов в развитии советского языкознания достижения многонациональной советской лексикографии представляются наиболее значительными и яркими. За шесть десятилетий накоплен огромный опыт в создании словарей различных типов и назначений, создан ряд лексикографических трудов, выдающихся по своему научному уровню, имеющих огромное культурно-историческое значение, трудов, в которых нашли отражение многие лексикологические, семасиологические и лексикографические открытия. В них воплощены результаты исследования важнейших проблем развития лексики, семантики, грамматики, стилистики национальных языков народов СССР. В советское время были определены методологические основы словарной работы, уточнялись и совершенствовались ее приемы, углублялось ее содержание. Вместе с развитием социалистических наций и народностей советского государства шло развитие и обогащение их культуры и языков. Широкие массы трудящихся активно приобщались к культурному строительству, овладевали родным и русским языками. Все это настоятельно требовало создания разнообразных пособий и справочников, отражающих нормы литературных языков нашего времени, и прежде всего — словарей. Во всех республиках начинается интенсивная работа над двуязычными, а затем и толковыми словарями национальных языков. «В истории человечества еще не было случая, когда бы шла такая большая, сосредоточенная работа над двуязычными словарями на почве общения отдельных национальных языков разных ступеней развития с одним и тем же основным для всех источником — русским литературным языком», — отмечала Е. С. Истрина [1].

Советская лексикография складывалась и развивалась в исключительно благоприятных для нее условиях: она унаследовала весь предшествующий опыт и достижения отечественной лексикологической и семантической теории и лексикографической практики. Живая связь лексикографической теории и практики с решением практических задач, выдвигаемых самой жизнью, культурными и социальными преобразованиями в стране придавала лексикографической работе огромный размах и планомерный характер, выражающийся в координации и направлении такой работы со стороны АН СССР и других научных центров. Так, уже в 1922 г. была создана специальная Комиссия по составлению Словаря русского языка при АН под председательством В. М. Истрина (в комиссию вошли выдающиеся наши ученые-лексикографы: С. П. Обнорский, В. И. Чернышев, Л. В. Щерба, Е. С. Истрина, П. Л. Маштаков, И. А. Фалев). Создается впервые в истории русской лексикографии институт научных сотрудников-лексикографов.

Благотворное влияние на развитие советской лексикографии оказывала и оказывает языковая ситуация в СССР — многонациональный сос-

---

[1] Е. С. Истрина, Заметки по двуязычным словарям, ИАН ОЛЯ, 1944, 5, стр. 78—79.

тав населения, ситуация, которая сама по себе диктует необходимость создания словарей различных типов, рассчитанных на различного читателя. Работа по созданию словарей в нашей стране стала делом большой национальной, научной и культурно-исторической значимости. Не случайно, именно в советский период лексикография оформляется в самостоятельную отрасль филологической науки.

Общепризнанно, что руководящую и организующую роль в развитии и совершенствовании всей лексикографической работы в Советском Союзе играла и играет русская лексикография, толковые словари русского языка. История русской лексикографии советского времени богата интересными поисками и находками в области теории и практики составления словарей, а ее достижения в создании лексикографических трудов общеизвестны и общепризнанны: в ее активе четыре толковых словаря современного русского литературного языка — «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, четырехтомный «Словарь русского языка» АН, семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка» АН и однотомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, два синонимических словаря русского языка, «Словарь языка А. С. Пушкина», словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка», словарь-справочник «Новые слова и значения», «Фразеологический словарь русского языка», орфографический, орфоэпический и другие словари. Этот далеко не полный перечень словарей русского языка, созданных в Академии наук СССР, пополняется такими значительными лексикографическими предприятиями, как многотомный сводный «Словарь русских народных говоров», «Словарь русского языка XI—XVII вв.», «Древнерусский словарь XI—XIV вв.», «Словарь русского языка XVIII в.», «Этимологический словарь славянских языков», «Словарь русской фразеологии», «Словарь языка В. И. Ленина» и др., работа над которыми или близка к завершению, или достаточно далеко продвинута.

Особую отрасль лексикографии, само возникновение и развитие которой связано с укреплением русского языка как языка межнационального общения народов СССР и одного из наиболее распространенных мировых языков, составляют учебные словари русского языка. Значение учебных словарей в распространении и укреплении позиций русского языка в современном мире трудно переоценить.

За более чем двухсотлетний период русская лексикография выработала целый ряд принципов, характерных только для нее, отличающих ее от других лексикографических школ. В традициях русской лексикографии отразились прежде всего традиции русской лингвистической школы, они определили ее характер, составили ее существо. П. Н. Денисов называет четыре направления русского языкознания, положенные в основу русской лексикографии. Это — учение о слове, учение о лексической системе, учение о функции и изучение семантики в широком культурно-историческом аспекте[2]. Учение о слове как основной единице языка, разработка лексикологии как теории слова и словарного состава языка, учет культурно-исторического аспекта при изучении семантики слова — все это отличает русскую лингвистическую традицию от некоторых направлений зарубежной лингвистики. И это представляет ее наиболее сильную сторону.

Советская лексикография опиралась в отборе материала, в системе филологической разработки значений и оттенков значений, технике показа

---

[2] П. Н. Денисов, Основные проблемы теории лексикографии. АДД, М., 1976, стр. 4.

сферы употребления слова, в приемах и способах грамматической характеристики на опыт предшествующих академических словарей. Обращаясь к наиболее полному современному словарю русского литературного языка, В. В. Виноградов отмечал, что в нем «было стремление сочетать разные виды лексикографической традиции, идущие от словарей Академии Российской, отчасти и от Даля, от толкового словаря под ред. Д. Н. Ушакова и даже от академического словаря 1847 года. Само собой разумеется, что в сфере иллюстративно-литературной и фразеологической нельзя было пожертвовать и достижениями гротовского и шахматовского словарей. При такой пестроте сочетаемых традиций достигнуть синтеза было почти невозможно» [3]. Разделяя мнение нашего выдающегося филолога относительно множественности традиций, отразившихся в БАС, нельзя согласиться с его скептицизмом. Для скептицизма нет оснований потому, что в опоре на традицию русской академической лексикографии досоветского времени заключается не слабость, а сила и достоинства лексикографии советской. Использование предшествующего опыта в советской лексикографии носило не стихийный, а вполне осознанный характер. В редакционной статье, открывающей первый том семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» об этом говорится прямо: «используя старую, более чем полуторастолетнюю традицию академических словарей, редакция настоящего Словаря ставила себе задачей объединить лучшие признанные положения этой традиции с лингвистической теорией и практикой нашей современности» («От редакции», стр. III).

Советская русская лексикография сохраняет верность лучшим традициям русской лексикографии и русской филологии в целом, чем подчеркивается непрерывность духовного и культурного развития русской нации. Одна из наиболее ярких черт этой традиции — гуманитарный подход к словарям, признание гуманитарного содержания лексикографии, проявляющегося в ее направленности на человека. Социальная обусловленность и общественная значимость словарей в наши дни проявляется особенно ярко. Советской лексикографии близка мысль В. Дорошевского о том, что «словари оказывают большое влияние на формирование отношений между людьми и народами» [4]. Это связано с культурной функцией литературного языка, которая выделяет его не только как орудие мышления и общения в области литературного и духовного развития, но и как орудие социальной борьбы, как средство воспитания народных масс. «Задача тех, кто работает над языком, а в особенности над словарями,— строить мосты взаимопонимания между людьми. Строительным материалом становятся в этом случае слова, определения которых дают лексикографы, их работа была бы бессодержательной, лишенной методологических опорных пунктов, если бы она не служила общественно-культурным целям, если бы лексикография не была частью языкознания, понимаемого как наука не только сравнительно-историческая, но и общественно-педагогическая», справедливо подчеркивает польский ученый [5].

Обращение всякой словарной работы к человеку важно в том отношении, что оно ставит предел допустимым единицам описания (словник), допустимым объемам словарных статей и допустимой степени сложности лексикографического описания. Это соображение призвано также пред-

---

[3] В. В. Виноградов, Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания, ВЯ, 1966, 6, стр. 5.

[4] В. Дорошевский, Элементы лексикологии и семиотики, М., 1973, стр. 76 (примеч.).

[5] Там же, стр. 255—256.

остерегать от нарушения «допустимых пределов» с тем, чтобы соразмерять замыслы и задачи словарей с возможностями их выполнения.

Громадное, определяющее значение для развития советской лексикографии имели ленинские идеи, высказанные им в известных письмах А. В. Луначарскому, М. Н. Покровскому и Е. Л. Литкенсу по поводу создания словаря русского языка. Ленинское понимание современного, «настоящего» русского литературного языка, определение роли классического периода его развития, оценка словаря литературного языка в тесной связи с задачами культурного строительства, выдвижение перед словарем задач нормализации языка, требование сделать словарь для «учения всех» — все это стало основными принципами советской русской лексикографии. Практическая направленность, тесная связь с нуждами просвещения, с заботой о повышении культуры речи, отчетливое обращение в сторону актуальных проблем, разрешения которых требуют интересы коммунистического строительства в нашей стране, определяли развитие всей советской лексикографии. Само начало советской русской лексикографии связано с процессом формирования новой социалистической культуры и обусловлено им. В. И. Ленин, выдвигавший задачу создания словаря «настоящего» русского языка, рассматривал эту задачу в тесной связи с целостной программой культурного строительства в молодой советской республике. Это потребовало определения отношения новой формирующейся культуры к достижениям культуры прошлого, выяснения отношения языка новой эпохи к предшествующим этапам его развития. Ленинская концепция социалистической культуры предполагает использование всего ценного, что было создано предшествующими поколениями людей. Язык как важнейший компонент культуры полностью включается в эту теорию. Вот почему, говоря о создании словаря «*настоящего* русского языка», В. И. Ленин уточняет: «скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и классиками, от Пушкина до Горького» [6]. Следовательно, под современным, «*настоящим*» русским языком В. И. Ленин понимал язык, употребляемый «*теперь*» (в двадцатые годы), и язык классического периода. Ленин четко определил границы классического русского языка — «от Пушкина до Горького». Этот язык в ленинском понимании не противопоставляется понятию «современный язык», а включается в последний как его лучшая, основная, образцовая часть. В наше время, более полувека спустя после высказываний В. И. Ленина о современном языке (о словаре современного, «*настоящего*» языка) проблема определения границ современного литературного языка приобрела новую остроту. Ведутся оживленные дискуссии, предлагаются различные периодизации истории литературного языка, большинство которых строится не на лингвистических, а на социологических основаниях, что не содействует их убедительности [7].

Следует отметить, что все толковые словари советского времени включают в свой состав факты, начиная с пушкинской эпохи. Эстетическая ценность классического русского языка настолько высока, что он попрежнему остается основой современного русского языка. Словари свидетельствуют, с одной стороны, о сложности системы современного литературного языка, о трудности его описания в рамках одной системы, а с другой — о необходимости, целесообразности и перспективности такого рассмотрения. Именно лексикография показала, что язык Пушкина не

---

[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 51, стр. 122.

[7] Этой проблеме посвящена обширная литература, начиная от специальных исследований (работы Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, С. И. Ожегова, Ф. П. Филина, К. С. Горбачевича и др.) до работ, затрагивающих ее попутно.

может быть оставлен за пределами словаря современного русского литературного языка.

Время всегда присутствовало в словарях русского национального языка: оно проявлялось и в лексическом составе, и в характере толкований (в сумме идей и понятий, отраженных в значениях), и в характере грамматической и стилистической характеристики, и в цитатах. Недаром, лучшие словари становились «энциклопедиями» своего времени (например, за словарем В. И. Даля прочно укрепилось название «энциклопедия русской народной жизни XIX в.»). В задачу серьезных русских словарей всегда входило стремление к тому, чтобы время их составления было отражено правильно, чтобы движение жизни было воспроизведено в них без ошибок и искажений. Советским лексикографам чужда позиция беспристрастного протоколиста всего, что происходит в языке и в реальных условиях его функционирования.

Появление новых словарей или новых редакций уже существующих словарей (значительно отличающихся от первых редакций) совпадало с периодами наиболее заметных изменений в словарном составе языка, в условиях его функционирования, с изменением состава носителей национального литературного языка, взглядов носителей языка на условия и способы его использования. И, как правило, эти словари играли и играют огромную роль в культурной жизни народа. Можно утверждать, что все четыре словаря русского языка советского времени явились выдающимися явлениями в исследовании лексического состава, семантики и стилистики русского языка нашей эпохи; каждый из них, несмотря на однотипность, отличается своими индивидуальными особенностями, каждый внес новое в теорию лексико-семантических и стилистических исследований. Так, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова сыграл чрезвычайно важную роль в утверждении норм современного русского литературного языка 20—30-х годов — времени больших изменений в нем. Это был первый опыт нормативного словаря русского языка советского периода. Для русского языка 40—60-х годов нашего века эту задачу решают семнадцатитомный и четырехтомный академические словари.

Одно из важнейших предназначений толковых словарей русского языка — быть активным проводником, узаконителем и «учителем» правильной литературной речи, пропагандистом высокой культуры речи. Выдвигая перед советским языкознанием задачу создания словаря *«настоящего»* литературного языка, В. И. Ленин особо подчеркивал необходимость создания словаря для «учения всех» [8]. В. И. Ленин считал, что создание такого словаря было насущно необходимо в связи с значительными изменениями в составе русского литературного языка и появлением нового читателя, который стремился овладеть всеми достижениями культуры, науки, общественной жизни. Продолжавший издаваться в это время Академический словарь русского языка «шахматовской редакции» был далек от учета всех этих условий и обстоятельств. Этот словарь по своему характеру был близок к знаменитому «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, о котором В. И. Ленин сказал: «великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел» [9]. В значительной мере ленинская идея воплощена в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1934—1940). Составители словаря «старались, поскольку это было в их силах, придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые предъявлял В. И. Ленин к образцовому тол-

[8] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 51, стр. 192.
[9] Там же, стр. 122.

ковому словарю современного русского литературного языка»[10]. Они «старались придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык, а именно, большое внимание обращено в нем на нормативную сторону: правописание, произношение, ударение слов, грамматические указания, полезные для русских и нерусских, указания на сферу употребления слов, имеющие практическое значение для ищущих стилистического руководства»[11].

Вопрос о нормативности, нормативной направленности русской толковой лексикографии постоянно стоял в центре внимания лексикографов. Касаясь этой стороны в семнадцатитомном словаре, С. П. Обнорский говорил: «Одним из главных принципов словаря, в отличие от предшествующих изданий академических словарей, служит то, что теперешний словарь — нормативный словарь русского языка. Я даже склоняюсь к мысли, что все академические словари нормативны, только одни в большей степени, другие в меньшей. Наш словарь нормативен в большей степени» (Обнорский, Замечания на первый том БАС 12 апреля 1949 г.). Это мнение С. П. Обнорского не является бесспорным, если учесть, что два академических словаря — Словарь Академии 1847 г. и выпуски академического словаря «шахматовской редакции» — были принципиально ненормативны и в этом отношении объединялись со Словарем В. И. Даля. Вообще следует отметить, что в истории русской лексикографии наблюдалась постоянная борьба двух противоположных принципов — принципа нормативности и ненормативности толковых словарей. Поэтому нельзя признать правильным утверждение В. И. Чернышева, высказанное им при обсуждении «Проекта Словаря современного русского литературного языка» и его первого тома о том, что «нормативный словарь русского языка — предприятие почти новое для Академии наук и для русской лексикологии вообще. До сих пор смотрели на Словарь, как на справочное пособие, которое должно вмещать все слова русского языка, литературного и областного, вместе с заимствованными из чужих языков»[12]. История русской лексикографии противоречит этому заявлению. Начало русской академической лексикографии знаменовало нормативное направление, ибо САР, по свидетельству всех исследователей, обращавшихся к нему, отразил нормы русской (славено-русской) литературной речи второй половины XVIII в. Эта нормативность проявилась как в отборе слов, так и в их лексикографической разработке. Г. О. Винокур, занимаясь исследованием истории нормирования русского языка XVIII в., имел все основания заявить, что САР ярко обнаруживает движение к единой общенациональной языковой норме, поиски которой составляют основное содержание истории русского письменного языка, начиная примерно с 30-х годов XVIII в.»[13]. Эти нормативные установки САР отражали основные нормативные тенденции и интересы научной разработки русского литературного языка филологией XVIII в.

Однако нормативные тенденции русской академической лексикографии были оставлены при создании второго академического словаря — «Общего словаря церковно-славянского и русского языка» АН 1847 г., который сознательно обратился к прошлому состоянию языка и решительно отошел от нормативно-стилистической направленности в отборе слов, стремился быть «сокровищницей русского языка на протяжении многих ве-

---

[10] «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, I, «От редакции».

[11] Там же.

[12] В. И. Чернышев, Доклад на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.

[13] Г. О. Винокур, К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века, «Вестник МГУ», 1947, 5, стр. 47.

ков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей словесности»[14]. Это отступление от нормативных принципов не удовлетворяло многих деятелей русской литературы XIX в., хотевших видеть в словаре прежде всего справочник по живому словоупотреблению, отражающий живой процесс литературно-языкового развития.

Созданием первого тома «Словаря русского языка» (1891—1895) Я. К. Грот заложил основу образцового нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка. Однако А. А. Шахматов, пришедший на смену Гроту, коренным образом меняет все направление Словаря. Из словаря нормативного типа издание превращается в словарь thesaurus — сокровищницу русского языка без разграничения понятий «литературное» — «областное», «современное» — «устарелое», «общеупотребительное» — «специальное». Нормативность отвергается Шахматовым принципиально. «Странно было бы вообще,— считал А. А. Шахматов,— если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить»[15].

Что касается толковых словарей русского языка советского времени, то нормативные задачи для них являлись и являются задачами первостепенной важности. Толковые словари в наше время рассматриваются как могучее орудие культуры речи и вместе с тем — как продукт, порождение этой культуры. Ориентация на образцовые нормы литературного языка ярко выражена уже в первом советском толковом словаре — в Словаре под ред. Д. Н. Ушакова. Перед всеми толковыми словарями русского литературного языка советского времени стояли задачи нормализации, кодификации и стабилизации языковых норм, тесно связанные с удовлетворением все возрастающих запросов народных масс к языку ясному, простому, выразительному и содержательному. В советской лексикографии утвердилось мнение, что словарь литературного языка, в особенности словарь академический, не только должен отражать языковую деятельность определенного коллектива в определенный хронологический период, но и должен служить самым авторитетным законодателем норм словоупотребления. Современные академические словари — это капитальные пособия нормативного типа, органически включающие в себя понятие «норма литературного языка».

Нормализаторская роль словаря заключается «в поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает выражению новой идеологии; далее, в поддержании новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность»[16]. В связи с разрешением этих задач раскрывается более глубоко и содержательно понятие современной литературно-языковой нормы в ее конкретном выражении — фонологическом, грамматическом и лексико-фразеологическом.

Точность и доказательность квалификации языковых фактов во многом зависит от правильного выбора точки отсчета для привлекаемых письменных источников, связана с общим вопросом о границах современного в литературном языке. Изменения в системе русского литературного языка в советский период, требования синхронной оценки норм слово-

---

[14] «Словарь церковно-славянского и русского языка», I, СПб., 1847, Предисловие, стр. XI.

[15] А. А. Шахматов, Несколько слов по поводу записки И. Х. Пахмана, в кн.: «План нового академического словаря с точки зрения иноязычного. Записка И. Х. Пахмана», СПб., 1899, стр. 32.

[16] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3, стр. 98.

употребления приводят к попыткам пересмотра содержания понятия «современный русский язык» как языка от Пушкина до наших дней (В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, К. С. Горбачевич, П. Н. Денисов и др.).

Однако если возможно сужение хронологических рамок для словарей-справочников, то для словаря академического типа это сделать труднее. Здесь вступают в силу соображения культурно-исторического характера, стремление показать устойчивость и преемственность речевых навыков. Синхронность литературного языка не исключает возможность рассмотрения его в рамках одной системы на протяжении большого отрезка истории [17]. Вообще прямолинейное противопоставление синхронной и диахронной точек зрения для словаря оказывается не всегда приемлемым. Еще со времен И. А. Бодуэна де Куртенэ в русской лингвистике утвердилось понятие о динамической синхронии. Изучение системы современного русского литературного языка с этой точки зрения должно сопровождаться обязательным учетом внутренней динамики языковых явлений, анализом функций речевых угасающих процессов. Такое изучение по самой своей сути должно быть историчным, синхронно-диахроничным.

В этой связи стоит учение Л. В. Щербы о сложности понятия «система современного литературного языка», где взаимодействуют активные и пассивные элементы. Новые отношения сосуществуют со старыми. Вырастает сложная синонимия, развиваются тонкие оттенки значений. Структура литературного языка представляет собою внутреннее единство, но сложное, подвижное и динамическое [18]. Это понимали инициаторы всех наших больших толковых словарей. «Понятие исторический тесно связано для нас с понятием современный,— говорил В. И. Чернышев.— Если мы строим Словарь на основе современного его употребления, выделяя в традиции литературного языка те лексические и формальные словоупотребления, которые не покрываются литературным языком нашего времени, то это и значит, что мы строим словарь на исторической основе» [19].

Сложность и многоплановость системы литературного языка диктует осторожное и внимательное отношение к отражению этой сложности в нормативном словаре. Здесь уместно привести слова Л. В. Щербы о том, что у него «возникает большое опасение, как бы наш академический словарь не пошел по тому же самому пути, по которому пошел в свое время Словарь французской Академии, который на несколько столетий задержал развитие французского языка... Мне просто страшно делается при одной такой мысли. Я считаю, что совершенно не следует так просто выхолащивать русский язык, нельзя подходить только в данном случае со своей узко нормативной, академической точки зрения» [20]. Л. В. Щерба призывал к внимательному отбору фактов и явлений, входящих в систему литературного языка, с тем, чтобы картина этой системы не была искажена. Одной из линий такого отбора является решение проблемы заимствованных слов, которую С. И. Ожегов называл одной из центральных задач лексикологии, важной для лексикографической работы [21]. Судьба этой лексики, ее характер, подчеркивал С. И. Ожегов, зависит от сферы языка, через которую происходит заимствование (общенародный язык, территориальные диалекты, социальные жаргоны и т. п.). Отбор иноязычных слов в толковые нормативные словари должен производиться на основе оценки

---

[17] См. об этом: Л. В. Щ е р б а, указ. соч.
[18] См. там же.
[19] В. И. Ч е р н ы ш е в, Доклад на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.
[20] Л. В. Щ е р б а, Выступление на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.
[21] С. И. О ж е г о в, Вопросы лексикологии и лексикографии, в кн.: «Лексикология, лексикография, культура речи», М., 1974, стр. 241—242.

исторической роли и значения разных разрядов иноязычных слов в общенародном языке.

Русским толковым словарям близка позиция В. И. Ленина по отношению к иноязычной лексике. Неизменным, начиная с САР до наших дней, остается осторожное отношение академических словарей к включению в их состав иноязычных слов. Решение составителей САР «выкинуть те иностранные слова, коим равносильные и то же выражающие славенские и российские слова найдутся» [22] нельзя считать требованием пуристического толка, ибо это относится только к словам, «которые не вошли еще в такое употребление, чтоб объяснение их в российском словаре было нужно» [23]. «Наши академические словари, как и Словарь Даля, были словарями чистого русского языка. Несомненно, что разборчивая русская лексикография и в наше время не должна быть в данном случае слишком застенчивой: она не обязана уступать фактам стихийного вторжения в родной язык чужих слов» [24], — считал В. И. Чернышев, выступая против введения в толковый словарь иноязычных слов, «которые пока что являются неприглашенными гостями в русском языке» [25]. Чернышев справедливо считал, что обилие «чужих слов» нарушает русский характер словаря и может вызвать представление, что русский язык «немощен по природе». Место словам, «которые встречаются только в переводной беллетристике, в языке старой интеллигенции, поклонявшейся поочередно то французам, то немцам, то англичанам, или исключительно в языке надутых специалистов, которые чванятся не известными широкой публике терминами» [26], в чисто справочных словарях иностранных слов. В наши дни борьба В. И. Ленина против злоупотребления иностранными словами, против употребления их «без надобности» приобретает новое актуальное звучание [27]. Вот почему совершенно правильную позицию поддержания старой традиции в отношении иностранных слов занял А. М. Бабкин в подготовленном им «Проспекте нового Академического словаря русского языка» (Л., 1971).

Одним из основных принципов русской академической лексикографии является сугубое внимание к фактическому материалу, представляемому наиболее важными литературно-художественными, публицистическими, научно-популярными и научными источниками. Особенно ярко и отчетливо забота о полноте и точной документации материала проявилась в академическом словаре «шахматовской редакции» [28].

Характеризуя концепцию БАС, В. И. Чернышев писал: «Основной принцип построения нашего Словаря — *создавать его на основе фактического материала, представляемого наиболее важными литературными и научными источниками, в сущности, нашею картотекою*» [29].

Картотека, на которую опирались два больших академических словаря (БАС и МАС), составляла около 7 млн. карточек-цитат, извлеченных из

[22] «Записки имп. Российской Академии в субботу 16 декабря 1783 года».

[23] «Записки имп. Российской Академии 27 дня февр аля 1785 года».

[24] В. И. Чернышев, Толковый словарь русского языка (Критический отзыв), в кн.: В. И. Чернышев, Избр. труды, I, М., 1970, стр. 362.

[25] Там же, стр. 361.

[26] Там же.

[27] См. об этом: Ф. П. Филин, Некоторые вопросы функционирования и развития русского языка, ВЯ, 1975, 3.

[28] См. об этом: Л. С. Ковтун, Основная идея шахматовской лексикографии, ВЯ, 1971, 2.

[29] В. И. Чернышев, Принципы построения академического словаря современного русского литературного языка, в кн: В. И. Чернышев, Избр. труды I, стр. 344.

лучших произведений классической и современной художественной литературы, из публицистических, научных и научно-популярных произведений.

Вопросу об источниках словаря придается особенно важное значение в послевоенные годы — время составления двух больших академических словарей русского языка. Критерии отбора источников и принципы их обработки (выборки из них материала) обсуждаются не только в практическом, но и в теоретическом аспекте [30].

С вопросом об источниках словаря тесно связан вопрос о цитировании (цитатном материале), которому в русской академической лексикографии всегда придавалось большое значение. В советской русской лексикографии вопрос о цитатах в словаре получил широкое и всестороннее обсуждение (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Ф. П. Филин, А. М. Бабкин). К сожалению, в практике словарной работы не всегда соблюдаются требования к цитатному материалу, которые выдвигаются в теории: цитаты должны быть образцовыми в языковом отношении. Необходимо более строго подходить к отбору источников словаря и к выборке из них цитатного материала, включаемого в словарь именно с точки зрения образцового языка. Вспомним, что А. П. Чехов считал огромным общественным признанием для писателя включение его произведений в число источников академического словаря. В. Дорошевский справедливо считал, что «решающим фактором отбора примеров чаще всего становится стилистическая ценность слов, текста, эта их ценность решает, будут ли они, и если да, то каким образом будут они служить языковому мышлению, понимаемому как общественный процесс, т. е. делу языковой культуры» [31].

Русская академическая лексикография с самого начала строилась на достаточно отчетливом разграничении задач энциклопедических и филологических словарей. Это разграничение касается как отбора слов, так и их разработки в словаре. В первом советском толковом словаре русского языка — Словаре под ред. Д. Н. Ушакова — вполне определенно указывалось, что «как и все предыдущие словари русского языка, новый „Толковый словарь" не есть энциклопедический словарь, а словарь языка, т. е. он не должен давать и не дает ни анализа, ни даже полного описания предметов и явлений; он „толкует" значение слова или различные его значения, если их несколько, и указывает случаи употребления слов, снабжая свои объяснения там, где нужно, примерами, в значительной степени взятыми из литературы».

Новый «Толковый словарь русского языка» есть словарь филологический, и к нему нельзя предъявлять тех требований, которым должны удовлетворять энциклопедические словари («От редакции»).

В дальнейшем противопоставление задач энциклопедических и филологических словарей и в теоретическом аспекте, и в аспекте практически-прикладном подвергалось всестороннему обсуждению. Это противопоставление опирается на особое место терминологии в составе литературного языка, на учение об особенностях соотношения понятия и значения в термине и др. В работах Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, Ф. П. Филина, А. П. Евгеньевой, А. М. Бабкина и других последовательно разграничиваются задачи филологических и энциклопедических словарей.

В этом отношении русская лексикография отчетливо противопоставляется некоторым лексикографиям Запада, например, английской, где

---

[30] См., например, такие издания, как: «Лингвистические источники», М., 1967; «Разработка лексики и фразеологии современного русского литературного языка (пособие по выборкам)», Л., 1972; и др.

[31] В. Дорошевский, указ. соч., стр. 58—59.

энциклопедический аспект в филологических словарях выражен достаточно ярко и определенно [32].

Исследователи отмечают, что словарь как универсальная сокровищница духовного богатства сходит со сцены и в практике западноевропейских лексикографий, хотя традиция толково-энциклопедических словарей еще продолжается, например, во Франции и США [33].

Особо стоит вопрос о теоретическом аспекте лексикографической проблематики. Русской лексикографии всегда был присущ постоянный пристальный интерес к теоретическим основам составления словарей, к выработке принципиальной концепции словаря до начала практической работы по его составлению. Исследователи САР отмечают, что составители этого словаря оживленно обсуждали вопросы словника, расположения слов, принципа истолкования значений, вопросы цитирования, этимологических справок и т. п. [34]. Составители САР опирались на теоретическую разработку вопросов грамматики, стилистики, лексикологии и семасиологии в исследованиях М. В. Ломоносова, который был для них непререкаемым авторитетом и как ученый, и как писатель. С еще большей энергией и настойчивостью теоретические проблемы русской лексикографии обсуждались после выхода в свет САР, при подготовке его второго издания, при выработке принципиальных основ Словаря Академии наук 1847 г. Установлено, что вся грамматическая характеристика слов в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. проведена в соответствии с наиболее передовым тогда грамматическим учением А. Х. Востокова [35]. В принципах лексикографической теории и практики А. А. Шахматова нашли отражение общеязыковедческие взгляды и представления ученого.

В 20-е годы нашего столетия в системе АН создается специальная Комиссия по составлению словаря (1922) под председательством В. М. Истрина. Следует отметить, что если практические достижения Комиссии были невелики, то теоретическая разработка вопросов, касающихся дальнейшей работы над целой серией словарей русского языка сохраняет в определенной мере актуальность и в наши дни. Именно в это время В. М. Истрин подчеркивал неразрывную связь лексикографии со всем развитием филологической науки, тесную зависимость лексикографии от конкретно-исторических условий. Он выдвигает задачу создания различных типов словарей, которые служили бы целям изучения русского языка в его современном состоянии, а также — в историческом прошлом и в сфере народно-диалектной речи. Намечается продолжение словаря «шахматовской редакции», подготовка «время от времени» добавлений к нему, составление два раза в столетие словаря литературного языка синхронного плана, составление словарей языка писателей, идеографического и синонимического словарей.

Все это должно было служить всестороннему и глубокому изучению русского языка в его современном состоянии и в историческом прошлом.

Постоянный, неослабевающий интерес к слову, изучение его сущности являются отличительной чертой русской лексикографической традиции. Ей близки концепции отечественной семасиологии, которая с самого начала была глубоко исторической наукой, наукой, ставившей перед собой

---

[32] См. об этом: Л. В. Малаховский, К вопросу о принципах смысловой характеристики в толковом словаре (Анализ приемов толкования слов в «Оксфордском словаре английского языка»), «Лексикографический сборник», III, М., 1958, стр. 89.

[33] П. Н. Денисов, указ. соч.

[34] В. В. Виноградов, Русская наука о русском литературном языке, «Уч. зап. МГУ», вып. 106, т. III, кн. 1, 1946; его же, Толковые словари русского языка, «Язык газеты», М., 1961.

[35] В. В. Розанова, Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук. АКД, Л., 1952.

задачу определения условий и закономерностей семантического развития целых разрядов слов, рассматривающей семантические изменения и функционирование слов в связи не только с внешними условиями, но и внутренними, чисто языковыми. Весьма показательно, что, начиная свою статью «Опыт общей теории лексикографии» этюдом «Основные типы словарей», Л. В. Щерба в примечании говорит о том, что «дальнейшие этюды предполагается посвятить природе слова, его значению и употреблению; его связям с другими словами того же языка, благодаря которым лексика каждого языка в каждый данный момент времени представляет собой определенную систему, и, наконец, построению словарной статьи в связи с семантическим, грамматическим и стилистическим анализом слова» [36]. Таким образом, Л. В. Щерба тесно увязывал решение лексикографических задач с задачами лексикологических, грамматических, семантических и стилистических исследований.

Русские словари всегда были тесно связаны с развитием языкознания, но эта связь во все времена не имела ничего общего с конъюнктурными «влияниями» лексикографии в зависимости от модных теорий в языкознании. Не модные теории определяют суть и содержание советских толковых словарей как научных изданий; эти издания остаются в пределах классической (но не архаической) науки о языке. Попытки увлечь советскую лексикографию на путь модных, но недостаточно обоснованных теорий не имели успеха [37].

Русская академическая лексикография способствовала решению целого ряда лексикологических, семасиологических, грамматических и стилистических проблем. Именно лексикография наиболее остро поставила вопрос о языковой норме и о стилистической дифференциации лексики. Обсуждение вопросов о дифференциальных признаках слова, о его тождестве и отдельности, проблема вариантов слова (типы вариантов, вариантность и синонимия), компоненты содержательной структуры слова, типы лексических значений, изменение лексического значения, пути развития значений слова, пути возникновения омонимов, типы омонимов, способы разграничения полисемии и омонимии, понятие синонимии, типы и функции синонимов, функциональные стили и проблемы стилистической дифференциации лексики и многие другие проблемы невозможно было бы решать без словарной теории и практики.

Сопоставляя лексикографию и лексикологию, В. Дорошевский считает, что, «во-первых, обе названные дисциплины тесно связаны с языкознанием; более того, развитие языкознания может зависеть непосредственно от развития лексикологических и лексикографических работ; во-вторых, так как существование фундамента оправдывается тем, что на нем будет построено, лексикографию можно понимать как дисциплину, в некотором смысле вышестоящую по отношению к лексикологии, ибо результаты важнее замысла и по практическим результатам можно оценивать теоретические основы. Современная эпоха — эпоха интеграции языкознания как теоретической науки о языке, лексикологии как науки о словах, лексикографии как науки о способах классификации словесного материала и его представления в словарях» [38].

Как уже было отмечено, в советское время лексикография оформилась в самостоятельную научную дисциплину со своей теорией, своими задачами и методами их решения.

Л. В. Щерба еще в 30-е годы XX в. отчетливо и определенно поставил вопрос о создании общей теории лексикографии как особой отрасли линг-

[36] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, стр. 89.
[37] См. об этом: Н. З. Котелова, Значение слова и его сочетаемость, Л., 1975.
[38] В. Дорошевский, указ. соч., стр. 36.

вистической науки. Концепция Л. В. Щербы, который по праву должен считаться основоположником современной теории лексикографии, получила выражение в его ставшей теперь классической статье «Опыт общей теории лексикографии». Идеи Л. В. Щербы, изложенные в этой работе, полностью сохраняют свое значение и в наши дни.

Именно Л. В. Щербе принадлежит обрисовка и определение основной проблематики теории лексикографии как самостоятельной историко-филологической дисциплины, обобщающей и систематизирующей результаты лексикографической практики и возвращающейся к ней с новыми теоретическими выводами и обобщениями.

В последние два-три десятилетия в русском языкознании появляются работы, посвященные, с одной стороны, критическому разбору и обобщению опыта предшествующей и современной практики составления словарей и, с другой стороны, освещению актуальных проблем, связанных с определением принципов создания словарей различных типов: состав словаря, его источники и хронологические границы охвата материала, семантическая характеристика и характеристика круга употребления слов, стилистические пометы; вопрос о специфической структуре слова, о структуре словарной статьи, о соотношении различных типов значений, о показе различного рода типических сочетаний, об иллюстрациях и многие другие вопросы. Проблематика, в обсуждении которой заинтересованы лексикографы, оказалась чрезвычайно широкой, разнообразной и сложной; она выходит далеко за пределы сугубо лексикографических понятий и представлений.

Вслед за работами Л. В. Щербы, С. П. Обнорского, В. И. Чернышева, В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, С. И. Ожегова по теории лексикографии в послевоенные годы появляются исследования по истории русской лексикографии (И. А. Фалев, В. В. Розанова, Г. П. Галаванова, М. В. Канкава, И. М. Мальцева и др.), работы, посвященные анализу общих и частных проблем современной лексикографии (Ф. П. Филин, А. М. Бабкин, А. П. Евгеньева, Ю. С. Сорокин, Н. З. Котелова, Л. С. Ковтун, Л. Л. Кутина, Е. С. Горбачевич и др.). Издается «Лексикографический сборник», шесть выпусков которого сыграли значительную роль в обсуждении теоретических проблем словарного дела. Серьезным вкладом в развитие теории лексикографии явилась серия проектов, проспектов и инструкций для составления толковых, исторических, областных и других словарей русского языка («Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка“ в 15 томах», «Инструкция для составления „Словаря русского языка“ в 3-х томах», «Проект „Словаря русских народных говоров“», «Проект нового академического словаря русского языка», «Проект „Словаря русского языка XVIII в.“» и др.).

Текст словарей также довольно определенно отражает лингвистические воззрения авторов-составителей. Это выражается и в принципах отбора слов, в лексикографической организации материала, в способах описания лексической семантики, в показе грамматических особенностей, в системе стилистических помет и т. д. В последние полтора-два десятилетия появляется большое количество статей, посвященных этим проблемам [39].

Так начинают вырисовываться отчетливые контуры, к сожалению, еще не созданной общей теории лексикографии, которая представляет собой в наше время вполне самостоятельную отрасль лингвистики со своей особой проблематикой, своими задачами и методами их разрешения. Эта научная дисциплина опирается на историю лексикографии, учитывает

[39] Число таких исследований достаточно велико, исчерпать их в этом кратком обзоре не представляется возможным.

традиции и современный опыт создания словарей. Теорию лексикографии нельзя сводить к своего рода обобщенной инструкции для составления словарей, к своду технических правил оформления словаря, к перечню средств и приемов лексикографической интерпретации словарного состава. Теория лексикографии теснейшим образом связана со всеми научными дисциплинами, изучающими язык и законы его развития, хотя проблемы этих научных дисциплин находят в лексикографии своеобразное преломление. В словарях особым образом преломляются и синтезируются данные грамматики, лексикологии, семасиологии, стилистики, фонетики, орфографии. Вот почему теорию лексикографии можно определить как науку о закономерностях лексикографических приемов, выработанных в течение многовековой лексикографической практики, науку, истолковывающую правила словарной работы, в которых отражены объективные закономерности функционирования словарного состава языка.

По мере расширения и углубления лексикографической проблематики в теоретическом плане составление словарей становилось все более и более творческой работой. Л. Б. Щерба — один из крупнейших теоретиков языкознания — говорил: «Нет никакого вида работы более трудной и более, я бы сказал, творческой, нежели составление словарей. Я скажу, что я бы хотел изгнать вообще это слово „составление“ словарей» [40]. Сам Щерба своей практической работой по составлению словарей и разработкой теоретических проблем лексикографии способствовал повышению творческого начала в этой отрасли языковедческой науки.

За шестидесятилетний период, отделяющий нас от величайшего события XX в. — Великой Октябрьской социалистической революции, — необычайно вырос культурный уровень советского общества. Это не могло не отразиться на содержании и характере решения задач советской филологической науки, в том числе и советской лексикографии. Советские лексикографы, опираясь на ленинские указания и советы, используя богатый опыт русской лексикографии, учитывая достижения языкознания и других гуманитарных наук, добились заметных успехов в создании словарей толковых, синонимических, исторических, диалектных и др.

Ленинские требования к словарю современного языка: словарь образцового литературного языка, его нормативная направленность, учебный характер («для учения всех») и массовый характер (предназначенность для массового читателя) — определяют пути развития советской лексикографии и в наше время.

Подготовка массовых филологических словарей, всеми своими компонентами пропагандирующих и утверждающих нормы литературного языка, воспитывающих культуру речи, составляет основу советской лексикографии.

Но, говоря об успехах советской лексикографии, нельзя забывать о том, что перед советской, в частности русской, лексикографией стоят важные и многообразные задачи: разработка общетеоретических проблем лексикографии, исследование частных вопросов (принципы составления отдельных словарей, исследование отдельных проблем современной, исторической и диалектной лексикографии). Давно назрела необходимость создания общей теории лексикографии (тем более, что многие аспекты этой теории уже в достаточной степени разработаны в многочисленных исследованиях, появившихся за последние десятилетия). Для этого необходимо также обобщить опыт русской и всей отечественной лексикографии, в котором заключено много ценного и поучительного, без учета и творчес-

---

[40] Л. В. Щерба, Выступление на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.

кого применения чего невозможно дальнейшее развитие лексикографической теории и практики.

Однако учет традиций, опора на предшествующий опыт, каким бы богатым и плодотворным он ни был, не может обеспечить всех условий для создания словарей, отвечающих запросам современности. Для этого совершенно необходим учет современных тенденций в развитии языка и опора на достижения его теоретической разработки ко времени создания словаря. В основе создания больших и серьезных словарей всегда лежала теоретическая разработка лексических, семасиологических, грамматических, стилистических и других сторон языка. Уровень развития языковедческой теории в конечном счете определял направление и уровень лексикографической разработки словарного состава. Вместе с тем, как подчеркивал еще в 20-е годы В. М. Истрин, существенную роль при этом играют и конкретно-исторические условия, в которых создаются словари [41].

Проблема современности толкового словаря национального языка, соответствие его уровню развития языка и его теоретической разработки, полнота ответов на запросы общества — все это должно постоянно находиться в центре внимания теоретической и практической лексикографии.

В русской лексикографии утвердилось положение о том, что адекватное и полное описание словарного состава языка невозможно осуществить в одном словаре, каким бы большим объемом он ни отличался. Такое описание мыслимо и целесообразно в серии словарей. Выдвигается идея системы словарей, описывающих с различных сторон словарный состав национального языка. Эта выработанная в русском советском языкознании позиция, по утверждению П. Н. Денисова, выдерживает проверку не только опытом русской, советской, но и мировой лексикографии [42]. В. И. Чернышев, много и плодотворно трудившийся на ниве лексикографии, отмечал, что «невозможно исчерпать... в одном издании весь русский литературный язык, точно определить его семантику, установить нормы его употребления в лексике, фразеологии, формах и значениях, верно представить наш язык со стороны социального понимания, соответствующего идеологии нашего времени » [43]. Поддерживая эту точку зрения, А. С. Мещеряков подчеркивал, что «создать словарь, который бы удовлетворял и человека средней школы и высококвалифицированного работника, нельзя. Выход в системе словарей, для разнообразного читателя должны быть разнообразные словари». «Прежде чем составить словарь, прежде чем приступить к его работе, надо продумать, какое место в системе словарей займет данный словарь», — подчеркивал Мещеряков [44]. С разных точек зрения В. И. Чернышев и А. С. Мещеряков приходили к убеждению о необходимости системы словарей.

В послевоенное время понятие «система словарей» наполняется иным содержанием. Под системой словарей понимается теперь совокупность словарей, которая позволяет описать лексическую систему языка (словарный состав языка) в ее полном объеме. Для русской лексикографии эту систему словарей должны составить: словарь современного литературного языка, исторический словарь русского языка XIX в., исторический словарь русского языка XVIII в., словарь русских народных говоров, словарь древнерусского языка XI—XVII вв. Эту систему должны дополнять: словарь синонимов, фразеологический словарь, словарь антонимов, сло-

[41] В. М. Истрин, Работа над Словарем русского языка в Академии наук, «Изв. АН СССР», VI серия, 1927, 18, стр. 1663.

[42] См. об этом: П. Н. Денисов, указ. соч., стр. 8.

[43] В. И. Чернышев, Доклад на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.

[44] А. С. Мещеряков, Выступление на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР 26 V 1939.

вообразовательный словарь и другие типы специальных лексикографических изданий. В совокупности эти словари и должны выполнить задачу, которую ставил перед своим словарем-тезаурусом А. А. Шахматов.

Первоочередной задачей в области практической русской лексикографии является создание нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка, в котором современное словоупотребление было бы представлено в более строгих границах. В свое время В. В. Виноградов выдвигал идею создания функционально-стилистического словаря и функционально-стилистической лексикологии, ставя эту задачу в связь с тем, что все многообразие значений и смысловых нюансов слова, его возможных применений, его отношений к другим словесным сферам сосредоточивается и объединяется в его функционально-стилистической характеристике. Будучи созданным, такой словарь будет новым шагом по пути создания словаря «для учения всех», о котором говорил В. И. Ленин. Переиздание четырехтомного и семнадцатитомного академических словарей не снимает проблемы нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка.

По-прежнему остро стоит проблема создания идеографического словаря русского языка. Самое трудное здесь — классификация понятий, которая опиралась бы, с одной стороны, на глубокое понимание лексико-семантической системы русского литературного языка, а с другой — не была бы искажена субъективными, априорными взглядами и предубеждениями, навязанными общей философией языка, как это случилось с существующими идеографическими словарями английского, французского и немецкого языков [45]. Разработка материалистической, марксистско-ленинской философии языка в этом отношении должна помочь установлению общих принципов группировки основных понятий и семантических категорий, вокруг которых должны группироваться гнезда подчиненных и соподчиненных им идей, значений и смысловых оттенков. Такой идеографический словарь помог бы глубже вскрыть особенности лексико-семантических отношений в русском литературном языке. Для осуществления этой задачи необходимы большие, совместные подготовительные работы специалистов по языкознанию, философии, логике.

Чрезвычайно важно предусмотреть в недалеком будущем подготовку исторического словаря русского языка XIX в.

Пути развития русской лексикографии могут быть правильно осознаны лишь в свете общих задач развития советской науки в целом и прежде всего — в свете перспектив дальнейшего развития исследований в области языкознания, литературы, материальной культуры, истории и искусства народов нашей страны. Лексикография, затрагивающая вопросы о национальном литературном языке, его формировании, развитии и функционировании, — это та область изучения речевой культуры народа, в которой объединяются задачи и достижения всех лингвистических дисциплин.

Одной из важнейших задач советской лексикографии, решение которых должно обеспечить новый подъем лексикографической теории и практики, должно быть дальнейшее и все более глубокое проникновение общеязыковедческих исследований в лексикографию (достижений лексикологии, семасиологии, грамматики, стилистики). Учет достижений языкознания лексикографией совершенно необходим в силу больших успехов науки о языке. Впрочем, не менее необходим и учет лексикографических достижений теорией языкознания. Без этого условия будет страдать и теоретическое языкознание, и лексикографическая практика. Без соблюдения этих условий трудно рассчитывать на полное и адекватное научное

[45] См. об этом: Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии.

раскрытие существа языковых явлений и в лексикографии, и в теоретическом языкознании.

Но эти условия сами по себе не могут обеспечить подлинное развитие лексикографии. Необходимо еще постоянное введение в науку новых материалов. Для лексикографии это постоянное и систематическое обогащение словарных картотек. Для этого требуется изменение нынешнего положения с разработкой лексико-фразеологических материалов.

Хочется верить, что внимание к лексикографической работе и в наше время будет по-прежнему таким, какого заслуживает эта важнейшая отрасль филологической науки.

Выдающийся испанский лексикограф Х. Касарес писал: «Инициаторы всех больших словарей XX века с самого первого момента стремились убедить культурные силы соответствующих стран в том, что организации, руководившие указанными работами, — Академии, Общества, Конгрессы и т. д., а также все лица, самоотверженно предложившие им свои услуги, выполняют патриотическое дело, которое в случае удачи принесет славу не только узкому кругу инициаторов и составителей, но и всей нации, поднимая ее культурный престиж в глазах цивилизованного мира» [46]. Эти слова целиком могут быть отнесены и к русской советской лексикографии, и к ее представителям, посвятившим себя бесконечно трудному и благородному делу создания словарей.

---

[46] Х. Касарес, Введение в современную лексикографию, М., 1958, стр. 263.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

АХМАНОВА О. С., МАГИДОВА И. М.

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА, ПРАГМАЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА*

Одним из весьма серьезных и всем хорошо известных несовершенств метаязыка нашей науки является то, что мы до сих пор не только плохо разбираемся в тех делениях, которые предполагают использование таких терминов, как «психолингвистика», «социолингвистика», «нейролингвистика» и т. д., но и проявляем здесь некоторую склонность к средневековому номинализму.

Нередко создается впечатление, что, пытаясь определить соответствующие области знания, мы исходим не из подлинного и бесконечного разнообразия реальности нашего предмета, а из соответствующих слов (названий, терминов) и пытаемся выяснить, какие содержания могут быть в них вложены. При этом не всегда остается вполне ясным, не загружают ли они излишне достаточно четко обозначенную область исследования, т. е. науку о языке.

Язык — это общественное явление, почему любое исследование языка принципиально не может не быть «социолингвистическим». Аналогичный вывод справедлив и в отношении термина «психолингвистика»: язык неразрывно связан с мышлением, и поэтому человеческая речь неотделима от соответствующих психических процессов. Следовательно, и «психолингвистика» — это еще один аспект языкознания, а не отдельная наука.

Для того чтобы сказанное не звучало слишком безапелляционно, необходимо некоторое отступление. Термины «социолингвистика» и «психолингвистика» настолько прочно вошли в наш метаязык, что не может быть и речи о полном отказе от их употребления — особенно, если последний из них («психолингвистика») направляет внимание языковеда на то, каким образом в уме человека складывается некоторое содержание-намерение (purport), некоторая «интенция», которая кодируется при помощи языка, причем так, чтобы другой человек на «другом конце линии связи» мог быстро и удобно «расшифровать» их в соответствии с заданным «кодом». Но понятно, что от перевода на язык теории информации существо общения людей при помощи своего естественного человеческого языка отнюдь не меняется. Поэтому целесообразность всех приведенных названий еще требует дальнейшего терминологического подтверждения.

Если мы обратимся к работам крупнейших языковедов, то мы легко убедимся, что по существу все вопросы соотношения языка и общества, языка и мышления и т. д. успешно и плодотворно разрабатывались без обращения к особым составным терминам [1]. Поэтому так важно при со-

* В заглавие включены по существу три названия для области гуманитарного знания, которую по-разному пытаются теперь выделить ученые, не находя, как нам кажется, достаточно ясных критериев и принципов. Предлагаемая статья является попыткой внести в вопрос посильную ясность.

[1] Ср.: И. А. Бодуэн де Куртэне, Избр. труды по общему языкознанию, I, М., 1963; В. А. Богородицкий, Этюд по психологии речи, в его кн.: «Очерки

временном развитии металингвистического номинализма вновь и вновь призывать языковедов к тому, чтобы они вернулись к рассмотрению объективно данного предмета их науки, энергично очищая его от метаязыковых наростов и следя за научным развитием нашего метаязыка.

Это не значит, конечно, что новые термины вообще не следует вводить. Так, например, термины «child-language» для обозначения специфических особенностей языка детей или «languages in contact» для выяснения того, что происходит при смешении языков, или при необходимости пользоваться несколькими языками одновременно могут способствовать заострению внимания исследователей на соответствующих вопросах.

Это введение было совершенно необходимо, потому что сейчас появилась и приобретает права гражданства во всем мире еще одна «лингвистика» — «прагмалингвистика». Более того, объявлен и уже выходит в Амстердаме специальный журнал «Journal of pragmatics (an interdisciplinary quarterly of language studies)», который ставит своей целью опубликование статей по прагматической лингвистике [2]. Как указано в «Проспекте», выпущенном издательством «North-Holland Publishing Company», журнал определяет свои задачи следующим образом: «Лингвистическая прагматика оказалась в состоянии сформулировать целый ряд вопросов, являющихся существенными для понимания языка как главного средства естественного и общественного взаимодействия людей. Обеспечив теоретическое обоснование прагматического изучения языка, лингвистическая прагматика помогла увеличить и углубить наше знание человеческого общения и взаимодействия. Кроме изложенного, журнал ставит своей задачей уменьшить разрыв между такими областями, как социолингвистика, психолингвистика, вычислительная лингвистика, прикладная лингвистика (включая теорию и практику преподавания языков) и другие». Таким образом, новый журнал должен объединить публикации, которые уже выделялись новыми названиями: Sprachpragmatik, Pragmatic aspects of human communication, Konversationsanalyse und Pragmalinguistik и т. п.[3]

Как видно из приведенного перечня, «Журнал прагматики» ориентируется на разные аспекты «речеведения» или «текстологии», т. е.

по языковедению и русскому языку», М., 1939; А. Н. Томсон, Общее языкознание, Одесса, 1910; Ф. Ф. Фортунатов, Избр. труды, 1, М., 1956; А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, 1, Пг., 1916.

[2] В I томе журнала за 1977 г. опубликованы, например, такие статьи: D. Wunderlich, Assertions, conditional speech-acts, and practical interferences; U. Ammon, School problems of regional dialect speakers: ideology and reality. Results and methods of empirical investigations in Southern Germany; H. Ramge, Language acquisition as the acquisition of speech and competence; W. Settekorn, Pragmatique et rhétorique discursive; D. Zaefferer, How to understand misunderstanding: Towards a linguistic explanation of understanding; J. Schmidt-Radefelt, On so-called rhetorical questions; N. Dittmar, Some remarks on explanation in recent sociolinguistic work.

[3] Ср.: K. O. Apel, Zur einer transzendentalen Sprach-Pragmatik, в кн.: «Aspekte und Probleme der Sprachphilosophie», Freiburg — München, 1974, стр. 283—326; K. Bayer, Plädoyer für eine situationstheoretische Pragmatik, «Zeitschrift für germanistische Linguistik», Jg. 4, 1976, стр. 179—189; A. Betten, Konversationsanalyse und Pragmalinguistik, «Akten der 1. Saltzburger Frühlingstagung für Linguistik», Tübingen, 1975, стр. 387—401; D. M. Gabbay, A. Kasher, On the semantics and pragmatics of specific and non-specific indefinite expressions, «Theoretical linguistics», 3, 1976, 1—2, стр. 145—190; H. Henne, Sprachpragmatik, Tübingen, 1975; J. L. Morgan, Some interaction of syntax and pragmatics, «Syntax and semantics», 3, New York, 1975, стр. 289—303; «Pragmatic aspect of communication», ed. by C. Cherry, Dordrecht—Boston, 1974; H. Schneider, Pragmatik als Basis von Semantik und Syntax, Frankfurt am Main, 1975; H. Walther, Soziolinguistisch-pragmatische Aspekte der Namengebung und des Namengebrauchs, «Actes du XI Congrès international des sciences onomastiques», Sofia, 1975, стр. 421—427; D. Wunderlich, Probleme einer linguistischen Pragmatik, «Papiere zur Linguistik», München, 1973, 4, стр. 1—19.

на функционирование языка как важнейшего средства общения людей в разных ситуациях и с разными целями, что всегда составляло основу советского марксистского языкознания. Понятно, что выделять «лингвистическую прагматику» как общее название для обычно принятых языкознанием объектов и исследовательских процессов имеет смысл только в том случае, если уверовать в идеалистические догматы распространяемой и у нас априористической «лингвистической теории», не имеющей никакого отношения к реальным фактам естественного человеческого языка.

Если термин «лингвистика» уже узурпирован для обозначения областей знания, настолько сужающих проблему человеческого общения, что для собственно «языкознания» вообще не остается места, то никак нельзя порицать тех, кто пытается путем создания нового термина как бы водрузить новое знамя, провозгласить какой-то новый «rallying point», как-то объединить на новой основе тех ученых, которые и по своим убеждениям, и, что самое главное, по роду своих занятий вообще не могут удовлетвориться пустыми поисками несуществующих трансцендентных сущностей, вроде «глубинных структур» и внеопытных «носителей» языка. Тем не менее, от тех, кто хотел бы пользоваться новыми терминами, надо обязательно требовать соответствующего их обоснования. Если речь идет лишь о том, чтобы термином «прагмалингвистика» еще раз обозначить языкознание в подлинном смысле слова, наше отношение к этому не может не быть резко отрицательным. Мы не видим убедительных оснований для того, чтобы всем подобным терминам открывать зеленую улицу.

Термин «прагмалингвистика» мог бы оказаться весьма подходящим (конечно, можно было бы избрать и другой термин) для того, чтобы обратить внимание на один из разделов нашей науки, вообще до сих пор остававшийся незамеченным и не нашедший отражения ни в одной из многообразных и разнообразных старых и новых «-лингвистик». В чем же существо этого аспекта языкознания, который до сих пор не получил заслуживаемого им внимания и отдельного названия, которое достаточно определенно выдвигало бы его на подобающее ему место? Можно считать уже твердо установленным, что наиболее продуктивным при анализе языковых фактов оказывается деление функциональных стилей в самом общем виде на стиль сообщения и стиль воздействия [4], причем, конечно же, между этими стилями нет железного заслона [5]. Не входя более подробно в вопрос об этой дихотомии или тем более о сопоставимости всех других разнообразных и многочисленных классификаций, укажем на то, что ни одна из них не учитывает того важнейшего функционального стиля, который является основным для всей многомиллионной армии обучающихся языкам, включая родные. Для того чтобы яснее понять существо вопроса, обратимся к конкретным материалам и попытаемся систематически показать, что мы имеем в виду, когда говорим о «прагматической лингвистике».

Начнем по традиции с фонетики. Так, например, преподавание фонетики английского языка нередко начинается с лингафонного курса О'Коннора «A course of English intonation».

---

[4] См.: В. В. Виноградов, Стилистика, теория поэтической речи, поэтика, М., 1963, стр. 5—7.

[5] Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1976, стр. 44—45. См. также: М. С. Чаковская, Функция воздействия и функция сообщения как текстологическая проблема. КД, М., 1977.

Произношение, демонстрируемое на этих записях, представляет собой весьма своеобразный «сверхполный» стиль, в котором все фонологические противопоставления предстают в сильно гипертрофированном виде. Так, например, здесь совершенно отсутствует обычное стяжение слогов, типа [mai] и [ai] в [māi] (*My idea is this* произносится как ['mai aidiə iz ðis]). Полностью произносятся так называемые «беглые» нейтральные гласные (например, *general* произносится как ['dʒenərəl], *ordinary* — как ['ɔ:dinəri] и т. п.). Нет обычного для естественной речи выпадения нейтрального гласного в таких словах, как *them* (произносится как [ðəm], а не [ðm]), *must* (произносится как [məst], а не [mst]) и т. д. В естественной речи на английском языке такое произношение просто не существует. И тем не менее этот материал не только используется в разных странах для обучения английскому произношению, но и является безупречным образцом «прагматического» стиля произношения. Это особый — «третий» — стиль, который не выполняет ни функции сообщения, ни функции воздействия (ни какой-либо из «подфункций», входящих в эту дихотомию). Он создан не для передачи интеллективной информации и не для того, чтобы произвести экспрессивно-эмоциональное воздействие на слушателя. Его единственная цель — дать изучающим английский язык образец английского произношения, максимально «прояснив» его и сделав его ясным и четким.

Это особый, отдельный стиль, принципиально отличающийся от обычно изучаемых произведений речи. Нуждается ли он в улучшении, оптимизации, в научном осмыслении? Или же это своеобразное проявление языкового творчества, к которому языкознание вообще не имеет никакого отношения? Но могут ли существовать такие проявления человеческого языка, к которым языкознание вообще не имело бы отношения? При положительном ответе на этот вопрос огромное количество материала осталось бы вообще за пределами нашей науки. А между тем в связи с этим материалом как раз и возникает целый ряд вопросов, решение которых совершенно необходимо, если мы хотим, чтобы научное языкознание реально служило языковой практике и освещало ей путь.

Переходя на морфологический уровень, мы сразу же замечаем в интересующем нас материале огромное разнообразие текстов, специально составляемых для создания и утверждения данного функционального стиля. Например:

1. «If we are right in believing that Sir Walter Raleigh was responsible for introducing the smoking of tobacco into England and also for bringing us our first potatoes, we shall have no difficulty in agreeing that his influence is very great indeed. His having brought us these things is one incident in his life which was spent in exploring the New World, fighting England's enemies, helping the Queen and trying to found colonies overseas. Raleigh's coming under the notice of the Queen was due to his having thrown down his cloak to cover a part of the road» [6].

2. «Наш преподаватель сказал: „Сейчас мы будем разговаривать по-русски. Вы будете задавать вопросы, а я буду отвечать". Тогда Дендил спросил: „Что вы будете спрашивать на экзамене?". Преподаватель долго рассказывал, как мы будем сдавать экзамены».

3. «Вчера я смотрел фильм „Баллада о солдате". Роль солдата

[6] Этот текст взят из широко известного в свое время учебника: R. O. G. Urch, E. G. Urch, English (Riga, 1925, стр. 62), созданного для упражнения русских, изучающих английский язык, в употреблении форм английского глагола.

играл Владимир Ивашов. Он играл очень хорошо. Роль Шуры играла Жанна Прохоренко. Она тоже играла прекрасно».

Понятно, что подобного рода тексты требуют серьезного прагмалингвистического исследования. Ведь если задача состоит просто в повторении тех или иных грамматических форм, то зачем придавать этому материалу видимость «текста»? Если же, как мы полагаем, требуется научное обоснование данного функционального стиля, то приведенный английский текст показывает, в каком направлении здесь должен вестись научный поиск. Иначе говоря, прагматический текст (как и всякий другой текст любого функционального стиля) может быть «хорошим» и «плохим» (причем, по-видимому, разница только в том, что «плохой» прагматический текст очень легко может сделаться просто смешным, как это было блестяще разъяснено еще в прошлом веке, но остается злом, не изжитым и по сей день). Может быть, поэтому создавалось впечатление, что прагматическая текстология как научный предмет вообще невозможна. То, что это совсем не так, и что необходимо повсеместно преодолевать разрыв между бездарными учебными текстами, которые критиковал еще Г. Суит [7], и обрывками из произведений художественной литературы, которые до сих пор предлагаются изучающим языки в качестве учебного материала, не представляет сомнения.

Каждый литературно-образованный человек может написать без особого труда как текст «сообщения», так и текст «воздействия». Но для того чтобы сделать приемлемый прагматический текст, необходимы прекрасное знание языка, литературная одаренность и художественный вкус.

В области лексикологии ситуация несколько отличается от того, что мы находим в фонетике и морфологии. С одной стороны, здесь также существуют собственно «тексты» учебных пособий, принцип сопоставления которых близок к уже разъясненному выше «морфологическому» тексту. Но главное для лексической прагматики не в этом. Как показали новые лексикографические исследования, фразеология в словаре делится на три разные части, на три разные вида: «филологическую», «семиотическую» (или «толкующую») и «иллюстративную» [8]. Понятно, что последний из этих трех типов фразеологии относится к области прагматической лингвистики, потому что в идеале, в теории, она должна специально создаваться лексикографом для того, чтобы в иллюстративной части словарной статьи не оказываться пленником тех филологических случайностей (т. е. наличия или отсутствия достаточно убедительных примеров словоупотребления), которые он реально обнаруживает в уже существующих произведениях литературы и — шире — вообще в литературной речи на том или ином языке. Так, например, словосочетание *прекрасный вид на море* прагматически вполне приемлемо, тогда как, например, фраза *наука о прекрасном* — прагматически бесполезна. Иначе говоря, хотя это клише и существует в русском языке, оно ни в коем случае не может включаться в учебный материал, который должен выдерживаться в строго прагматическом стиле. Другие примеры: *длинный рукав*, но не *длинный парень*, *короткие волосы*, но не *в коротких словах*, *тонкий слой*, но не *тонкие различия* или *тонкий сон* и т. д. Такого рода анализ лексикографических материалов составляет важную часть лексикологической прагматики.

---

[7] Так, например, в книге «The practical study of languages» (London, 1899) Г. Суит приводит в качестве примера тексты из учебника французского языка, раскритикованного до него еще Стормом, и пишет следующее: «Этого рода непонятная речь вызывает полное недоумение учащихся; смысл сказанного до них совершенно не доходит; что же касается усвоения французского языка, то нетрудно представить себе, в какой степени это им удается».

[8] Эти вопросы разрабатываются в кандидатской диссертации И. Р. Тер-Погосян «Теория и практика иллюстративной фразеологии», подготавливаемой к защите.

Особенно сложны задачи «прагмалингвистики» в тех случаях, когда требуется последовательная и эффективная — или «оптимальная» — «минимизация» тех регистров языка, которые должны служить основой их использования в качестве средства международного общения [9]. Обширные исследования, которые проводятся в этом направлении кафедрой английского языка филологического факультета МГУ, отражены в ряде работ [10]. Однако разработка регистра, который не просто описывается, а реально и широко используется в пособиях этого рода, касается лишь части той обширной проблематики, которая составляет предмет «прагмалингвистического языкознания». Его важнейшим и до сих пор совсем не изученным разделом является пока еще просто постановка вопроса об изучении разного рода специальных подрегистров научной речи, не выходящих за узкие рамки сугубо ограниченных сфер употребления языка (так называемый «restricted English»).

«Прагмалингвистика» как наука об особом функциональном стиле языка еще только становится на ноги и только приступает к определению своих категорий и исследовательских приемов. Вместе с тем уже сейчас необходимо поднимать соответствующие вопросы — в частности. для того, чтобы избежать тех металингвистических недоразумений, которые продолжают возникать, например, в связи с введением термина «паралингвистика», необходимость которого первоначально не была обоснована.

---

[9] Ср.: В. Г. Гак, Проблемы преподавания русского языка как иностранного филологам-русистам, «Русский язык за рубежом», 1977, 2, стр. 60—67; М. А. Скопина, Научно-методические основы серии учебных словарей сочетаемости слов русского языка, «Русский язык за рубежом», 1977, 4, стр. 58—63.

[10] Ср., например: O. S. Akhmanova, R. F. Idzelis, What is the English we use, M., 1973; О. С. Ахманова, Естественные языки и постановка проблемы создания искусственного языка в эпоху научно-технической революции, сб. «Научно-техническая революция и функционирование языков мира», М., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ЗОЛОТОВА Г. А.

К ТИПОЛОГИИ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ *

I. Накопившиеся за десятилетия трудные вопросы в изучении обоих традиционных разделов теории предложения — состава предложения и типов предложения — в большой мере связаны с решением одной и той же проблемы: соотношения синтаксиса и морфологии. С одной стороны, последовательности синтаксических квалификаций мешает преувеличение роли морфологических показателей, в частности, показателей именительного падежа для выявления в предложении субъекта — носителя предикативного признака. Несовершенства грамматик в этом отношении были неоднократно предметом обсуждения в литературе. Для примера достаточно сослаться на усилия авторов «Грамматики современного русского литературного языка» (М., 1970) выйти из положения введением компромиссного понятия двухкомпонентных предложений среди односоставных (см. § 1290, а также §§ 1314, 1322, 1327, 1328): в результате предикативный признак и его носитель оказываются сопряженными в пределах «одного состава», морфологическая строгость торжествует над синтаксической сущностью. С другой стороны, наблюдается универсализация глагольно-именной модели, подтягивание под нее разнородных структур без учета иной морфологической природы их компонентов. Так происходит, например, с инфинитивными конструкциями, в которых инфинитив без достаточных оснований принято рассматривать как субститут имени существительного, чем определяется искусственная квалификация этих конструкций, подгонка их под ведущую подлежащно-сказуемную модель [1].

Последние годы усиленного интереса к семантике предложения открыли новый аспект, благодаря которому существующие взгляды на состав и типологию предложения предстают в свете соотношения грамматики и семантики, соотношения языковой формы и выражаемого ею внеязыкового содержания. Лежащий на поверхности факт отсутствия взаимно-однозначного соответствия между так называемой синтаксической структурой предложения, понимаемой обычно как определенная последовательность членов предложения или их морфологических форм, и его семантической структурой получает теоретическую поддержку в виде известного тезиса об асимметрическом дуализме языкового знака. Сам по себе этот тезис может остаться общим местом, не дающим дополнительных конкретных синтаксических познаний, даже камуфлирующим несовершенства наших представлений. Дело в том, что тезис об асимметрическом дуализме таит в себе возможность двух взаимно противоположных подходов к пониманию синтаксических явлений.

Одних исследователей он подводит к утверждению автономности, взаимной независимости синтаксической и семантической структур пред-

* В основу статьи положен доклад, прочитанный автором в Карловом университете в Праге в конце 1974 г.

[1] Об этом см. и в кн.: Д. Н. Шмелев, Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке (М., 1976, стр. 34, 40).

ложения, или синтаксического и семантического «ярусов», «уровней». Более плодотворной представляется другая позиция, с которой ведутся поиски взаимообусловленных связей между смыслом и средствами его синтаксического воплощения. В той мере, в какой эти связи будут обнаружены и систематизированы, можно говорить о том, что семантико-синтаксический аспект изучения предложения станет стимулом для самой синтаксической теории, позволяющим яснее осознать ее современное состояние и привести синтаксис, морфологию и семантику в равновесие, адекватное их соотношению в языковом устройстве.

Небесполезно уточнить при этом, что языковеды, которым принадлежит идея асимметризма, не абсолютизировали ее, не представляли ее как основной принцип отношений между формой и содержанием в языке, исключающий отношения симметрии. Признание двусторонности языкового знака вообще, как и осмысление синтаксических явлений с точки зрения взаимоотношений формы и значения, не сводимо к явлениям асимметрии. Иллюстрируя асимметрию синтаксической и семантической структуры предложения примерами типа *Досада меня берет*, *Нет в тебе доброты*, *Склад охраняется сторожем*, нельзя упускать из виду, что им соответствуют предложения с прямым, симметрическим характером семантико-синтаксических отношений: *Я досадую*, *Ты* (*не*) *добр*, *Сторож охраняет склад* и т. п. Абсолютизация асимметризма может создать априорную диспропорцию в представлениях о действительных отношениях между планом содержания и планом выражения в синтаксисе.

По-видимому, на современном этапе развития науки недостаточно доказывать, что асимметрический дуализм существует. Следует выяснить, каково соотношение синтаксических моделей, организованных на основе симметрии, и моделей, организованных несимметрично, и какое место занимают те и другие в синтаксической системе языка.

II. Ставшая устойчивой традицией классификация русского предложения, восходящая к А. А. Шахматову, основывается на форме главных членов предложения. Роль подлежащего закреплена за формой имени существительного в именительном падеже и его заместителей. Что отражает это грамматическое установление? Прежде всего признание действительной центральности в грамматической системе, частотности глагольно-именного (N — Vf) типа предложения. Вместе с тем, нельзя не видеть здесь влияния логико-грамматических концепций и грамматик европейских языков. Отсюда — суженное, обедненное представление о действительном многообразии форм первого главного члена, носителя предикативного признака, недоказанный тезис о категорической синтаксической противопоставленности именительного падежа косвенным, нарушенное, смещенное соотношение синтаксических, морфологических и семантических признаков в представлении о подлежащем.

Сказуемое рассмотрено в грамматиках более результативно. С разной степенью детализации, однако достаточно полно, описываются морфологические разновидности сказуемого. И хотя эксплицитно это не всегда выражено, однако может быть прослежено, что категориально-морфологические разновидности сказуемого, каждая вместе со «своей» разновидностью подлежащего, по существу организуют типы, или модели, предложения, со своим структурно-семантическим значением. Важно то, что в основе своей классификация способов выражения сказуемого заключает в себе единство морфологических, синтаксических и семантических признаков. Именно это осуществление единства признаков позволяет полагать, что грамматическое осознание явления приближается здесь к существу самого явления. По-видимому, поиски этого единства признаков и долж-

ны быть ориентиром, направляющим лингвистические классификации и квалификации.

III. Попытки найти семантическую структуру предложения во внеязыковой ситуации или на «глубинном уровне» предложения наталкиваются на определенные трудности, связанные с тем, что смысловой план в таком понимании не дан непосредственному наблюдению, поэтому его структура, степень его расчлененности и обобщенности допускают произвольность интерпретации. Метод логического моделирования не выводит исследователя из круга тех же затруднений.

Поскольку элементы смысловой структуры предложения материализуются лишь в языковых единицах, целесообразно и изучать ее на материальном уровне этих единиц. По-видимому, нельзя не признать, что семантическая ситуация может быть структурирована в той мере, в какой различные отношения между ее составляющими выражены языковыми средствами.

Основные общественно осознанные категории явлений и отношений объективной действительности и — соответственно — категории человеческого мышления получили языковое выражение в лексико-грамматических классах знаменательных частей речи. Знаменательные части речи выделяются на основе единства морфологических, синтаксических и семантических признаков. Нельзя забывать, что категориальное значение, или семантический признак каждой знаменательной части речи — это значение одной из основных категорий действительного мира — значения предмета (предметности, субстанции), действия (процесса), качества (свойства), количества и т. д.

Соотнося типы предложений, сгруппированные по способу выражения предиката, и категориальные значения частей речи, представленных этими предикатами, убеждаемся в том, что способ языковой реализации предикативного признака зависит от характера признака в реальной действительности и от категоризации этих признаков в национальном языковом сознании. В типологии русского простого предложения противопоставлены прежде всего нерасчлененные (однокомпонентные, односоставные) предложения — сообщения о состоянии среды или наличии предмета, явления (*Морозит. Морозно. Мороз. Лес. Тропинка*) — расчлененным, двусоставным предложениям, содержащим сообщения о предикативном признаке в широком смысле и его носителе [2].

Структурно-смысловые разновидности нерасчлененных, однокомпонентных предложений представлены в табл. 1.
Очевидна ограниченность лексико-грамматических возможностей заполнения клеточек этой таблицы, даже в наиболее продуктивном ее разряде — так называемых номинативных предложениях [3].

Главные структурно-семантические модели двухкомпонентных предложений представлены в табл. 2.

Хотя приведенные типы моделей получают грамматическую характеристику по категориальной принадлежности предиката, нельзя не подчеркнуть взаимную обусловленность, по значению и по форме, обоих предикативно сопрягаемых компонентов: они своими семантико-синтаксическими потенциями, по выражению И. П. Распопова, «подготовлены

---

[2] Предложения, содержащие предикативное сопоставление двух предметов (компаративная и некоторые другие модели) и необходимо организованные тремя элементами, составляют класс трехкомпонентных моделей, который остается за пределами данной статьи. См. о них в кн.: Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, М., 1973, стр. 185—192.

[3] См.: Г. А. Золотова, О взаимодействии лексики и грамматики в подклассах имен существительных, сб. «Памяти В. В. Виноградова», М., 1971, стр. 89.

к встрече друг с другом»[4]. Можно полагать, что предложения, расположившиеся в клетках по диагонали, в точках скрещения грамматической вертикали с семантической горизонталью, представляют нам основные модели двухкомпонентных предложений русского синтаксиса. От прочих моделей их отличает единство синтаксического, морфологического и семантического в их структуре. Это означает, что: 1) в двусоставной конструкции сопрягаются два компонента, находящиеся в отношениях определяемого и предикативно приписываемого ему говорящим определения (в широком смысле); 2) каждый из двух взаимообусловленных компонентов выражен прямым морфологическим способом, т. е. соответствующей частью речи в ее основном, категориальном значении; 3) семантико-синтаксическая роль каждого из компонентов соответствует роли денотата в обобщенном моделью фрагменте действительности.

Таблица 1

Однокомпонентные модели предложений

Грамматическая характеристика	Типовое значение	
	состояние среды	наличие предмета, явления
Глагольные	*Морозит*	—
Наречные	*Морозно*	—
Именные	*Мороз*	*Лес. Тропинка*

Центральное место в русском синтаксисе тех моделей, которые манифестированы примерами в клетках по диагонали в табл. 2, подтверждается тем, что все прочие предложения, и приведенные в других клетках схемы и не представленные в схеме, занимают свои системные места по отношению к основным, центральным типам предложений на основе отсутствия одного из трех названных признаков или наличия иных признаков, которые могут быть детерминированы. Так, например, предложения *Отец за работой*, *Отец в тревоге*, *Отец без бороды* представляют модели, не принадлежащие к центральным по признаку несоответствия между морфологическим способом выражения предиката и его семантикой, поскольку значения действия, состояния, качества имеют собственные, прямые морфологические средства выражения (глагол, наречие, точнее — категория состояния, прилагательное), а здесь выражены косвенным, несобственным морфологическим способом. Сам принцип диагонали, как кажется, снимает остроту дилеммы «от формы к значению» или «от значения к форме», предоставляя выбор одного из двух путей методическим задачам того или иного исследования (или обучения)[5].

По отношению к моделям основным, центральным модели с несобственным способом выражения предиката в пределах одного типового значения, по вертикали, составляют вариативный, синонимический ряд, возглавляемый основной моделью как инвариантной, или доминантной. Всякие схемы, в том числе и приведенные выше, представляют суть дела в обобщенном, а следовательно и упрощенном виде: в языковой действительности координаты и типового значения и грамматических характе-

[4] См. интересную, но не бесспорную статью: И. П. Распопов, К соотношению членов предложения с частями речи, в кн.: «Русский синтаксис», Воронеж, 1976.

[5] Когда настаивают на приоритете формы в грамматике, поучительно вспомнить слова Л. В. Щербы: «Не видя смысла, нельзя еще устанавливать формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно, существуют ли они как таковые...» (Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 65).

Весьма своевременным представляется и напоминание В. Н. Ярцевой суждения Г. Суита, который в конце XIX в. писал о том, что при наличии двух возможных путей рассмотрения языка «язык и грамматика имеют дело с формой и содержанием не по отдельности, а со взаимоотношениями между ними, именно это является подлинным феноменом языка» (см: В. Н. Ярцева, Типология языков и проблема универсалий, ВЯ, 1976, 2, стр. 10).

Таблица 2

Двухкомпонентные модели предложений

Грамматическая характеристика	Типовое значение				
	действие субъекта	состояние субъекта	признак (качество) субъекта (предмета)	классификация предмета	количественная характеристика предмета
Глагольные	*Отец работает* *Отец пишет книгу*	*Отец спит* *Отцу нездоровится* *Отца лихорадит*	*Собака (не) кусается* *Елка колется* *Отец отличается справедливостью*	*Кит относится к млекопитающим*	*Китов насчитываются сотни*
Наречные	*Мальчишки наутек*	*Отцу весело* *Отец навеселе*	*Платье впору* *Собака взаперти*	*Сестра замужем*	*Китов мало*
Адъективные		*Отец нездоров*	*Елка колючая* *Отец справедлив*	*Сестра беспартийная* *Образование среднее*	*Киты редки*
Именные	*Отец за работой* *Отец на репетиции*	*Отец в тревоге* *У отца грипп*	*Отец без бороды* *Письмо от отца*	*Отец — учитель* *Кит — (не) рыба*	*Китов сотни*
Квантитативные					*Китов четыре*

ристик устроены сложнее, по иерархическому принципу [6]: каждая рубрика обобщает подтипы или разновидности и каждого из значений и, соответственно, способы их выражения. Так, например, в рубрике «действие субъекта» выделяются такие разновидности действий, как конкретное физическое действие (субъекта), переходящее на предмет, движение субъекта (предмета) в пространстве, познавательно-коммуникативные действия субъекта и некоторые другие. Дифференциальным признаком послужит вместе с глагольной семантикой различный набор обязательных и возможных элементов, распространяющих и конкретизирующих глагольные предикаты — наименований предметов в соответствующих падежных и предложно-падежных формах как объекта и орудия конкретного действия, как ориентиров движения, как делиберата и адресата речи — мысли и т. п. Таким образом, и глагольная сочетаемость, или валентность, изучаемая чаще в лексикологическом или морфолого-синтаксическом плане, обнаруживает свое структурно-семантическое назначение, свою роль в организации определенных типов предложения.

Подразделениями рубрики «состояние субъекта» являются состояния физическое, психологическое, положение предмета в пространстве. В рубрике «признак предмета» разновидности составят физические и духовные качества субъекта, характеристики предмета по материалу, по форме, по величине, по источнику или происхождению, по назначению и т. д.

Очевидно, что условием формирования предложений каждой разновидности является комплексное участие в нем морфологических, синтаксических и семантических средств: подразделению типовых значений соответствует подразделение основных частей речи на семантико-грамматические подклассы, в пределах которых за каждым значением закреплены определенные синтаксические формы слов: чем детализированнее значение, тем у́же круг форм, призванных выражать его. При этом закрепленность и ограниченность форм выражения возрастают от центра системы к периферии: если в основной модели разновидности значений дифференцируются главным образом с помощью лексико-семантических средств (*Он коренаст*, *Он талантлив*, *Шкатулка берестяная*, *Дом трехэтажный*, *Вода родниковая*, *Бутылка молочная*), то в синонимическом ряду усиливается роль грамматических ограничений и служебных элементов оформления (*Он невысок ростом*, *крепкого сложения*, *Он не без таланта*, *Шкатулка из бересты*, *Дом в три этажа*, *Вода из родника*, *Бутылка из-под молока*).

Рубрикация разновидностей значения не растворяется в субъективной бесконечности именно потому, что лексико-семантические разряды в основных моделях, кроме синтагматических характеристик, особенно выразительных для подтипов глагольных моделей, опираются на парадигматические ряды синонимических моделей, ограничивающие дробление реальным набором синтаксических форм, закрепленных за данным значением.

IV. Количественное соответствие элементов смысла, формирующих структуру предложения, составляющим его компонентам является необходимым признаком основной модели, непременным условием выделения предикативного минимума предложения. Семантические компоненты модели принадлежат этой последней, заключаются в ней, в ее грамматических компонентах. Выведение семантических компонентов синтаксической схемы предложения из контекста, признание «конситуативной

---

[6] См. об этом: Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, стр. 136.

обусловленности» абстрактных образцов предложения [7] плохо совместимо с самой идеей грамматической абстракции, растворяет границу между языковой моделью и ее конкретно-речевой реализацией.

Неоправданно, с одной стороны, увеличение числа семантических компонентов по сравнению с реально данными в структуре предложения. Так, в «бытийных ситуационных» предложениях (*Ночь*, *Зима*, *Оттепель*) обнаруживают две категории семантической структуры: наличие, бытие и ситуация, в количественно-именных (*Много забот*, *Масса знакомых*) — три смысловых компонента: предметы (лица), их бытие и их количество. Думается, что в обоих случаях номинативное предложение организовано одним структурно-смысловым компонентом (во втором — с количественным определителем, ср., например, номинативное предложение с качественным определителем *Светлая ночь*), соотнесенным с действительностью. Предикативная отнесенность к действительности и означает бытие, наличие названного предмета или явления, но это значение иного порядка и в ряд структурно-смысловых компонентов оно не встает.

С другой стороны, предложения, организуемые двумя компонентами, обозначающими предмет (лицо) и его предикативный признак (*У нее высшее образование*, *В этом городе — своя прелесть*, *У него бессонница*, *С соседом беда*, *Сыну год* и т. п.), неправомерно сводить к односоставным номинативным схемам на том основании, что один из членов выражен формой именительного падежа [8]. В аналогичной попытке подвести разнообразные модели предложений, односоставных и двусоставных (*Тихо*, *Человеку весело*, *Нужно книгу*, *Слышно песню*, *Жалко сестру*, *Достаточно книг*), под одну наречную структурную схему Praed [9] отразилось то же смешение двух различных типов нерасчлененной и расчлененной предикации: непосредственное отнесение предикативного слова к действительности и сопряжение наименования предикативного признака с именем его носителя. В последнем примере, представляющем двусоставное предложение со значением оценки количества, и нейтральный порядок слов иной: *Книг достаточно*, *Хлеба вдоволь* (*мало*, *не хватает*). Очевидно, что двусоставные, двухкомпонентные модели образуются не путем свободного лексического наполнения компонентных мест при любых словах из категории состояния, но посредством предикативного соединения двух взаимно обусловленных — формально и семантически — словоформ. Абстрактный образец, модель или синтаксическую схему, целесообразно отвлекать не от общей морфологической формы, входящей в состав различных предложений, а от некоторого множества предложений, однородных по составу и типовому значению, с учетом взаимных конструктивно-смысловых функций, носителями которых становятся в предложении организующие его словоформы.

За вопросом об облигаторности/факультативности «компонентных мест» в структурной схеме предложения, или о количестве компонентов предикативного минимума стоит принципиальная проблема разграничения языковой модели и ее конкретно-речевых манифестаций. Для предложений расчлененных, в которых сообщается о действии, состоянии, свойстве субъекта, субъектный компонент является необходимым звеном структуры, даже если в конкретных текстах он часто бывает вербально не вы-

---

[7] См.: Н. Ю. Шведова, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения, в кн.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973.

[8] См.: Н. Ю. Шведова, указ. соч.

[9] См.: Н. Арват, О взаимосвязи лексического и грамматического уровней при обучении русскому языку как иностранному, в кн.: «Научные основы и практика преподавания русского языка и литературы. Третий международный конгресс МАПРЯЛ», Варшава, 1976.

ражен. Эта невыраженность синтаксически и информативно значима, она сигнализирует, в тех или иных условиях контекста, определенно-личный, неопределенно-личный или обобщенно-личный субъект: иначе предложение не отвечало бы своему коммуникативному назначению.

Неудовлетворенность понятием структурной схемы предложения получает косвенное отражение в работах, содержащих попытки усовершенствовать это понятие. С. И. Кокорина, отмечая информативную недостаточность «структурной схемы», предлагает дополнить структурную схему предложения набором минимальных моделей реализации данной схемы, в которых схема расширяется «облигаторным распространителем», как в примерах: *Ему нездоровится*, *Воды прибывает*, *Транспортом неполадки*, *У него ангина* и т. п. [10]. Н. Н. Арват считает, что при реализации структурной схемы возникают минимальные, а затем расширенные структурно-грамматические типы предложений. Например, схема Vf_{3s} (*Несет*) дает минимальные типы предложения *Несет листву*, *Несет табаком*, схема V_{imps} (*Хватает*) реализуется в минимальном типе предложения *Хватает дел* и т. п. [11].

Возникает вопрос, не вступает ли понятие структурной схемы предложения в противоречие с его определением как отвлеченного образца, «по которому может быть построено минимальное самостоятельное и независимое сообщение» («Гр. 70», § 1289). Можно ли видеть в предложениях *Несет*, *Хватает*, *Прибывает*, построенных по отвлеченному образцу, примеры самостоятельных и независимых сообщений? Может ли образец быть освобожден от информативного, смыслового назначения того или иного типа предложения? Можно ли видеть в этих примерах реализацию того же образца, что и в предложениях *Светает*, *Морозит*? Ведь не только *Светает* и *Дел хватает* представляют различные по значению и по структурно-семантическому составу типы, модели предложений, различны (по значению, по морфологическому качеству глаголов, по составу компонентов) и модели предложений *Несет табаком* и *Ветром несет листву* (ср. *Ветер несет листву*). Поэтому необходимо выяснить, оправдан ли для синтаксического описания такой уровень абстрагирования схемы от языкового материала, на котором приблизительно обобщаются некоторые морфологические характеристики одного из членов предикативного минимума и не получают отражения собственно структурно-семантические характеристики его состава. Противоречивость самого термина «облигаторный распространитель» (или необходимый формант «элементарного смыслового целого» [12]) отражает непреодоленную противоречивость его статуса. Если он облигаторен и необходим, то почему он должен выступать в качестве распространителя, а не компонента структурной схемы? Роль этих обязательных формантов как компонентов модели, предикативного минимума предложения определяется их необходимостью и достаточностью для существования самой модели. Модель — вне влияния распространителей и контекста. Если такая зависимость обнаруживается, то либо перед нами речевая вариация модели, либо неверен принцип ее выделения.

Таким образом, тот уровень обобщения, который обычно называется «минимальной моделью реализации структурной схемы» или «минимальным структурно-грамматическим типом предложения» и оказывается во многих случаях предельно абстрагированным образцом предикативного

---

[10] См.: С. И. Кокорина, О реализации структурной схемы предложения, ВЯ, 1975, 3.

[11] Н. Н. Арват, Семантическая структура безличных предложений в современном русском литературном языке. АДД, М., 1976, стр. 8—9 и др.

[12] См: Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 463.

минимума русских предложений определенного состава и с определенным типовым значением. В сравнении с ними «структурная схема» в ряде случаев выглядит механическим конструктом, оторванным от смыслового назначения синтаксических единиц.

Важно, что эти модели манифестируют именно языковые, грамматические образцы предложений (каким способом они могут быть записаны — формулами или примерами — вопрос вторичный). Языковой системе принадлежит и постоянный состав их компонентов и постоянное типовое значение. В речевой реализации этих моделей проявляются переменные или окказиональные характеристики предложений, обусловленные данным контекстом, данной конситуацией их употребления, дополнительными композиционно-речевыми и экспрессивными функциями.

Итак, если перед нами в одном случае предложение, созданное по модели из двух компонентов, необходимых и достаточных для организации минимальной предикативной единицы, следовательно, для выражения типовой информации, независимой от контекста, а в другом случае — предложение, созданное по структурной схеме, информативно недостаточное и восполняющееся необходимыми компонентами из контекста, то первое, очевидно, представляет языковую модель, а второе — неполную речевую реализацию (вариацию) языковой модели.
Ср. примеры:

(1) «Мне — в апреле двадцать,
Вам — тридцатый год» (Э. Багрицкий, Разговор с комсомольцем Дементьевым);

(2) «Двадцатый год! Но мало, мало,
Любви и славы за спиной.
Лишь двадцать капель простучало
О подоконник жестяной» (Э. Багрицкий, Голуби);

(3) «Крым. Двадцатый. Оборона» (А. Чернов, Стихи о непрофессиональных стихах.)

В (1) дважды реализована двухкомпонентная модель предложения, характеризующего субъект по возрастному признаку; в (2) та же модель в неполной реализации, с опущенным, ясным из контекста именем субъекта — носителя признака; в (3) реализация иной, однокомпонентной номинативной модели, компонент неполного состава, с опущенным определяемым словом.

Можно заключить, таким образом, что в синтаксической теории продолжают оставаться дискуссионными и актуальными следующие проблемы: (1) проблема тождества синтаксической единицы, выделенной на уровне языкового образца, модели или схемы предложения; 2) проблема определения ее минимального состава, на релевантном уровне абстракции; 3) проблема отграничения языкового образца предложения от его конкретно-речевых реализаций, а также от регулярных структурно-семантических модификаций.

V. Дальнейшая упорядоченность среди типов и разновидностей предложения может быть достигнута, если в наборах или комплексах характеризующих предложение дифференциальных признаков удастся увидеть их иерархическую организацию. Среди признаков различаются первичные и производные, проявление которых оказывается следствием первичных. Так, например, три основания для выведения структурных схем предложения в «Гр. 70» [1) характер главных членов, 2) тип парадигмы, 3) система регулярных реализаций] не представляют собой три рядоположных фактора: если под характером главных членов понимать струк-

турно-семантические компоненты, то второй и третий факторы — следствие первого.

Другой стороной дела является то, что из совокупности признаков предложения должны быть последовательно выделены те, которыми определяется принадлежность предложения а) к той или иной модели, или структурному типу, б) к одной из форм его парадигмы, или к грамматической модификации, не изменяющей состава компонентов, но варьирующей одно из частных грамматических значений категорий времени, лица, модальности, в) к одной из структурно-семантических модификаций с регулярным наращением смысла исходной модели либо путем фазисно-модального усложнения состава предиката, либо средствами экспрессивации, отрицания, вопроса и т. п.

Если исходить из того, что основные модели предложений отличаются простейшей организацией, т. е. симметрией в синтаксическом, морфологическом и семантическом строении, а также экспрессивной нейтральностью [13], то, очевидно, нецелесообразно помещать в одном ряду с основными моделями те предложения, которые справедливее трактовать как экспрессивные модификации основных моделей (ср. в примерах структурных схем «Гр. 70»: *Народу! Яблок-то! Ай да молодец! Ох уж эти студенты! Молчать! Не шуметь! Куда уж спорить!* и под.). Яркая экспрессивная окраска этих предложений, графически выражаемая восклицательным знаком, отмежевывает их от основных моделей, а разнообразие средств экспрессивного варьирования, конечно же, не исчерпывается в перечисляемых «Гр. 70» схемах.

Как варианты моделей лично-глагольного действия целесообразно рассматривать предложения с устраненным агенсом *Стучат*, *Идут*, *Тебя спрашивают* из того же списка схем. В примерах типа *Можно начинать*, *Хочется поговорить*, *Охота посмотреть*, *Решено наступать* и под. обнаруживается регулярная модальная модификация лично-глагольного действия, с обезличенным выражением агенса.

За пределами основных моделей, их форм и модификаций, располагаются их синонимы и корреляты, характеризующиеся теми или иными смещениями и усложнениями в синтактико-морфолого-семантических отношениях, а именно:

1) пассивные обороты, в которых имя в именительном падеже соединяет со значением объекта действия значение субъекта — носителя признака: *Сад охраняется сторожем*, *Станок налажен механиком*, *Рожь скошена*;

2) предложения, компоненты которых выражены не прямым, а косвенным, опосредствованным способом номинации: *Белеют снеговые вершины*, *Зеленеют поля*, *Небо светлеет*, *Начинается сев*, *Работа продолжается* (глагольно-именная модель предложения сообщает не о действии предмета, а о его признаке, об изменении признака, либо о фазисном развитии действия).

Косвенная номинация часто связана и с количественными изменениями в предложении, с введением вспомогательных слов в состав компонента: *Магазин производит прием стеклопосуды*, *Отделка деталей ведется вручную*, *Прибор характеризуется точностью*;

3) предложения с признаками полисубъектности или полипредикативности (наличие в структуре инфинитива, причастия, деепричастия, девербативов и деадъективов, усложнение моделей способами каузации и авторизации и др.): *Путешествовать — большое удовольствие*, *Похоло-*

---

[13] Ср. определение признаков исходной формы парадигмы в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 25.

дание заставило их вернуться, *Волны уносят лодку*, *Его бойкость удивляет взрослых*, *Весна живит его*, *Он видит в этом инциденте недоразумение*, *Его считают лучшим стрелком* и т. д.

Выявление системной стратификации синтаксических моделей в их связях и взаимоотношениях на основе регулярных признаков углубляет представления о грамматической системе и синонимических ресурсах языка в его службе смыслу.

VI. Человек — создатель и носитель языка. На протяжении многих веков становления и существования язык служит человеку как средство коммуникации. Человек живет в природе и в обществе. Он испытывает различные чувства к другим людям и вступает с ними в те или иные отношения. Он воспринимает явления природы, он воздействует на окружающие его предметы. Явления и предметы не действуют, не мыслят, они осуществляются или существуют, они обладают признаками и качествами, человек видит и познает их признаки, их связи и соотношения. В меру своего понимания мира или в меру своего воображения человек наделяет предметы способностью действовать и другими свойствами одушевленных существ. Наблюдая конкретные предметы и явления, человек поднимается до абстрактного мышления, находя логические связи и обобщая. Вся эта картина мира, вся жизнь человека (точнее, человеческого общества) в мире, пропущенная сквозь коллективное человеческое сознание, отражается в языке и, находя в каждом языке соответствующие формы выражения, становится содержанием коммуникации.

Человек, таким образом, — центральная фигура языка и как лицо говорящее и как главное действующее лицо мира, о котором он говорит.

Антропоцентрическая точка зрения на язык [14] представляется наиболее естественной и адекватной действительному положению вещей. Именно она позволяет осмыслить системные связи языковых явлений не в принудительном разделении формы и содержания, а в едином, синтезированном служении их потребностям общения.

Намеченная здесь, в самых общих чертах, канва многообразнейших и разносторонних отношений объективной действительности находит в языке соответствие в определенных синтаксических моделях, основных и вариативных, со всеми их регулярными модификациями и видоизменениями. Любой текст, соответственно его характеру и содержанию, отражает в своих синтаксических моделях эту общую модель языкового ви́дения человеком мира.

Рассмотрим соотношение содержания текста и выражающих его синтаксических моделей на примере статьи из журнала «Наука и жизнь» (1976, 5) «Доказано: мышцу можно пересаживать», автор — Е. Евгенье-ва. Речь идет об открытии профессора Студитского, которому удалось пересадить мышцу, так что она регенерировала и начала функционировать. В содержании статьи можно выделить несколько тематических пластов, в каждом из которых используются соответствующие модели. Объект внимания — мышца, ее свойства, признаки, функции. Соответственно научно-популярному жанру статьи, читателю сообщаются сведения о строении предмета, его качественные и количественные характеристики, положение частей по отношению к целому — в существующих для этого синтаксических моделях (*Ткани организма состоят из клеток*,

---

[14] См.: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974; «Principes de linguistique théorique de Gustave Guillaume, Recueil de textes inédits préparé de R. Valin», Paris, 1973; Ю. С. Степанов, Методы и принципы современной лингвистики, М., 1975, где приводятся ссылки на соответствующие работы И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, Н. С. Поспелова и др. См. также идеи о языковой личности и ее речевых действиях в трудах В. В. Виноградова.

мышечная ткань имеет иное строение. Основная ее единица — мышечное волокно. Его отличают... размеры, длина..., достигает..., размер... составляет.... Волокно представляет собой многоядерное образование. Ядра располагаются в..., они лежат под ...Мышцы составляют свыше 40 процентов веса тела, большинство из них расположено у самой поверхности тела. Мышечная ткань отличается.... чувствительностью...).

Действия, которые приписываются мышцам, конечно, не целенаправленные действия в собственном смысле, а свойства, функции предмета, проявляющиеся либо постоянно, либо в названных условиях, и служащие вместе с тем каузатором других свойств и функций [*Мышца сокращается, мышечная ткань плохо восстанавливается, (от недостатка кислорода) мышца гибнет, волокна распадаются; от способности мышц сокращаться зависит подвижность органов, утрата способности мышцы сокращаться ведет к утрате подвижности органа*].

Следующий смысловой пласт представляет читателю ход эксперимента, здесь основная модель: лицо (экспериментатор) и его конкретные действия, производимые над объектом. Разная степень временной локализованности действий позволяет варьировать личные формы глагола с неличными и с отглагольными номинациями, разная степень потребности в именовании агенса допускает, наряду с определенно-личными, неопределенно-личные и потенциально-личные конструкции (*Профессор пересаживает мышцы. Сотрудница пересадила мышцу. Студенты делали опыт. Если мышцу предварительно травмировать — нанести уколы, порезы... Удаляли мышцу... измельчали... сажали на место...*). Параллельно изображается реакция мышцы на воздействие — изменения, динамизация ее свойств и состояний (*Измельченная мышца отличается рядом замечательных особенностей. Мышца пребывает в особом «пластическом» состоянии... приобретает способность к вторичному развитию. Ткань оказывается более радиоустойчивой, усиливается обмен веществ. Сократительная активность восстанавливается*).

Цель эксперимента — получение заданного результата целенаправленного воздействия человека на предмет — формулируется средствами каузативной конструкции (*возник замысел: попробовать заставить разрушенную мышцу справиться с задачей повторного строительства*).

Наблюдая свойства предметов и их взаимодействия, человек абстрагирует их и объясняет, находя причинно-следственные связи. Гносеологическую деятельность человека отражает в своих конструкциях следующий пласт содержания статьи, использующий более сложные синтаксические построения: авторизацию, каузацию, придаточные изъяснительные при глаголах мысли и информации (*Сотрудница...показала, что... восстановление... происходит в результате взаимодействия... Выяснилось, что особенно сильное влияние на... оказывают... Оказалось, что... Не исключено, что... Исследования процессов показали, что... Перед учеными стояло множество вопросов. Для того, чтобы фантастический опыт превратить в стройную теорию... В результате многолетней работы всего коллектива.. удалось понять, за счет каких процессов происходит восстановление мышечного органа*). Новое осмысление явления пришло в борьбе со старым (*Считалось твердо установленным, что... Надо было... бороться с укоренившимися представлениями о... Эти результаты опровергли мнение о ... Первые сообщения о ... были встречены с большим скепсисом. Главное сделано — устоявшиеся традиционные представления о неспособности.. отошли в прошлое. Начался новый этап в изучении мышц*). Здесь тот же круг конструкций с синонимической конкуренцией изъяснительных придаточных и отвлеченных наименований речи, мысли, распространяемых делибератом «*о* + Предл. пад.». Отвлеченные имена

действия дают возможность не называть имен субъектов-носителей прежних мнений и представлений, они остаются как бы за кадром, но сам пласт «борьбы мнений», несомненно, усложняет субъектную структуру текста.

С иным субъектным кругом связан смысловой пласт оценки изложенных исследований (*Монография... получила высокую оценку — удостоена Государственной премии. Исследования советских биологов по регенерации относятся к числу лучших достижений нашей науки. На Всемирном конгрессе... отмечено, что результаты работ советских морфологов по регенерации вошли в золотой фонд мировой науки*).

Последний круг человеческого знания — возвращение его результатов практике — получает отражение в каузативной конструкции (*Мечта ученого — помочь людям восстановить утраченные или поврежденные органы. Работа Студитского... способствует не только раскрытию загадок развития организма, но и приносит ощутимую пользу людям*).

Вот текст иного содержания — газетная статья «Были Рундальского дворца» («Известия», 3 V 1977). Рассказывается об архитектурном памятнике, его истории, настоящем и будущем. Смысловые планы, или пласты, текста также находят выражение в соответствующих синтаксических моделях. Прежде всего — квалификация предмета, его качественные и количественные характеристики (*Рундальский дворец — уникальный среди памятников старины в Латвии, произведение Растрелли... Отличается пластичностью и выразительностью форм, состоит из трех корпусов..., в нем — 140 помещений...*). В истории своей дворец предстает как объект военных разрушений (*Здание пострадало во время нашествия наполеоновских армий, глубокие раны нанесли ему кайзеровские солдаты, оставила отметины и вторая мировая война*). В кульминационный момент истории противоположно направленные субъектные устремления получают выражение в каузативных конструкциях, осложненных модальными и отрицательными значениями (*гитлеровские полчища, вынашивавшие план уничтожения дворца, не успели его разрушить... советские войска выбили их из Рундале*).

В настоящем дворец — объект реставрационного процесса (*идет реставрация, мастера воссоздают украшения... им оказывают помощь ленинградские специалисты... начались мелиоративные работы в парке...*).

В результате — в скором будущем — *дворец-музей предстанет перед нами в первозданном виде.*

Построение текстов разных типов — проблема специального исследования, здесь нам важно было показать, что содержание текста не может объективироваться иначе, чем в синтаксических моделях, предназначенных языком для того или иного содержания. Разумеется, способы выражения типовых значений многообразнее, чем это можно продемонстрировать в статье, здесь намечен только начальный этап анализа типового содержания текста.

Устройство человеческого языка вообще и каждого конкретного языка в его опосредствованных связях с действительностью и мышлением достаточно сложно. Современная лингвистика, совершенствуя исследовательский аппарат, изощряя абстрагирующие усилия, все тщательнее обследует отдельные звенья языковой системы, все расчлененнее дифференцирует проблемы. Аксиоматически завороженные некоторыми современными идеями, не увлекаемся ли мы дифференцирующим подходом к изучаемому объекту в ущерб интегрирующему, не переусложняем ли мы свои представления о нем, видя противоборство формы и содержания и недооценивая их гармонию, недооценивая, может быть, функциональную целесообразность организации языка: ведь язык — произведение и орудие разума.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ГРИГОРЬЕВА А. Д.

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Необходимость изучения языка как структурной первоосновы художественного текста все чаще и чаще подчеркивается литературоведами. Говорят об этом и лингвисты. Что касается последних, то современное состояние науки о языке делает бесспорным необходимость анализа фактов языка художественных произведений не только в их коммуникативной функции, но и в функции эстетической.

Пути и цели, которые преследуют лингвисты, обращаясь к художественной литературе, различны. Не останавливаясь на использовании художественного текста в качестве материала для наблюдения над теми или иными фактами языка, обратимся к случаям, когда текст интересует исследователя как произведение искусства. Здесь наблюдаются два подхода к языку художественных текстов: 1) когда его составные элементы разных уровней и разной сложности рассматриваются безотносительно к смыслу замкнутого целого (при изучении функционирования в произведениях какого-либо автора отдельных фактов языка — стилистических единиц, метафор, сравнений или различных грамматических структур) и 2) когда к этим элементам подходят со стороны их функции в создании рационального смысла и эмоционального образа целого текста.

Следует заметить, что современные исследователи идут преимущественно первым путем. Создаются словники, конкорданции, словари отдельных произведений или творческой продукции определенных авторов в целом. Изучаются лингвистические единицы разных уровней во всем специфическом их своеобразии. Изучаются смещенные случаи слово- и фразоупотребления. Но как бы ни был сложен знак, являющийся объектом анализа, — это все-таки знак, выхваченный из целого, следовательно, элемент целого, вне связи с целым функционально обесцененный.

Сказанное нисколько не отрицает правомерности указанного выше пути исследования языковых слагаемых художественных текстов. Все проделанные в этой области наблюдения позволяют вскрыть типичные для художника или ряда художников, школ, направлений формы использования определенного языкового материала, языковых моделей, структур. Разнообразие используемых объектов представляет в руки исследователя материал для обобщений о склонности художника слова к приему, способу организации и отбору языкового материала, т. е. в конечном результате и определенный материал для истории языка художественной литературы (поэзии или прозы) [1].

Но знак в художественном тексте — органический элемент текста. Он богаче, чем тот же знак, взятый вне текста. Для определения подлинной ценности знака в художественном тексте важна не только фиксация наличия в последнем данного знака или суммы знаков, но и определение взаимодействия этого знака или знаков с другими элементами текста

[1] Наблюдения над отдельными приемами организации художественного текста (проза и поэзия) изложены в монографии «Языковые процессы современной русской художественной литературы», кн. 1 (Проза) и 2 (Поэзия), М., 1977.

в создании идейного и эстетического целого. В поэтическом языке, как известно, значима каждая языковая единица всех уровней, причем не только семантически смещенная, на что чаще всего обращают внимание исследователи, но и собственно номинативная. Прямые номинации в языке отдельных поэтов несут на себе эмоциональную нагрузку ничуть не меньшую, чем семантически смещенные случаи употребления. Н. Гей справедливо замечает: «Объективные константы мира, человеческого бытия входят не только в язык писателя, но и в его поэтику. Сейчас исследователи глубже и глубже постигают фантастические, по существу, возможности, скрывающиеся в бесконечной простоте и безыскусственности художественной формы, в гармоническом принципе классического стиля» [2].

И действительно, слово в его прямом значении в поэтическом тексте отсылает к реалии, увиденной глазами автора, который стремится всеми доступными ему средствами передать свое восприятие предметов и явлений мира, свой собственный круг ассоциаций, с ними связанный. И он может делать это, не обращаясь к тропам. Для того чтобы установить в создании эстетического объекта роль подобного рода прямых номинаций, обойтись без целостного анализа текста почти невозможно, а это ведет к определению в нем роли каждого элемента, как прямого, так и переносно употребленного. Прекрасный образец лингвистического анализа замкнутого текста дал С. И. Бернштейн в статье «Художественная структура стихотворения А. Блока „Пляски осенние“» [3]. Не отрицая естественности для каждого поэтического произведения коммуникативной функции, которой подчинена вся языковая организация текста, ученый указывает на то, что подобный анализ (и анализ композиционный) позволяет проникнуть в тайну формирования эстетической его функции. Текст рассматривается им как единство рационального иррационального, подсознательного, влияющего на эмоциональную сферу читателя.

Эта спаянность коммуникативного и эстетического в поэтическом тексте требует от исследователя-лингвиста, пытающегося решить секрет эстетического воздействия, не только учета языковых знаков разных уровней, формирующих текст, в их взаимосвязи, но и оценки способности этих знаков возбуждать эмоциональный отклик читателя. Более глубокому освоению текста помогает знакомство исследователя с факторами экстралингвистическими — с историей создания текста, с культурой эпохи, с биографическими данными писателя и др. Но основным объектом внимания лингвиста должен быть текст, его смысл в целом и в деталях и его структура, выражающая этот смысл, его языковая специфика как произведения искусства.

Вопрос об анализе замкнутого текста ставился еще в 20-е годы нашего века. В. В. Виноградов писал еще в 1927 г.: «Учение о поэтической речи не может выйти из лингвистического учения о слове и словесном ряде, хотя бы последнее вращалось в пределах индивидуально-творческого говорения под углом „эстетического“. Ведь лингвистика, инстинктивно отправляясь от норм социально-речевой деятельности, всегда говорит об элементах языка. В индивидуальном творчестве поэтому она может изучать „символический“ налет лишь на этих элементах. Но она не в состоянии открыть своеобразия более сложных поэтических форм речи, которые нуждаются еще в параллельном или даже в предварительном морфологическом изучении. А это изучение удобнее производить на развернутых словесно-художественных структурах, где морфологические отличия поэтических явлений речи должны выступать внушительно и

[2] Н. Гей, Слово полноценное и слово обесцененное, «Новый мир», 1977, 3.
[3] «Труды по знаковым системам», VI, Тарту, 1973.

резко. И тут путь исследования обратен социально-лингвистическому изучению элементов языка: от сложных структур — к „стилистическим" единицам, а не обратно от слова и словосочетания — к его сложным объединениям»[4].

«Внутренний мир художественного произведения, — пишет Д. С. Лихачев, — имеет свои собственные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система». «Художественный мир произведения... имеет непосредственное отношение к стилю языка произведения. Но самое главное: художественный мир словесного произведения обладает внутренним единством, определяемым общим стилем произведения или автора, стилем литературного направления или „стилем эпохи". Изучая художественный стиль произведения, автора, направления, эпохи, следует обращать внимание прежде всего на то, каков тот мир, в который погружает нас произведение искусства, каково его время, пространство, социальная и материальная среда, каковы в нем законы психологии и движения идей, каковы те общие принципы, на основании которых все эти общие элементы связываются в единое художественное целое»[5].

Как видим, круг требований, предъявляемых к анализу художественного текста, далеко выходит за пределы только языкового анализа, хотя язык и является основным материалом, позволяющим реализовать эти требования. Значит ли это, что лингвисты, анализируя язык, не могут включиться и в решение некоторых экстралингвистических требований? Нет, не значит. Особенно если учесть, что языковой узус в его бытовом и общекультурном проявлении несет на себе знак времени, эпохи, вкусов его носителей. Но это изучение может быть действенным при условии, что лингвисты не будут замыкаться в сугубо атомарном изучении фактов языка художественной литературы, выбранных из текста, вернее, только в атомарном изучении этих фактов, а обратятся к семантическому, смысловому и эстетическому их обоснованию в замкнутом тексте. Для этого лингвист должен идти от «сложных структур», осмысления целого, к «микроструктурам», к слагаемым целого и их обоснованию в составе целого. Он не должен забывать, что текст — особенно поэтический — это уголок сознания художника, его индивидуальная реакция на мир, что слова у него связаны с реалиями, которые облечены у него дополнительными смыслами, своей символикой, своими ассоциациями. Лингвист должен иметь представление и о поэтических тенденциях и процессах эпохи, характере притяжения и отталкивания от этих тенденций и процессов у художника. И, конечно же, о характере той языковой стихии, в которой живет художник.

Задача эта сложная, но осуществимая. И идти к ее решению можно разными путями. Одно лишь ясно: идти к языковому анализу замкнутого текста нужно от смысла целого к смыслу его составных частей и затем к анализу его языковой структуры и ее мотивированности смыслом целого[6].

И. Ю. Подгаецкая в статье «О французском классическом стиле»[7] говорит о том, что Пушкину были свойственны черты, роднящие его с классиками французской литературы, а именно: 1) ясность стиля, самосознание языка в стиле; 2) глубина мысли и видимость простоты ее выражения;

---

[4] В. В. Виноградов, К построению теории поэтического языка, «Поэтика», III, Л., 1927, стр. 8.

[5] Д. С. Лихачев, Внутренний мир художественного произведения, «Вопросы литературы», 1968, 8.

[6] А. К. Жолковский в ст. «Разбор стихотворения Пушкина „Я вас любил..."» (ИАН ОЛЯ, 1977, 3) излагает свой подход к анализу текста, представляющийся мне интересным.

[7] Сб. «Типология стилевого развития нового времени», Л., 1976.

3) четкость плана, продуманное расположение частей относительно целого; 4) правильность выбранного тона и умелая комбинация тонов в целом; мотивированность соединения различных, но не противопоставленных тонов; специфическое возбуждение в слове антонимов и синонимов; 5) сообщение слову «бездны пространства», определяющейся умелой комбинацией слов, ведущей к расширению круга ассоциаций; 6) роль контрастных столкновений и значение неполноты контрастности, определяющей многозначность; 7) «золотая середина» — мягкий трагизм, поэтическая гармония в слаженности разнообразия; 8) стремительность включения в текст.

Анализ пушкинской лирики 30-х годов в целом подтверждает наблюдение И. Ю. Подгаецкой: все перечисленные ею особенности действительно типичны для Пушкина. Но анализ конкретных текстов позволяет наблюсти реальное многообразие средств и форм организации поэтического материала, который, будучи подчиненным каждый раз особому замыслу, создает нечто неповторимое в рамках названных ею общих принципов.

Ниже предлагается конкретный анализ двух стихотворений Пушкина — «На холмах Грузии лежит ночная мгла» и «Был и я среди донцов», входящих в цикл, связанный с путешествием в Закавказье [8], — резко отличающихся образами лирических героев, определившими в конечном счете отбор языковых средств и их организацию в замкнутом целом.

I. «Ко времени пребывания Пушкина у Б. Чиляева, — пишет И. Еникополов, — надо отнести его стихотворение „На холмах Грузии...“. По предположению Е. Вейденбаума, Пушкин, остановившись на ночь в Квешати, на берегу шумной Арагвы, переделал, вероятно, первый набросок „Отрывка“, написанного 15 мая в Георгиевске, и заменил первые две строфы новыми» [9].

В «Путешествии в Арзрум» эпизод, предшествующий созданию стихотворения, отражен в следующем тексте: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи. Из Георгиевска заехал я на Горячие воды»... «Я увидел остроконечный Бешту, окруженный Машуком, Змеиной и Лысой горой — [как царь своими вассалами]», И далее зачеркнуто: «а) Желание приветствовать эти горы, где провел я несколько... б) Желание снова посетить [знакомые] эти горы [стало] сделалось во мне так сильно, что не смотря на мое намерение поехать до Грузии я решился их посетить в) Не смотря на мое намерение доехать до Грузии я решился пожертвовать [им] одним днем и из Георгиевска отправился в телеге к горячим водам» [10].

«Здесь я нашел большую перемену... Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми бывало я карабкался. С грустью оставил я воды, и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сиживал со мною А. Р[аевский], прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисо-

---

[8] Д. Д. Благой говорит о том, что некоторые эпизоды поездки Пушкина в Арзрум легли «в основу его стихотворений, составляющих наряду с дневником в прозе как бы отдельные отрывки его другого стихотворного дневника» [Д. Д. Благой, Творческий путь Пушкина (1826—1830), М., 1967, стр. 347].

[9] И. Еникополов, Пушкин в Грузии, Тбилиси, 1966, стр. 38. См. также: С. Бонди, Новые страницы Пушкина, «Мир», 1931, стр. 9—29.

[10] Здесь и далее текст цитируется по кн.: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 8 том, 2-й полутом, Л., изд. АН СССР, 1940, стр. 1030—1031.

вался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...».

Черновые варианты «Путешествия» глубже и откровеннее раскрывают воспоминания, возбужденные поездкой к Горячим водам: «Мне было жаль наших крутых каменистых тропинок, кустарников и неогороженных пропастей [по которым бродили [весело] мы в прохладные Кавказские вечера —] Конечно, этот край усовершенствовался, но потерял много прелести [Так бедный молодой шалун, сделавшись во временем человеком степенным и порядочным — теряет свою прежнюю любезность — — —] Он конечно [исправился] улучшился, но так ли он весел, так ли[любезен]счастлив — — —]. С неизъяснимой грустью пробыл я часа три на водах; [с полнотой чувства разговаривал с любезными Же... и Жи,... и старался изъяснить им свои печальные впечатления. Они меня поняли и дружески со мной распростились]».

Знакомые места оживили в памяти поэта время, проведенное им в 1820 г. на Кавказе в обществе Раевских. Это нашло свое отражение в первоначальных набросках стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Первично черновая редакция (А) его выглядела так:

1. Все тихо — — на Кавказ сошла ночная мгла
   — « — — » — ночная тень легла
   — » — — » — идет ночная мгла
2. Восходят звезды надо мною
   Мерцают звезды надо мною

Ср. в тексте «Путешествия»: «... чистое небо усеялось миллионами звезд»

3. Мне грустно и легко; печаль моя светла;
4. Печаль моя полна тобою.
5. а) Душа горит и сердца моего
   Ничто не тревожит
   б) Я снова юн и твой — и сердца моего
6. Ничто [чужое] [иное] чужое не тревожит
7 а) и любит от того
8. Что не любить оно не может
   б) В нем образ твой горит
   Оно горит, грустит и любит от того
   Опять оно горит и любит — » —
9. Прошли за днями дни — сокрылось много лет
10. Где вы, бесценные созданья
11. Иные далеко иных уж в мире нет
12. Со мной одни воспоминанья
13. Я твой попрежнему тебя люблю я вновь
14. И без надежд и без желаний
15. Как пламень жертвенный чиста моя любовь
16. И нежность девственных мечтаний.

Вторая черновая редакция (Б) приняла такой облик:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла
Мерцают звезды предо мною
Мне грустно и легко — печаль моя светла
Печаль моя полна тобою

Я твой попрежнему — тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Как видим, предварительные наброски стихотворения более точно отражали душевное состояние поэта, увидевшего знакомые места. В первой строфе наброска он воспроизводит буквальное время отъезда с Горячих вод (ночь, мерцанье звезд), затем свое душевное состояние, вызванное воспоминаниями о юности, о своей чистой любви («Я снова юн и твой») [11] и о своих ушедших друзьях («Где вы, бесценные созданья Иные далеко иных уж в мире нет»).

И. В. Измайлов пишет, что в сборнике 1832 г. стихотворение «На холмах Грузии...» «было помещено на пятом месте между „Делибашем“ и „Из Гафиза“, хоть и отражает впечатления начала его пути в Арзрум». Автор объясняет это желанием избежать различного рода домыслов и «применений». Однако, планируя сборник стихотворений в 1836 г., Пушкин поместил его в соответствии с временной последовательностью его впечатлений при путешествии, т. е. вслед за «Дорожными жалобами» и «Калмычкой».

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой. . . Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Обращаясь ко второй черновой редакции (Б), в целом уже сложившей окончательный силуэт стихотворения, Пушкин в силу ряда соображений прежде всего меняет первые два стиха, перенося события в другую обстановку — в Грузию, что сразу же отсекает ассоциативные домыслы об определенном лирическом объекте стихотворения. Но этот объект существует, и он — непосредственный повод к этому сдержанному, грустному и глубокому проявлению чувства. Простоте и связанной с ней в представлении Пушкина 30-х годов искренности проявления чувства противоречил и романтический образ «жертвенного пламени», которому это чувство уподоблялось [12]. Это было украшение, а поздний Пушкин избегает подобного рода украшений, оскорбляющих внешней формой глубину выражения содержания. Устраняется всякое указание на вспышку чувства (ср. «Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь»). Это *вновь*, включенное в седьмой стих окончательного текста («И сердце вновь горит и любит»), допускает очень широкое осмысление: оно может указывать на возрождение заглохшего чувства, но может акцентировать появившуюся способность это чувство переживать вообще. И автор счастлив, что светлая грусть по любимому существу (неясно, вызванному воспоминанием или реально существующему) оживляет способность «вновь гореть и любить».

Стихотворение написано последовательно чередующимися стихами шести- и четырехстопного ямба. Наличие неравномерно расположенных пиррихиев и пауз в стихах третьем и пятом, а также enjambements в пятом и седьмом стихах сообщают тексту специфический ритм с перебоями, поддерживающий эмоциональную атмосферу стихотворения в ее естественно

[11] См.: И. В. Измайлов, Очерки творчества Пушкина, Л., 1975. На стр. 98 автор отмечает уверенное утверждение П. Е. Щеголева, что стихотворение это связано с воспоминаниями о М. Н. Раевской.

[12] В заметках на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова к стихотворению «Мщение» Пушкин пишет: «Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями».

выливающейся сдержанной взволнованности. Спокойное течение ямба определяет общий тон повествования, а паузы, пиррихии и enjambements — эту взволнованность.

Композиция стихотворения в высшей степени прозрачна. Первые два стиха — экспозиция:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.

Причем первый стих сообщает о месте и времени в широком плане, второй — конкретизирует местопребывание лирического героя. Это внешнее окружение активизирует проявление внутреннего душевного состояния. Схематически план стихотворения может быть представлен следующим образом (по стихам):

1. Место и время в широком плане;
2. Конкретное местоположение героя;
3. Характеристика душевного состояния героя; определение доминирующего состояния;
4. Уточнение причины этого состояния — объект;
5. Подтверждение объекта; состояние и
6. мотивировка его появления;
7. Чувство, стимулированное обстановкой и
8. Причина появления этого чувства.

Стихотворение — сгусток сложных ощущений, внезапно охвативших лирического героя, но их психологическая нерасчлененность уложена поэтом в стройную схему, всеми своими элементами несущую эти ощущения предельно точно и просто. Это находит свое внешнее проявление в обращении к предикатам настоящего времени: последовательность их расположения в тексте не отражает временную смену состояний лирического героя — они одновременны.

Представляется любопытным то обстоятельство, что непосредственно утверждаемым грамматическим субъектом, «героем» стихотворения является само состояние лирического героя, состояние сложное. Слова, его обозначающие, поставлены или в положение субъекта предложения (*Печаль моя светла*, *Печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой*) или объекта, акцентированного выносом в начало предложения после паузы в стихе (*...Унынья моего/Ничто не мучит, не тревожит*). Состояние героя обозначено и в третьем стихе формой безличного предложения (*Мне грустно и легко*). Местоимения, обозначающие субъект повествования («Я») и его лирический объект («ТЫ») и представленные на протяжении всего текста лишь косвенными падежами, занимают грамматически подчиненное положение. Ср. *грустно и легко* (мне), *печаль* (моя) *светла*, *печаль* (моя) *полна* (тобою), *унынья* (моего) *ничто не мучит...* Таким образом наименование состояния сделано грамматически доминирующим: оно — главный объект лирического повествования. Закрепление этого в сознании осуществляется путем нагнетания близких по смыслу слов. Повтор этих слов, связанных в тексте общей семой, акцентирует единство и вариативность проявления состояния, представление о котором складывается концентрацией синонимов в близком тексте (*грустно*, *печаль*, *печаль*, *уныние*). Каждое из этих слов имеет свою семантическую наполненность, но в тексте они образуют единый смысловой стержень, освещены единым отношением лирического героя. Предикативные группы при этих субъектах предложений тоже пронизаны единой положительной эмоциональностью, покоящейся на

оксюмороне, семантическом контрасте. Ср.

1. (Моя) печаль светла
2. (Моя) печаль полна тобою, тобой, одной тобой
3. Унынья (моего) ничто не мучит, не тревожит
4. а также: (Мне) грустно и легко.

Таким образом, Пушкин при разной, буквально не повторяющейся квалификации состояния лирического героя, достигает единства эмоциональной окрашенности этого состояния, как светлого, не обременяющего, способствующего душевному возрождению героя.

И сердце вновь горит и любит, оттого
Что не любить оно не может.

И, действительно, если слова *мне грустно и легко* или *печаль моя светла* непосредственно называют эту окрашенность грусти и печали, то в словах *печаль моя полна тобою* указывается на обоснование этого *светла*, а в предложении *Унынья моего ничто не мучит, не тревожит* говорится о внешних факторах, могущих нарушить это состояние, но его не нарушающих, т. е. не мешающих ему быть «легким» и «светлым» [13].

Центром стихотворения, его высшей эмоциональной точкой является указание на непосредственный объект лирической настроенности героя (*тобой, одной тобой*) — активный источник и причину этого «светла», определяющий своим наличием и «легко» и «светла» и что «ничто не мучит, не тревожит». Знаменательно, что местоимения (*...тобою./Тобой, одной тобой...*) занимают конец четвертого и начало пятого стиха, т. е. центр стихотворения.

Таким образом в стихах с третьего по шестой включительно автор сообщает о грусти и дает ее эмоциональную характеристику, обращаясь к семантическому и, отчасти, к синтаксическому повтору. Комплекс грусти-печали-уныния, так многогранно раскрываемый, заполняет собой всю центральную часть стихотворения.

Как будто повтором общей для поэтического языка эпохи семы связаны и глаголы *гореть* и *любить* («И сердце вновь *горит* и *любит*»). Но в данном случае едва ли можно говорить о повторе. Этому мешает союз, связывающий два глагола — действия, разные по существу, иначе повтор был бы тавтологическим. В *сердце горит* глагол указывает не на любовь, но на возрождение того душевного тепла, душевного возбуждения, которое и является «предтечей» и «спутником» любви. В вариантах белового автографа слову *горит* соответствовало *живо вновь* («И сердце *живо вновь* и любит»). Так, внешне воспринимаемые как смысловые повторы глаголы *гореть* и *любить* таковыми не являются. В соединительной синтагме оба они в целом обозначают сложное душевное состояние — то тепло, которое охватывает любящего и которое неотделимо от носителя этого состояния в данный момент. Предшествующее упоминание о светлой и легкой печали накладывает на эту любовь дополнительные лирические отсветы.

Работа над стихотворением позволяет проследить упорное стремление Пушкина к простоте, живой естественности и компактности текста. Мягкая лиричность стихотворения исключала поэтическую вычурность, украшенность, требовала такта, вкуса, подлинной изысканности. В качестве

[13] Говоря о непредсказуемости соединения слов как элементе, типичном для классиков, И. Ю. Подгаецкая в качестве примера приводит: «Мне грустно и легко. Печаль моя светла, Печаль моя полна Тобою», указывая, что последние стихи оправдывают определение «светла» (см. указ. соч., стр. 241).

определяющего поэтического приема Пушкин использует здесь повтор 1) буквальный, определяющий эмоциональную взволнованность речи (*печаль, печаль*; *тобою, тобой, одной тобой*) и, обращаясь к словам, несущим оттенки смысла, 2) смысловой, «семный» (*печаль, уныние, грусть*), создающий сквозные семантические и эмоциональные линии, пронизывающие текст [14].

Правки предварительных вариантов стихотворения говорят о целенаправленном стремлении к определенному для себя идеалу. Пушкин устраняет возникшее в ранних набросах уподобление чистой любви *жертвенному пламени/огню*, но оставляет традиционно-поэтический глагол *гореть* (ср. *В нем образ твой горит/Оно горит, грустит и любит*), сообщая ему новое семантическое наполнение. Обращается он в вариантах и к слову *жар* в сочетании *жар моих мечтаний*, употреблению более или менее традиционному. Лишь в первом стихе Пушкин оставляет поэтическую перифразу, обозначающую наступление ночи: *лежит ночная мгла* (ср. в прозе: *Скоро настала ночь*) и перифразу, обозначающую Грузию: *На холмах Грузии*. Перифразы эти построены по общепоэтическим моделям (ср. в «Словаре языка Пушкина», II, 549, употребление слова *мгла*: *во мгле ночей, настала вечерняя мгла, умчится ночи мгла* и др.). Широко употребляет Пушкин в аналогичных случаях и глагол *лежать* (см. там же, II, 464, где во втором значении: *лежит тень ночи, лежали мрачны тени, лежит ночная мгла*).

Д. Д. Благой, сопоставляя стихотворения «Я вас любил...» и «На холмах Грузии...» пишет: «Оба стихотворения внешне подобны друг другу. Тот же объем, простота рифм, некоторые из них прямо повторяются (в обоих стихах рифмуется „может“ и „тревожит“), и воообще единый структурный принцип—предельная простота выражения, при насыщенности словесным повтором» [15].

II. Стихотворение «Был и я среди донцов», написанное предположительно 7 августа — начало сентября 1829 г., при жизни Пушкина не печаталось.

1. Был и я среди донцов,
2. Гнал и я османов шайку;
3. В память битвы и шатров
4. Я домой привез нагайку.
5. [На походе, на войне].
6. Сохранил я балалайку —
7. С нею рядом на стене
8. Я повешу и нагайку.
9. Что таиться от друзей —
10. Я люблю свою хозяйку,
11. Часто думал я об ней
12. И берег свою нагайку.

Если в стихотворении «На холмах Грузии...» лирический герой нераздельно слит с автором, то в этом стихотворении Пушкин воссоздает психологический облик героя — простого казака, одного из участников турецкого похода, образ в какой-то мере обобщенный, основанный на личных

[14] Анализу стихотворения «На холмах Грузии...» посвящены стр. 359—363 книги Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина (1826—1830)», где автор пишет: «Первоначальная редакция стихотворения исполнена высокого романтического обаяния. Но затем — в окончательной редакции — стихотворение деромантизируется... Мало того, с устранением мотива воспоминаний из стихотворения полностью уходит и его романтическая стилистика (сравнения, образы, лексика) и т. д.».

[15] Там же, стр. 413.

наблюдениях [16]. Это человек определенной социальной среды, прямой и сильный и в дружбе, и в любви. Раскрывается он через отношение к двум вещам — балалайке и нагайке. Балалайка — это «поэтическое» «я» героя, бережно хранимое несмотря на трудности военного времени, средство для выражения его грустных и радостных эмоций; нагайка — предмет, неотделимый от казака как в походе, так и в домашнему быту — тоже своеобразное средство выражения его эмоций.

«В художественной литературе,— пишет М. Бахтин,— (как и вообще в искусстве) даже на мертвых вещах, соотнесенных с человеком, лежит отблеск субъективности» [17]. Прием отражения личности через вещь, предмет и может быть продемонстрирован на рассматриваемом стихотворении Пушкина.

Композиция стихотворения прозрачна. В первой строфе герой сообщает, где он был и что привез домой на память о походе. Во второй он говорит о балалайке как предмете, скрашивающем ему трудности походной жизни, по своей значимости равном другому его походному «спутнику» — нагайке, что и определяет место, которое предназначает им герой в мирной жизни. В третьей строфе герой раскрывает свое отношение к друзьям и главным образом к жене (хозяйке).

О функции нагайки на войне говорится в первой строфе, о ее возможном применении в быту — в последней. Вещь эта является в стихотворении основным средством раскрытия характера персонажа. Роль ее акцентируется положением слова, обозначающего реалию: во всех трех строфах оно в рифме. Соотношение слова, рифмующегося со словом *нагайка*, подчеркивает назначение этой последней: в первой строфе — *шайку* — *нагайку*, где она представляется как предмет, необходимый казаку на войне («Гнал и я османов шайку»), во второй — *балалайку* — *нагайку*, где рифма подчеркивает равноценность этих предметов в жизни героя (Сохранил я *балалайку* — С нею рядом на стене Я повешу и *нагайку*»), в третьей — *хозяйку* — *нагайку*, где предмет, рифмующийся с *хозяйку*, позволяет показать силу личной привязанности казака, способного на большую любовь («часто думал я об ней»), и на возмездие за измену («И берег свою нагайку»). Во второй строфе зафиксировано покойное положение нагайки на стене рядом с балалайкой, что тоже позволяет читателю делать соответствующие заключения о событиях в домашней жизни казака.

Образ героя раскрывается и языком текста. То, что стихотворение дано как лирический монолог лица определенного психического и социального склада, заставляет поэта особенно внимательно относиться к отбору выразительных и изобразительных средств. Следует сказать, что Пушкин не завершил своей работы над текстом. Впрочем имеющиеся варианты позволяют судить о задаче, которую поставил перед собой автор,— о стремлении найти форму, наиболее полно средствами языка отображающую личность героя. Это сказывается прежде всего на отборе лексического материала и его синтаксической организации. В первой строфе стихи

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку

явились следствием поиска наиболее разговорной формы выражения прямой речи героя, вспоминающего свое участие в военной кампании в каче-

[16] Текст записи разговора с казаками, являющийся первоосновой стихотворения, приведен С. М. Бонди в статье «Программа поэмы и „Встреча с казаками". Новые страницы Пушкина», М., 1931, стр. 110—112. См. также: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 8 том, 2-й полутом, Л., изд. АН СССР, 1940, стр. 1043—1044.

[17] М. Бахтин, Проблема текста, «Вопросы литературы», 1976, 10, стр. 134.

стве рядового («Был и я среди донцов»). Со словом *осман* при наименовании турка встречаемся у Пушкина только в данном тексте (слово в настоящее время считается устаревшим). В пушкинское время оно употреблялось довольно широко. Впрочем разговорную экспрессию несет не это слово, а соседнее — *шайку*, слово, раз найденное для данного текста и ничем в вариантах не заменяемое. Выбор его хорошо передавал отношение казака к противнику, с одной стороны, с другой — оно хорошо рифмовалось со словом *нагайку*, что тоже отражало определенное отношение к противнику, не лишенное элемента удали и хвастовства.

Разговорные интонации несет параллельное построение начальных двух стихов: *Был и я среди донцов*, *Гнал и я османов шайку*, сразу вводящее лирический монолог в окружающую, стоящую за текстом, но легко восстанавливаемую обстановку рассказа.

Выдержанность стиля этих стихов делается особенно ощутимой при сопоставлении с их предварительными вариантами, отличающимися более книжным лексическим наполнением:

Был я там где русский штык
Гнал османов буйных шайку

Был и я среди штыков
Гнал и я османов шайку.

Стихи эти не удовлетворили поэта. Прежде всего нарушалась естественность живого повествования наличием придаточного предложения места (*там, где...*), замененного впоследствии простым (*Был и я... Гнал и я...*). Не отвечал облику персонажа книжный метонимический оборот *русский штык*, а также определение *буйных* (шайку). Автор последовательно устраняет любые эпитеты из текста. Эмоциональная атмосфера стихотворения строится им только на отношениях между реалиями, названными именами существительными.

Третий стих *В память битвы и шатров* сохраняет метонимическое обозначение лагерной жизни (*шатров*), не устраненное Пушкиным, и оно звучит здесь как элемент, чуждый речи казака, элемент, органически не связанный с персонажем и нарушающий принятую стилистическую тональность. Сказанное не означает, что разговорной речи не свойственны метонимические подмены подобного рода. Несвойственность в данном случае идет от конкретного выражения этой метонимии. Представляется неудачным здесь и сочетание *В память... шатров*. Более естественным было бы равно распространенное в пушкинское время *на память о чем*, конструкция более продуктивная у Пушкина. В черновом варианте Пушкин обращается именно к этой последней: *И на память.... Я домой привез нагайку*. Начатый с *На память...* стих остался незаконченным. Поэт не нашел соответствующего лексического наполнения для существительного в родительном или предложном падеже при этом *на память*; появлялся лишний слог; кроме того, нужно было найти рифму к *штыков*, а затем сменившему его слову *донцов*, что и было реализовано в виде *шатров*. Слово *битвы* оказалось нейтральнее, чем предшествующее ему слово *сечи*. Более ранний вариант (*В память драки и шатров*) показался, очевидно, Пушкину не совсем точным по смыслу, хотя эмоционально он был здесь вполне оправдан.

Таким образом, третий стих строфы принял имеющийся предварительный вариант, не совсем отвечающий общему стилистическому тону текста.

Черновые варианты второй строфы отражают ту же упорную работу над лексическим материалом с целью смысловой и социальной точности

выражения. В наброске было:

На дорогах на войне
Сохранил я балалайку
Я повешу на стене
И заветную нагайку

Затем текст принял следующую форму:

В чистом ‹?› поле ‹?› на войне
Сохранил я балалайку
С нею нынче ‹?› на стене
Я повесил ‹и› нагайку

и последний вариант:

[На походе, на войне]
Сохранил я балалайку —
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку.

В первом варианте первый стих *На дорогах на войне*, смененный *В чистом поле на войне* так и не получил в *На походе, на войне* своего окончательного завершения (зачеркнут Пушкиным). Все варианты не удовлетворяли Пушкина по разным причинам. Но в стихах четвертом и пятом он добился желаемой точности — указания, что балалайка и нагайка — обе висят на стене как своеобразные символы. Впрочем их положение зафиксировано во всех трех вариантах: 1) *Я повешу и нагайку* (если *и* — то рядом с чем-то уже висящим, занимающим то же положение), 2) *С нею нынче на стене Я повесил и нагайку* (где введен разговорный вариант *нынче*) и 3) *С нею рядом на стене Я повешу*... В последнем варианте отношение предметов определено более точно. Притом сочетание *нынче повешу* вело к мысли о том, что до этого *нынче* свершилось нечто, что именно и заставило повесить нагайку рядом с балалайкой. *Нынче* предполагало какое-то скрытое событие. Эти два спутника казака водружались как равные по своему значению для хозяина одновременно. В первом варианте сюда не подходило и слово *заветную* (нагайку), отдающее другим речевым стилем (здесь в значении «свято хранимый, особо ценимый, дорогой» — см. «Словарь языка Пушкина», II, 26).

Подобную же работу по уточнению смысла вел поэт и над третьей строфой. Ср.

А. Я люблю своих [друзей] ‹?›
Я люблю свою хозяйку
Но как думал я о ней
‹нрзб› ‹нрзб› нагайку.

Б. Что таиться от друзей,
Хоть люблю свою хозяйку,
Часто думал я об ней
И берег свою нагайку.

Во всех трех случаях представлены разные ситуации. В первом варианте параллельное расположение слов в стихах первом и втором заставляет усматривать некоторое сомнение в добросовестности «друзей», что и вызывало действие — думая о «ней», хвататься за нагайку. Во втором случае в первом стихе найдена форма непосредственного разговорного обращения к друзьям (*Что таиться от друзей*, где *что* в значении *для чего, зачем*), много говорящая об отношении героя и его друзей-казаков: это отношения подлинно дружеские, скрепленные общим бытовым укладом и военными

тревогами. Донец — человек суровый, не стыдится признаться им в своей любви и в том, что «часто думал об ней» и что эти думы рождали смуту в его душе, может быть, ревнивые мысли, что и нашло свое отражение в словах *И берег свою нагайку*. Просторечьем отмечено здесь и слово *хозяйка*, в определенных социальных кругах обозначающее жену [18].

Последняя строфа с точки зрения стилевой цельности представляется наиболее законченной.

Зачеркнутые стихи говорят о том, что Пушкин не был удовлетворен написанным. Но ход его правок позволяет судить о требованиях, которые он предъявлял к данному тексту, подчиненному образу лирического героя.

«...роль языка в литературном произведении состоит не в пассивной фиксации тех или иных черт жизни, психологии человека, а в том, что он активно создает художественные обобщения. Раскрытие существенных свойств людей, окружающего их мира требует целеустремленного, действенного, экономного отбора языковых средств. Только точно найденное слово, выразительно сконструированная фраза, только отличающаяся своими приметами поэтическая речь способна запечатлеть характерное в социальной действительности, духовной жизни людей. Обладающее качествами известной всеобщности слово-понятие приобретает в художественном произведении яркую индивидуальную окраску, воплощая то сочетание особенного и неповторимого, которое содержит в себе значительный художественный образ»,— пишет М. Б. Храпченко [19].

---

[18] Ср. употребление этого слова в записи «Разговора с казаками»: «— И дело, подхватил товарищ, побьешь да и будешь потом горевать как старик Черкасов; смолоду был он дюж да горяч, случился с ним тот же грех, как с тобой, поколотил он *хозяйку*, так что она после того тридцать лет жила калекой...».

[19] М. Б. Храпченко, Размышления о системном анализе литературы, «Контекст. 1975», М., 1977, стр. 42.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

СЕРКОВА Н. И.

ПРЕДПОСЫЛКИ ЧЛЕНЕНИЯ ТЕКСТА НА СВЕРХФРАЗОВОМ УРОВНЕ

Понятие абзаца как основной единицы членения текста является традиционным и общепринятым. Однако соответствующее ему понятие «сверхфразовое единство» сравнительно недавно утвердилось в советском языкознании.

Уже примерно к середине 60-х годов в синтаксисе накопилось большое количество фактов относительно межфразовых связей, анафорического использования частей речи, субституции компонентов текста, употреблении дейктических элементов, соотношения видо-временных форм и т. д., в связи с чем назрел вопрос о систематическом обобщении этих фактов, что не могло быть сделано в рамках учения о предложении.

С тех пор развитие этой проблематики идет по двум основным направлениям: 1) выделение сверхфразового единства (СФЕ) из потока речи, 2) определение его сущности и конституирующих особенностей. Остановимся на первом вопросе. Его решение с самого начала затруднялось тем, что реальное расчленение речевого потока (текста) — достаточно сложный процесс, включающий целую совокупность членений на основе смыслового, синтаксического, логического, ритмомелодического, эмоционального принципов. Причем установление четких и однозначных соответствий даже для двух основных планов членения речи — синтактико-смыслового и ритмико-интонационного — представляет значительные трудности, а для некоторых типов речи оказывается невозможным.

Этим объясняются те неудачи, которые постигают исследователя, как только он избирает в качестве основы сегментации речевого потока критерии формально-грамматического, лексико-семантического или концептуального порядка [1]. Значительно более плодотворным оказывается семиотический подход к членению речевого потока, разрабатываемый вслед за А. М. Пешковским и Л. В. Щербой в целом ряде работ советских исследователей.

Известно, что начало учению о сверхфразовом единстве положено еще А. М. Пешковским [2].

Для Л. В. Щербы, постоянно указывавшего на «важное значение умения писать», да так, чтобы это не было «как бы ощупью» [3], абзац (красная строка) был знаком препинания, знаком членения речи, который «углубляет предшествующую точку и открывает совершенно новый ход мыслей» [4].

---

[1] См. об этом: Т. К. Перекальская, Абзац как средство членения научного текста. КД, М., 1976.

[2] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 459.

[3] Л. В. Щерба, Новейшие течения в методике преподавания родного языка, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 54.

[4] Л. В. Щерба, Пунктуация, «Литературная энциклопедия», 9, М., 1935 стр. 369.

Из этого следует, что уже А. М. Пешковский и Л. В. Щерба оценивали семиологические свойства сверхфразового единства и ставили вопрос о его выделимости — реальных оформлениях в устной и письменной формах речи.

В настоящее время можно считать доказанным, что, как и разные формальные средства членения предложения, знак конца одного и начала другого сверфразового единства (абзаца) является одним из компонентов общей системы семиологически релевантных средств членения письменной речи [5]. В устной речи эту функцию выполняет сочетание просодических признаков: расширенный диапазон, усиленная громкость и несколько замедленный темп произнесения первого контура; значительное сужение диапазона, очень медленный темп и самый низкий уровень падения тона в последнем контуре; длительная пауза, разделяющая два сверхфразовых единства и превосходящая по длительности все паузы внутри этих единств [6].

Здесь уместно вспомнить слова Л. В. Щербы о том, что «всякий текст требует для своего понимания еще перевода на произносимый язык» [7]. Л. В. Щерба не представлял себе языкознания без наблюдений над «живым, произносимым языком», «слышимым языком». Более того, он считал звучащую речь главным объектом лингвистической науки [8].

Конечно, при изучении сверхфразового единства как знака встает целый ряд более частных вопросов, например, о наиболее типичных зачинах и концовках СФЕ (абзацев), о наиболее типичных их взаимосвязях, об основных типах, о средней физической протяженности этой единицы в разных функциональных стилях, об адекватности транспозиций СФЕ (абзацев) при переводе с одного языка на другой [9]. Все эти вопросы подлежат дальнейшему изучению.

Становится ясно также, что реальное функционирование указанных выше просодических признаков и абзацного отступа как семиотических средств определяется в фактических текстах вполне определенными прагматическими условиями. На это также указывал еще Л. В. Щерба. При этом он считал, что «необходимы большая опытность, литературная начитанность и тонкое знание языка, для того чтобы правильно произносить текст или, что то же, правильно угадывать замысел автора» [10].

Отмечалось также, что прагматическая сторона сообщения, т. е. его предполагаемое содержание-намерение, является одним из мотивов в выборе автором жанра, стиля, регистра. Из этого следовало, что вопрос о членении потока речи-мысли на СФЕ (абзацы), а также соразмерности СФЕ и абзаца не может решаться применительно к речевому произведению

---

[5] Т. К. Перекальская, указ. соч.

[6] Т. И. Шевченко, Последовательность контуров в просодии английской речи. КД, М., 1973; «An outline of English phonetics», ed. by O. S. Akhmanova, L. Minajeva, M., 1973, стр. 61—64.

[7] Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений, «Избр. работы по русскому языку», стр. 31.

[8] Л. В. Щерба, О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета, там же, стр. 15.

[9] Т. К. Перекальская, указ. соч.; Н. И. Серкова, О функциональном аспекте речевой деятельности при переводе с русского языка на английский, сб. «Вопросы романской и германской филологии», Хабаровск, 1972; ее же, Структура сверхфразового единства с точки зрения общей и частной перспективы высказывания, сб. «Вопросы германской филологии», Хабаровск, 1973.

[10] Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений, стр. 31.

вообще, а должен рассматриваться в отношении каких-то совокупностей регистров [11].

Прежде всего, по-видимому, следует различать тексты «художественные» и «нехудожественные». За этим стоит, по словам М. Бахтина [12], с одной стороны, «свободное и не предопределенное эмпирической необходимостью откровение личности», а, с другой стороны, внутренняя необходимость, внутренняя логика, система языка. Проблема сегментации текста будет выглядеть, вероятно, тогда так: в случае нехудожественного связного потока речь пойдет о расщеплении вербально объективированной действительности, в то время как сегментация художественного текста связана с расщеплением авторского символа о действительности. Поэтому для нейтральной, или «безличностной» канонизированной письменной речи, ориентированной на передачу собственно интеллективного содержания (например, в научной статье), вполне регулярной единицей членения речи является СФЕ = абзац. Такая регулярность, однако, не прослеживается в других стилях речи.

Художественные тексты в свою очередь тоже явно не однородны. В зависимости от литературного кредо автор избирает ту или иную форму изложения, объективирующую то или иное членение речи - мысли. Литературе критического реализма уже сама природа этого жанра подсказывает расчлененное «донесение» до читателя авторского сообщения, в то время как модернистской литературе типа «потока сознания» свойственны «размытые» формы, как бы «без начала и конца», так как предназначены они для передачи субъективного впечатления, не подлежащего расчленению.

Изучая тексты с этой точки зрения, следует, по-видимому, различать между теми явлениями или характеристиками, которые могут квалифицироваться как законы (правила) или только как тенденции.

Вырисовывается, таким образом, следующая общая картина. Расчленение речи - мысли (текста) исходит из прагматических условий, в которых совершается данный коммуникативный акт, и осуществляется на семиотической основе. Отметим, что конец одного и начало другого СФЕ (абзаца) для письменной речи, как и указанные выше просодические признаки для звучащей речи, носят знаковый характер и являются фактическими средствами актуализации такого расчленения. Что же касается факторов «внутреннего сцепления» СФЕ (формально-грамматические, лексико-семантические и концептуальные), то их следует рассматривать лишь как сопутствующие признаки.

Тем самым со всей очевидностью проявляется диалектическое единство формы и содержания, при приоритете плана содержания, который обычно составляет наиболее подвижный элемент объекта.

В свете сказанного становится понятным, почему так разнообразны и многочисленны те металингвистические обозначения, которые существуют в настоящее время для единиц, бóльших предложения, почему кажутся «зыбкими» границы последних и почему во многих случаях речь идет как будто даже о разных объектах [13]. Вместе с тем становится ясным, что на-

---

[11] «Syntax: Theory and Method», ed. by O. Ahkmanova, G. Mikael'an, M., 1972, стр. 78—90.

[12] М. Бахтин, Проблема текста. Опыт философского анализа, «Вопросы литературы», 1976, 10.

[13] Ср., например, сложное синтаксическое целое (Н. С. Поспелов), сверхфразовое единство (О. С. Ахманова), прозаическая строфа (Г. Я. Солганик), большой контекст (Т. И. Сильман), сообщение (В. Н. Волошинов), коммуникант (К. Гаузенблас), высказывание (З. Харрис), абзац (А. М. Пешковский), присоединительная конструкция (Г. Суит), диалогическое единство (Г. О. Винокур), вопросно-ответное единство (В. В. Суренский), период (Дж. Рис), текст (Л. Ельмслев), сочетание (цепь) предложений

стало время как для упорядочения метаязыка в этой области исследования, так и приведения к некоторому общему знаменателю основных относящихся сюда понятий.

Можно предложить следующее. Отделяем, во-первых, термины от не-терминов. В этом случае во вторую группу попадут следующие фразы описательного характера: сочетание (цепь) предложений, группа предложений, сообщество предложений, языковое образование, стоящее между речевым целым и предложением, грамматическая единица выше предложения, ряд (комплекс) высказываний. Мы будем исходить из следующего употребления терминов [14]. Контекст: а) Лингвистическое окружение данной языковой единицы; условия, особенности употребления данного элемента в речи; б) законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы. Контекст бывает большой (макроконтекст) и малый (микроконтекст) и т. д. Текст: а) Произведение речи; б) Произведение речи, зафиксированное на письме; в) То же, что корпус, т. е. любой отрезок текста. Абзац — отрезок письменной речи от одной красной строки до другой. Сверхфразовое единство (или сложное синтаксическое целое) — отрезок текста (устного или письменного), эквивалентный высказыванию (дискурсу, или сообщению) при членении речи - мысли. Сверхфразовые единства могут подразделяться на прозаические («прозаические строфы») и стихотворные («стихотворные синтаксические единства»). Прозаические сверхфразовые единства могут быть разных видов, в том числе присоединительные конструкции, диалогические единства и т. д. Высказывание (дискурс, сообщение) есть целостный мыслительный акт, единица членения речи - мысли, следующая по рангу за суждением (вопросом и т. д.) и, как правило, включающая более одного суждения (вопроса и т. д.). Итак, единицами одного порядка являются только сверхфразовое единство и текст, хотя они имеют разный иерархический уровень — текст «надстраивается» над сверхфразовым единством.

Переходим ко второму вопросу — о сущностной природе этих единиц.

За последнее десятилетие значительно возросло число исследований по «лингвистике текста», прошла не одна конференция, имеются и обзорные работы [15]. Не задаваясь целью систематизации этих материалов, укажем лишь на два направления — семиотическое и психолингвистическое, — которые, с нашей точки зрения, могут служить той «материальной базой», необходимость в которой ощущается все острее в исследовании членения и природы текста и сверхфразовых единств.

Семиотический подход ориентирован на социо-коммуникативный аспект текста [16]. Именно этот подход дает возможность языкознанию отойти

(З. Харрис), группа предложений (Дж. Рис.), сообщество предложений (К. Боост), языковое образование, стоящее между речевым целым и предложением (К. Винклер), грамматическая единица выше предложения (М. А. К. Халлидей), ряд (комплекс) высказываний, дискурс (Ч. Хоккет).

[14] Большинство определений взято из «Словаря лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (М., 1969).

[15] См., например: Ю. Лотман, Структура художественного текста, М., 1970; Б. А. Маслов, Проблема лингвистического анализа связного текста (надфразовый уровень), Таллин, 1975; «Лингвистика текста. Материалы научной конференции [МГПИИЯ им. М. Тореза]», М., 1974; W. Dressler, Modelle und Methoden der Textsyntax, «Folia linguistica», IV, 1, 1970; W. O. Hendricks, Essays on semiolinguistics and verbal art, The Hague, 1973.

[16] D. Bruer, Vorüberlegungen zu einer pragmatischen Texttheorie, «Wirkendes Wort», 22, 1972; S. J. Schmidt, Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation, München, 1973; G. Wienold, Semiotik der Literatur Frankfurt, 1972.

от структуралистического, или генеративно-трансформационного концепта имманентной структуры текста и поставить во главу угла проблемы функционирования языковой информации в обществе.

С семиотической точки зрения текст — некоторый макро- или суперзнак, вмещающий в себя все остальные сущности (фонему, морфему, синтагму и т. д.) как части знака (или, вероятно, микро- или субзнаки). Вследствие этого при характеристике текста в семиотическом плане следует исходить из основных черт знака: 1) знак условен; 2) знак двусторонен: имеет материальный аспект (сигнификант) и значение (сигнификат); 3) знак репрезентирует (представляет) денотат, или референт; 4) элементы «семиотического треугольника»— сигнификант и референт — связаны между собой через третий элемент — сигнификат; 5) знаки организованы в классы; 6) общая сумма всех знаков данного класса составляет код. Код является резервуаром всех возможных комбинаций знаков и действует по селективному, а именно ограничительному принципу: предлагает определенные знаки и их комбинации и исключает другие; 7) если код представляет знаковый потенциал, то сообщение есть действительность знакоупотребления. Оно репрезентирует отбор знаков-означающих из одного или более кодов (например, вербального, визуального). Сумма означаемых сообщения составляет информацию. Помехи («шумы») в транслирующем канале, например, акустическом, могут исказить смысл сообщения и вместе с тем информацию; 8) обмен знаками (коммуникация) имеет место между отправителем сообщения (кодирование) и получателем сообщения (декодирование). Кодирование — приписывание определенных значений означаемых (сигнификатов) определенным сигналам (сигнификантам), а декодирование, напротив,— изъятие значений из несущих их сигналов; 9) акт коммуникации социально и психологически мотивирован.

Эти положения хорошо известны в советском языкознании. Рассматривая текст с точки зрения указанных свойств знака, получаем следующую картину [17].

1. «Текст» есть речевой знак, имеющий в своей основе социальную условность. Последняя проявляется в изменениях сигнификатов, сигнификантов и референтов в процессе исторического развития общества.

2. Материальной формой текста является речь в ее особо оформленной (акустической, графической) данности. Значение (т. е. сигнификат) текста есть смысл, который связан с речевым (звуковым или письменным) сигналом (сигнификантом). Сигнификант может соответствовать более чем одному сигнификату (полисемия), а сигнификат — более чем одному сигнификанту (синонимия).

3. В качестве референта текстового знака выступает «положение вещей, обстоятельства дела» в различном реальном преломлении (Sachverhalte mit verschiedenem Realitätshabitus): объекты непосредственного чувственного наблюдения, абстрактные, ненаблюдаемые непосредственно явления, исторические события, кажущиеся нереальными явления («полет фантазии») и т. д. То, как будет интерпретироваться связь между референтом и текстознаком, определяет содержание текста с точки зрения истинности /ложности и соответствия действительности.

4. Как знак текст конституируется по принципу семиотического треугольника, т. е. его сигнификант — звуковой или письменный образ, его сигнификат — закрепленное за звуковым или письменным образом значение, его референт — действительность, к которой отсылает знак.

---

[17] H. Plett, Textwissenschaft und Textanalyse. Semiotik, Linguistik, Rhetorik, Heidelberg, 1975.

5. Речевой знак «текст» есть некий суперзнак, содержащий в себе определенное число других знаков (субзнаков). Тип текста зависит от распределения (дистрибуции) в нем этих знаков (субзнаков).

6. Структурной основой текста является знаковый инвентарь — код, подразделяющийся на субкоды. Если, например, в качестве кодовой нормы выступает немецкая (английская) разговорная речь (Alltagssprache), то в качестве субкодов — диалект, язык определенного исторического периода и т. д. Код содержит не только речевой знаковый инвентарь, но и правила соединения (комбинирования) знаков. Вся совокупность речевых комбинаторных возможностей в тексте конденсируется в грамматике текста.

7. Если код содержит в себе потенциальные возможности текста, то конкретное сообщение представляет их реализацию. Следовательно, нет текста «ради текста», существуют только коммуникативно актуализированные тексты.

8. Отправитель текстовой коммуникации является автором текста, его задачей является кодирование информации в речевые знаки. Реципиент текста — это слушатель/читатель, декодирующий посланное сообщение. Если отсутствует получатель сообщения, то имеет место «монологическая» текстокоммуникация. Если отправляющий текст не является его автором, а только посредником (чтец - декламатор как личность или книга как средство передачи), тогда должна идти речь о вторичном отправителе и вторичном акте кодирования. С другой стороны, может встретиться случай, когда автор текста является и его получателем. Как в отношении вторичного отправителя коммуникации, так и в отношении первичного получателя можно констатировать, что между первичным кодированием (соответственно, декодированием) и вторичным кодированием (соответственно, декодированием) существует «коммуникативное различие» на выходе (соответственно, приеме) текстознака. Это объясняется биологическими, психологическими и социологическими предпосылками, которые определяют каждую коммуникативную ситуацию и ее участников. К этим предпосылкам относится также и код, который различает не только автора и реципиента разного времени и места (например, английского драматурга В. Шекспира и советского читателя XX в.), но и автора и реципиента сходного по месту и времени положения. Тем не менее код отправителя и код получателя должны иметь много общего, иначе коммуникация не была бы возможной. Каждая текстокоммуникация, таким образом, отличается тем, что и отправитель, и получатель вносят в акт коммуникации как общие, так и различные (отличающие их) предпосылки.

9. Текстокоммуникация не должна рассматриваться как изолированное явление, а, напротив, в рамках общей человеческой теории поведения. Текстосообщение (1) может повлечь за собой не только некое, отличное от него, текстосообщение (2), но и вызвать определенную реакцию действием, поступком. Следовательно, речевой знак «текст» является лишь частью общей системы поведенческих знаков, которые обслуживают человеческое общение.

Семиотический подход, как представляется, может служить основой для комплексного изучения сверхфразовых единств и текста, при котором ученый исходит из целого набора их сущностных характеристик — синтаксических, семантических и прагматических, и занимается в процессе всего исследования их связями и взимообусловленностями. Такое исследование открывает путь к познанию основных таксономий текста, т. е. помогает ответить на вопрос «что делает текст текстом?», а также построить иерархию этих таксономий, определив, какие из них являются ведущими, конституирующими, а какие — лишь сопутствующими, вспомогательными. Кроме того, на этой основе возможно разграни-

чение степеней «художественности», «эстетичности» или «литературности» разных типов текстов.

Заметим, что вопрос о соотношении «семантического» и «прагматического» вызывает теперь значительный интерес. Однако попытки изучать эти вопросы в духе логического позитивизма, путем расчленения предложения как высказывания на «пресуппозицию» и «значение» [18], являются неправомерными. И дело здесь не только в том, что нет ясности в определении сущности пресуппозиции, как нет и адекватных методов ее установления, сколько в том, что обращение к пресуппозиции есть движение вспять, к философскому неопозитивизму. Ведь даже при достаточно емком методическом аппарате процедуры логического характера над отдельным «примитивным» предложением не могут существенно продвинуть лингвистику как науку филологическую. Только подлинный естественный текст во всех его реальных модификациях, только реальная звучащая речь могут быть и являются истинным предметом языкознания.

Теми же, по существу, недостатками страдает и прикладная лингвистика, занимающаяся текстом в целях автоматического реферирования, индексирования, аннотирования методами точных наук (математики, статистики) [19]. Правда, многие из этих исследователей теперь уже больше не питают иллюзий в отношении своего объекта — «препарированного» текста — и в отношении ограниченного характера своих задач (создание искусственных языков для выявления и обработки текстовой информации), а также своих выводов и результатов, не имеющих пока выхода в практическую деятельность в области поиска научной информации.

К семиотическому направлению в изучении текста тесно примыкают психолингвистические и социопсихологические направления, проливающие некоторый свет на те же вопросы, которые входят и в семиотику текста: проблемы отправителя коммуникации, реципиента и самого кода и т. д. В частности, это закономерности, лежащие в основе механизма общения как коммуникативно-познавательной деятельности; специфика отправителя сообщения, проявляющаяся в цели, в замысле и в способах развертывания программ речевого поведения; специфика реципиента, определяющаяся его принадлежностью к социально-демографической группе, его языковым сознанием, в том числе его тезаурусом, и т. д. Основные положения психолингвистического подхода сводятся к следующему. Категории анализа речи суть речевые операции, а не речевые продукты; в ходе речевой деятельности выполняется неречевая задача; текст должен рассматриваться, во-первых, как процесс решения неречевой задачи и лишь, во-вторых, как продукт или результат такого решения. Как часть общей системы деятельности человека, речевая деятельность не есть простое выражение мыслительного содержания и тем более не просто актуализации языковой системы. Речевая деятельность должна изучаться в контексте всех объективных и субъективных факторов, определяющих поведение коммуникантов [20].

Уточним еще некоторые моменты. Начиная говорить (или писать), человек имеет определенную «внутреннюю смысловую программу» — носителя некоторого одновременного смысла всего речевого целого. Код этой программы — субъективно-смысловой код «образов и схем» (Н. И. Жинкин). Текст — это фиксация одновременного психологического смысла во внеш-

---

[18] См., например: «Проблемы синтаксической семантики. Материалы научной конференции [МГПИИЯ им. Тореза]», М., 1976.

[19] Ср.: В. Е. Берзон, Исследование связности текста при разработке автоматических методов его свертывания. АКД, Л., 1972.

[20] А. А. Леонтьев, Предисловие, в кн.: Д. Слобин, Дж. Грин, Психолингвистика, М., 1976.

ней речи средствами языка. Различаются два вида программ: программа короткого высказывания — речевого сообщения длиной в одно предложение и программа речевого целого (текста), представляющая собой программирование на длительный срок. Характер программы речевого целого непостоянен и зависит от функциональной направленности речевого сообщения (т. е. стиля).

Для более полной характеристики внутренней смысловой программы следует исходить из свойств внутренней речи: а) отсутствия вокализации, б) предикативности, в) преобладания смысла над значением, г) сокращенности, д) отрывочности, фрагментарности, е) непонятности для других [21].

В смысловой программе как «иерархии действия» над некоторыми исходными единицами содержится код, выражающий инвариантным способом «актуальное членение». В дальнейшем (при реализации программы) происходит переход с этого кода на собственно языковой. При реализации программы в высказывании совершенно необходим учет определенных «грамматических обязательств» последующих элементов речевой цепи относительно предыдущих (употребление числа, артикля и т. д.), а также семантико-ассоциативных признаков слов при отборе из рядов подмножеств.

Делаются попытки установить некий общий универсальный принцип при речепроизводстве и при восприятии текста. Воспринимая развернутое сообщение (текст), реципиент расшифровывает значения и смыслы, заключенные в развернутом речевом сообщении, превращая их в свернутую смысловую схему, с помощью которой смысл воспринятого текста усваивается как одно целое. Понимание есть восстановление той смысловой схемы, в соответствии с которой производился данный текст. Таким образом, производство и понимание речи суть два разнонаправленных, но взаимообусловленных, дополняющих друг друга процесса, имеющих единую смысловую программу. Предполагается, что процесс понимания текста происходит одновременно на нескольких уровнях — 1) на уровне монтажа (последовательное перемещение от одного относительно законченного элемента текста к другому), 2) на уровне перецентровки (перемещение мысленного центра ситуации от одного элемента текста к другому), 3) на уровне формирования концепта (общего смысла) текста [22].

Высказывается мнение, что в психолингвистике заложены основы дифференциации разных типов текстов. Так, С. Л. Рубинштейн, рассматривая текст как «условие мыслительной деятельности читателя», различает три типа текстов: 1) «текст, в котором вовсе не обозначены опорные точки, определяющие, в каком именно качестве должен выступить элемент, чтобы включиться в контекст»; 2) «текст, в котором все входящие в него элементы непосредственно однозначно даны именно в качестве, в котором они включены в этот контекст»; 3) «текст, в котором есть необходимые отправные точки для соответствующей работы мысли читателя, но не делается попытки вовсе снять необходимость в ней» [23]. Думается, что первый тип фактически представлен литературой «потока сознания», второй — «интеллективной прозой», а третий представляет все остальные виды прозы, которые располагаются между (1) и (2) как между полярными точками.

---

[21] Л. П. Руденко, О возможности экспериментального исследования вербальной реализации замысла на уровне внутренней смысловой программы высказывания, «Исследование речемыслительной деятельности. Психология», III, Алма-Ата, 1974, стр. 54.

[22] А. Брудный, К проблеме понимания текста, «Исследование речемыслительной деятельности. Психология», III, стр. 86.

[23] С. Л. Рубинштейн, Проблемы общей психологии, М., 1973, стр. 236—237.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

КУРМАНБАЕВ Н. М.

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАНТОВ

Согласно древнему, но все еще распространенному представлению, язык должен был возникнуть мгновенно, в некотором таинственном едином акте речетворчества [1]. Это представление противоречит многочисленным фактам постепенного возникновения грамматических элементов из лексем. Оно противоречит и современному представлению о языке как многоуровневой структурно организованной системе.

В трудах лингвистов прошлого и нашего времени мы находим основанные на фактах языка мысли о временной последовательности возникновения лексического и грамматического уровней языка. Так, А. А.Потебня на основе сравнительного изучения памятников славянской письменности приходил к выводу, что по направлению к прошлому уменьшается различие между именем существительным и прилагательным, уменьшается «гегемония» глагола в предложении, уменьшается и постепенно сходит на нет удельный вес гипотаксиса и увеличивается удельный вес паратаксиса. Экстраполируя эти тенденции в доисторическое прошлое языка, А. А. Потебня выдвигал гипотезу о «сравнительно позднем периоде образования грамматических форм» [2]. А. А. Потебня имел в виду, что грамматические категории в языке вообще образовались позднее, чем лексические категории. В связи с этим А. А. Потебня говорил о существовании на раннем этапе развития языка «доименных» и «доглагольных» форм, называемых им «безотносительными корнями». А. А. Потебня не видел возможности обоснования этой гипотезы на доступном ему языковом материале. Но он допускал возможность такого обоснования в будущем.

В мыслях А. А. Потебни о развитии языка как поступательном движении от простейших, дограмматических форм слов ко все более сложным, грамматически оформленным словам И. И. Мещанинов видел «одно из наиболее живых высказываний старой лингвистики» и высказывал сожаление в связи с тем, что историческая схема развития языка А. А. Потебни «не была использована в русской науке», что она осталась без дальнейшего развития [3].

Выдвинув положение, что современный язык несет в себе свое прошлое, А. А. Потебня, однако, допускал непоследовательность в виде отрицания следов «дограмматического» периода в современных языках. Итак, сохраняются или не сохраняются следы предполагаемого дограмматического периода в современном языке? Ответ на этот вопрос может быть и положительным, и отрицательным в зависимости от того, какое содержание вкладывается в понятие грамматики. Следовательно, ответ на поставленный вопрос требует выяснения того, что следует понимать под грамматикой.

---

[1] Подобное мнение находим в книге А. Л. Погодина, вышедшей в начале нашего столетия: А. Л. Погодин, Язык как творчество, Харьков, 1913, стр. 554.

[2] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 35.

[3] И. И. Мещанинов, Проблемы развития языка, Л., 1975, стр. 18.

Для этого необходимо попытаться раскрыть сущность грамматики посредством рассмотрения имеющихся на сегодня данных о ее происхождении.

В лингвистике накоплен значительный фактический материал об отдельных случаях становления новых грамматических элементов в самых различных языках. В этой связи Ж. Вандриес писал: «Мы можем проследить во многих языках эволюцию многочисленных элементов, как предлоги, союзы, или члены... Определенный член во всех языках происходит из древних указательных местоимений; член же неопределенный происходит из слова, обозначающего единицу в языках германских, кельтских, современном греческом и романских языках» [4]. Д. В. Бубрих писал о том, что в одном из экзотических языков — в папуасском языке *Насиои* — «процесс возникновения именного словоизменения... развертывается сейчас, на наших глазах» [5]. В книге Е. Т. Черкасовой «Переход полнозначных слов в предлоги» (М., 1967) прослеживается процесс превращения в предлоги большого числа имен существительных, прилагательных и глаголов в русском языке. Этот процесс особенно интенсивно протекал в XVIII и XIX вв. в связи с развитием деловой, научно-технической и газетно-публицистической письменности. Анализ процесса становления предлогов позволяет Е. Т. Черкасовой выявить в качестве важнейшего условия грамматикализации лексики необычные смысловые связи сочетающихся слов. Именно при необычной со стороны смысла сочетаемости происходит то взаимодействие семантики сочетающихся лексем, которое порождает новый грамматический элемент.

Если верно, что грамматикализация имени существительного, прилагательного и глагола сопровождается их деноминализацией, то только наличие номинативного значения делает единицу языка лексемой и только наличие значения, возникшего в результате деноминализации, делает единицу языка грамматической формой.

Вывод о происхождении грамматических элементов из отдельных лексем, сделанный в XIX в. на материале индоевропейских языков, в дальнейшем получил подтверждение на материале и других, неиндоевропейских, языков. Так, в тюркских языках предикативная связка генетически восходит к личным местоимениям, употреблявшимся в постпозиции к имени. В современном казахском *Сіз студентсіз* «Вы — студент» первое *сіз* — личное местоимение, а второе — предикативная связка. В языке орхонских памятников древнетюркской письменности мы уже находим такое двойное употребление местоимения, например, *Біз аз біз* «Нас мало» [6]. Это употребление местоимения *біз* свидетельствует о том, что в древнетюркском языке VIII в. личное местоимение находилось в процессе развития в грамматический элемент. Об этом свидетельствует также сочетаемость этих местоимений в постпозиции не только с существительными или наречиями, но и с прилагательными, например, *олтечісен* «полуживой ты» [7]. Постпозитивное сочетание личного местоимения с глаголами превращает его в личное окончание глагола, например, *неке тезербіз*, ... *неке қорқурбіз* «зачем бежим, чего боимся» [8].

В современном казахском языке предикативная связка, кроме имени существительного, прилагательного, глагола, числительного и наречия, сочетается даже с личным местоимением, из которого она произошла.

---

[4] Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 161.

[5] Д. В. Бубрих, У истоков склонения, «Советское языкознание», 2, 1936, стр. 39.

[6] Г. Айдаров, Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века, Алма-Ата, 1971, стр. 181.

[7] Там же, стр. 288.

[8] Там же, стр. 331.

Например, *менмін* «это — я» дословно «я есмь», *сенсін* — «это — ты», *бізбіз* «это — мы», *сізсіз* «это — вы». Следовательно, процесс развития тюркского личного местоимения в постпозиции в грамматический элемент после VIII в. шел по линии вовлечения в сочетаемость с ним все новых частей речи, по линии расширения его семантики за счет семантики все новых классов слов. Казахское *бізбіз* или *сізсіз* оказывается возможным потому, что и второй элемент имеет значение, но это значение не лексическое, а грамматическое. Любое такое сочетание при тождестве звуковой (графической) или материальной стороны двух своих компонентов представляет собой сочетание двух качественно различных явлений со стороны семантической. Это — единство лексического значения первого компонента и грамматического значения второго компонента как двух противоположностей.

В пермских, как и во многих других уральских языках, утверждает Б. А. Серебренников, притяжательные суффиксы имен существительных восходят к указательным местоимениям. Таковы притяжательные суффиксы в коми-пермских словах *вон-ыт* «твой брат», *вон-ыс* «его брат» [9].

В нивхском языке, по словам В. З. Панфилова, ряд падежных суффиксов восходит к послелогам, а последние в свою очередь происходят от глаголов или от имен существительных. Так, послелог *тулку* ~ *рулку* «по, через, сквозь» происходит от глагола *рулкуд'* «залезать, пролезать во что-либо или через что-либо», а послелог *вый* «под» происходит от существительного *вый* «низ; подножие» [10]. В этой связи интересно отметить, что казахский послелог *астында* «под» происходит от существительного *асты* «низ чего-либо», а русский предлог *под* — из существительного *под* «низ; дно».

Характеризуя аборигенные языки Австралии, А. Кэпэл пишет: «В языках некоторых областей, преимущественно в штате Виктория, порядок слов закрепляется так, что местоименное подлежащее, следующее за глаголом, прикрепляется к глаголу и превращается в окончание лица и числа наряду с показателем времени и наклонения. Однако наиболее удивительное обстоятельство заключается в том, что на севере и на северо-западе Австралии есть большая группа языков, в которых местоимения в функции подлежащего и дополнения, а иногда и показатели времени и наклонения превращаются не в суффиксы, а в префиксы... В них местоименные элементы закрепляются в положении перед глаголом, тогда как в других местах — после глагола. ... Доктор Кеннет Хале во время экспедиции 1959—60 гг. открыл язык, который использует в качестве суффиксов практически те же морфемы, которые префиксирующие языки используют в качестве префиксов» [11].

Теория происхождения грамматических элементов из отдельных лексем была выдвинута сравнительно-историческим языкознанием XIX в. При этом в прошлом лингвисты не видели в возникновении грамматического элемента качественного изменения в языке. Так, А. А. Потебня писал: «В пути от знаменательности наречия к формальности предлога не бывает скачков и перерывов» [12]. Такое понимание сущности грамматикализации лексического значения слова приводило А. А. Потебню к ошибочному утверждению: «Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна (разрядка наша.— *К. Н.*) с его вещественным зна-

---

[9] Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике, М., 1974, стр. 56—57.

[10] В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, в кн.: «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», Л., 1974, стр. 82—83.

[11] A. Capel, Some linguistic types of Australia, Sydney, 1962, стр. 8—9.

[12] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 128.

чением»[13]. Иной точки зрения на природу грамматического значения придерживался И. И. Мещанинов. Называя качественные изменения основным законом языкового развития, он усматривал в переходе лексемы в синтаксему (грамматическую форму) качественное языковое изменение[14]. Следовательно, по мысли И. И. Мещанинова, при переходе языковой единицы с одного на другой уровень имеет место качественное изменение в языке.

Исходя из принципа историзма, мы не можем предполагать иной причины возникновения наиболее ранних грамматических форм языка, чем взаимодействие лексических значений. Это значит, что возникновение наиболее ранних грамматических форм было возможно только при наличии уже сложившегося лексического уровня, которому была свойственна сочетаемость лексем. Это значит, что грамматический уровень более позднего происхождения по сравнению с лексическим уровнем языка. Исходя из принципа историзма, мы не можем полагать иного источника, иной субстанции грамматического значения, чем лексическое значение. Это значит, что грамматика языка имеет лексическое происхождение.

Подходя к языку с позиций диалектики, мы должны видеть в грамматике не в о о б щ е другое по отношению к лексике, а д р у г о е л е к с и к и. В этом смысле грамматика противостоит лексике как с в о е м у другому. Грамматика не просто связана с лексикой в плоском понимании этой связи как невозможности самостоятельного употребления грамматических элементов языка в речи. Грамматика находится в с у щ е с т в е н н о м отношении с лексикой. Поэтому сущность грамматики можно раскрыть только через познание ее лексического происхождения. Последнее ведет к признанию грамматическим элементом только того, что имеет лексическое происхождение и тем самым ведет к резкому ограничению пределов того, что принято считать грамматическим уровнем языка.

Античная наука о языке еще ничего не знала о происхождении грамматики языка, не различала уровней языка и располагала все языковые единицы на грамматическом уровне. Отсюда то слишком широкое содержание, которое она вкладывала в понятие грамматики. Под грамматикой она разумела упорядоченность и правилосообразность речи. Поскольку упорядоченность свойственна не только языку, но и всему сущему, то некоторые философы древности усматривали грамматичность во всем сущем. Так, Алексин из Элиды (III в. до н. э.) утверждал: «мир поэтичен и грамматичен»[15]. Такое слишком широкое содержание понятия грамматики дожило до XX в. Из него исходил английский философ Ч. Пирсон, написавший книгу «Грамматика науки». Из него исходила американская исследовательница С. Маркле, автор книги «Грамматика составления программированных учебных пособий». Из него исходил Ф. де Соссюр, говоривший о «грамматике шахматной игры» и «грамматике биржи»[16]. В связи с этим Ф. де Соссюр был против вычленения лексикологии из грамматики[17].

Чрезмерно широкое содержание, которое вкладывал Ф. де Соссюр в понятие грамматики, ведет к игнорированию существенного различия между системной организацией языка и системной организацией игры в шахматы или игры на бирже. Пытаясь представить грамматику как всеобщее свойство всех системно организованных вещей, Ф. де Соссюр и его последователи берут лишь в с е о б щ и е функциональные момен-

[13] Там же, стр. 39.
[14] И. И. М е щ а н и н о в, указ. соч., стр. 13, 84.
[15] С е к с т Э м п и р и к, Соч., I, М., 1976, стр. 263.
[16] Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 129.
[17] Там же, стр. 130—131.

ты языка (тождество и различие языковых явлений, упорядоченность и правилосообразность их употребления в речи и т. д.) и игнорируют специфику грамматики как одного из способов системной организации языка (реляционную функцию единиц грамматического уровня, их качественное отличие не только от вещей вне языка, но и от единиц лексического уровня с их номинативной функцией и т. д.). Тем самым они отбрасывают то особенное, что только и делает один из трех основных уровней языка грамматикой. Разрывая общее и особенное в языке и абсолютизируя общее не только в языке, но и между языком и не-языком, Соссюр неверно трактует реальные свойства языковых единиц и реальные отношения между ними. Соссюрианское понимание сущности грамматики лишь подкрепляет древнее представление, что любое предложение есть грамматическое предложение, что язык с самого начала был грамматичен, что в нем не происходило и не происходит никаких качественных изменений.

Игнорирование Соссюром специфической сущности или специфического различия грамматики от других системно организованных объектов создает лишь видимость познания сущности грамматики. В действительности, поскольку грамматика не была понята Соссюром в ее специфической сущности, она остается у него вообще непонятой.

До и после Ф. де Соссюра целый ряд лингвистов довольно близко подходил к пониманию специфической сущности грамматики. Так, А. А. Потебня и Ф. Ф. Фортунатов рассматривали грамматику как часть языка и только языка. Согласно Потебне, грамматика объемлет собой лишь ту часть языка, которая представлена формами слов [18]. Ф. Ф. Фортунатов сетовал на то, что школьная грамматика получила в наследство от старых времен постоянное смешение грамматических и неграмматических классов слов и словосочетаний. Если возможно говорить о неграмматических классах слов и неграмматическом предложении в современном языке, то, по-видимому, существует не меньше оснований говорить о неграмматических классах слов и неграмматическом предложении с чисто лексическим синтаксисом в предполагаемом дограмматическом периоде развития языка. С появлением грамматических средств первоначальный, чисто «лексический» синтаксис языка, оставаясь в основном средством структурирования лексического уровня, должен был подвергнуться воздействию грамматических средств языка. Следствием этого воздействия явились более свободный порядок слов, возможность опущения подлежащего при грамматически оформленном сказуемом и т. п.

Итак, в порядке дальнейшего развития точки зрения А. А. Потебни и Ф. Ф. Фортунатова на сущность и природу грамматики языка, можно утверждать, что грамматика языка состоит не из всех средств упорядочения или структурирования языка, что она состоит лишь из элементов языка, перешедших с лексического на некоторый более высокий уровень в результате деноминализации и перехода их значений в новое качественное состояние. Эти предположения в совокупности образуют гипотезу о происхождении и природе грамматики языка, которая в этой статье может быть подтверждена лишь частично весьма ограниченным числом свидетельств некоторых современных языков и некоторыми фактами из области детской речи и афазии.

А. А. Шахматов относил родительный падеж с нулевым окончанием к числу более старых форм, а родительный падеж с окончанием *-ов* к числу более новых форм. «Старые формы,— писал он,— сохраняются лишь в ограниченном числе случаев; большая часть их обязана сочетаниям

[18] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 46.

с числительными *пять*, *шесть* и т. д., ср. *аршин* (но *аршинов*; Жиздр.); *раз* (но *разов*, Соликам.); *пуд* (но и *пудов*); *год* (*шесть год*, Великол., № 45, *сем гот.* Жиздр., А. Никольский, при обычном *годов*). ... Слово *человек* имеет также старую форму, употребляясь, однако, почти исключительно после числительных количественных (*пять*, *шесть человек*) и неопределенных (*несколько человек*). Приведу диалектические формы на *-ов* при отмеченных старых формах род. м. р.: *глáзов*. Белоз. (Отв. № 162); ... *человеков*, Алатыр. (Отв. № 32, но чаще *чылэк*), Яренск. (Отв. № 194), Тотем. (Отв. № 201) ...» [19].

Нулевая форма множественного числа существительного в сочетании с числительным, которую А. Н. Кононов называет синтаксическим способом выражения значения множественности, характерна для всех тюркских языков как древних, так и современных (ср. казах. *бес балық* «пять рыб» при *балықтар* «рыбы»). Интересно наблюдение В. З. Панфилова, что в нивхском языке обычно существительное в сочетании с числительным имеет нулевую форму, однако в настоящее время появляются в таких сочетаниях и существительные в форме множественного числа [20].

Итак, в парах форм со значением множественного числа *раз—разов*, *пуд — пудов*, *год — годов*, *человек — человеков*, по мысли А. А. Шахматова, первые — старые, а вторые — новые формы. А согласно К. С. Горбачевичу, наоборот, вторые — старые, а первые — новые формы. К. С. Горбачевич пишет: «... в современной литературе наблюдаются колебания и даже, пожалуй, перевес „старых“ форм на *-ов*» [21]. В связи с этим К. С. Горбачевич утверждает: «Форма с нулевым окончанием в родительном падеже множественного числа слова *грамм* прочно завоевала право на существование. Именно она (а не *граммов*) рекомендуется как нормативная вопреки показаниям словарей и справочников в Академической грамматике (т. I, стр. 152)» [22]. Перед нами явное смешение понятий «языковая норма» и «новая форма» в языке. Думается, в этом споре прав А. А. Шахматов, который решает этот частный вопрос на фоне и в русле общей картины становления и исторического развития морфологии русского языка.

В целом ряде языков вообще нет грамматической категории числа, например, в древнеяванском языке кави, в китайском и одном из тайских языков — языке чжуан. В них значение числа передается количественными числительными в сочетании с существительным в нулевой форме. Обобщив обширный материал по типологии грамматической категории числа и ее исторического развития в различных языках мира, В. З. Панфилов утверждает: «Если во всех современных языках есть числовые обозначения лексического характера, то категория грамматического числа в отличие от этого не является универсальной. Существует ряд языков, в которых грамматическая категория числа существительных отсутствует» [23].

В. З. Панфилов оспаривает мнение И. С. Тимофеева о том, что грамматическая категория числа сформировалась раньше, чем возникли лексические числовые обозначения [24]. Возражая И. С. Тимофееву,

---

[19] А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка, М., 1957, стр. 265—266.

[20] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, I, М.—Л., 1962, стр. 191.

[21] К. С. Горбачевич, Изменение норм русского литературного языка, Л., 1971, стр. 190.

[22] Там же, стр. 186.

[23] В. З. Панфилов, Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития, ВЯ, 1976, 4, стр. 19.

[24] И. С. Тимофеев, Методологическое значение категорий «качество» и «количество», М., 1972, стр. 121.

В. З. Панфилов отмечает, что при отсутствии понятий об определенных количествах («один», «два», «три» и т. д.) и соответствующих числовых обозначений лексического характера не могли возникнуть и грамматические формы, которые бы фиксировали эти понятия в пределах грамматической категории числа. Следовательно, те или иные грамматические значения и соответствующие формы их выражения не могут возникнуть в языке, если эти значения предварительно не получили того или иного выражения в лексической системе языка. Здесь уместно вспомнить об утверждении И. И. Мещанинова, что есть языки без грамматической формы времени, например, юкагирский, в котором значение времени передается лексически посредством временных наречий [25]. Вместе с тем, кажется, нет языков без лексических форм времени.

Такова небольшая часть обширной группы языковых фактов, свидетельствующих о более позднем происхождении грамматического уровня языка.

Еще в XIX в. было высказано предположение, что детская речь повторяет основные этапы исторического развития речи. Однако исследования детской речи в прошлом не привели к уяснению происхождения и природы языка, как ожидали и на что надеялись исследователи. Сегодня можно считать установленным, что изучение детской речи само по себе не может дать ничего для решения проблемы происхождения языка и грамматики языка. Между тем изучение детской речи может дать ценный материал для подтверждения или опровержения некоторой гипотезы о происхождении грамматики языка.

Согласно периодизации развития детской речи А. Н. Гвоздева, весь первый период детской речи (от 1 года до 1 года и 10 месяцев) характеризуется однословными, двусловными и трехсловными высказываниями типа: *ма́ма*, *ма́ма н'ис'ка* «мама книжка», *ма́ма н'ис'ка ц'ита́ц* «мама книжку читает». Такие предложения, считает А. Н. Гвоздев, состоят из бесформенных, аморфных слов-корней, которые еще не расчленяются на некоторые составные части или морфологические элементы. В связи с этим А. Н. Гвоздев утверждает, что формирование грамматического строя в речи ребенка начинается не сразу, не вместе с первыми словами [26].

По наблюдениям Р. Брауна и У. Беллуджи, имитируя речь матери, ребенок опускает окончания глагола, притяжательного падежа, вспомогательные глаголы, предлоги и артикли. Например:

Речь матери	Имитация ребенка
Daddy's brief case	*Daddy brief case*
«Портфель отца»	«Портфель отец»
Fraser will be unhappy	*Fraser unhappy*
«Фрезер будет расстроен»	«Фрезер расстроен»
That's an old time train	*Old time train*
«Это — старинный поезд»	«Старинный поезд» [27].

Р. Браун и У. Беллуджи считают, что в подобной «телеграфной» речи ребенок удерживает «высоко информативные» элементы и опускает «мало информативные» элементы языка. Нам представляется, что дело не в этом, а в том, что прежде чем усвоить средства выражения отношений между

---

[25] И. И. Мещанинов, указ. соч., стр. 70.

[26] А. Н. Гвоздев, Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, ч. 1, М., 1949, стр. 11.

[27] R. Brown, U. Bellugi, Three processes in the child's acquisition of syntax, в кн.: «New directions in the study of language», Cambridge (Mass.), 1966, стр. 137.

предметами мысли, ребенок должен усвоить наименования этих предметов.

Афазия также дает множество фактов, могущих подтвердить гипотезу о более позднем происхождении грамматического уровня языка. Это связано с тем обстоятельством, что при афазии лучше сохраняются исторически ранее сложившиеся речевые функции и уровни языка, например, диалогическая речь лучше сохраняется, чем монологическая, фонологический и лексический уровни лучше сохраняются, чем грамматический уровень языка.

Психологи и неврологи обычно характеризуют речь больного с поражением теменно-затылочной области коры головного мозга как «аграмматическую» речь или как «телеграфную» речь. По наблюдениям Э. С. Бейн, такие больные при просьбе дать воду или суп говорят *вода*, *суп*, при желании сесть на скамейку — *скамейка*. Слова аграмматичны и в связной речи такого больного, например, *Я жива город* [28]. По словам Л. С. Цветковой, телеграфная речь больного состоит из слов в нулевой форме и в этой форме больной употребляет слова и внутри фразы, например, *Саша пить молоко* [29]. По свидетельству А. Р. Лурия, такой больной легко воспринимает отдельные компоненты высказываний, но не понимает выражаемых грамматическими формами отношений между предметами. Например, больные воспринимают словосочетания *брат отца* и *отец брата* как одинаковые по смыслу [30].

Обобщая свои исследования речевых расстройств при афазии, Х. Шуэлл и Дж. Дженкинс пишут: «Клинические наблюдения и практика убеждают нас в том, что больным с нарушением неграмматического уровня речи присущи часто более грубые речевые расстройства, чем больным без грамматического уровня речи. Первые только после некоторого восстановления речи приближаются к состоянию вторых, т. е. больных с нарушенным грамматическим уровнем речи» [31].

Такова небольшая часть трех обширных групп фактов, подтверждающих гипотезу А. А. Потебни о более позднем происхождении грамматических категорий по сравнению с лексическими категориями языка.

Представление о происхождении грамматики языка, к которому мы приходим, противостоит позитивистскому отрицанию качественных изменений в языке, которое мы находим в словах Г. Пауля: «... различие между отдельными периодами развития носит не качественный, а лишь количественный характер» [32]. Если Г. Пауль как представитель позитивизма XIX в. метафизически понимал, но не отрицал развития языка, то неопозитивизм XX в. доходит до отрицания развития языка и тем самым делает шаг назад по сравнению с позитивизмом младограмматиков. Устами одного из своих видных представителей Д. Гринберга неопозитивизм утверждает: «... развивается не язык как таковой, а скорее общение вообще. ... эволюция языка как таковая еще не была кем-либо показана и о внутреннем равенстве всех языков можно судить по их современному состоянию» [33].

Неопозитивисты не могут отрицать изменения языка. Оно слишком очевидно. Они отрицают развитие языка. Неопозитивистскому отрица-

---

[28] Э. С. Бейн, Афазия и пути ее преодоления, Л., 1964, стр. 61—62.

[29] Л. С. Цветкова, Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга, М., 1972, стр. 57.

[30] А. Р. Лурия, Высшие корковые функции человека, М., 1969, стр. 155—156.

[31] H. Schuell, J. Jenkins, The nature of language deficit in aphasia, в кн.: «Psycholinguistics», ed. by S. Saporta, New York, 1961, стр. 429.

[32] Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 214.

[33] J. H. Greenberg, Essays in linguistics, The University of Chicago Press, 1963, стр. 65.

нию развития языка мы противопоставляем диалектическое понимание истории языка, емко выраженное в словах Маркса: «... хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие» [34].

Главный вывод, к которому мы приходим, заключается в том, что путь к более глубокому познанию природы и сущности языка и его различных уровней лежит через диалектизацию лингвистики.

---

[34] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 12, стр. 711.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МАКОВСКИЙ М. М.

ТЕКСТОЛОГИЯ И ЛЕКСИКО-СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Светлой памяти моих бесконечно дорогих родителей посвящается

Возможности и методы установления лексико-семасиологического тождества и эволюции претерпевали значительные изменения по мере накопления лингвистических знаний и смены различных концепций языка. В Древней Греции и в Риме, где семасиология была вовлечена в сферу философской софистики, слово и его значение считалось сущностью, неотъемлемой принадлежностью называемого им предмета, подобно его форме, цвету, химическим и физическим свойствам и составу (φύσει). Этот тезис, противопоставлявшийся мнению о том, что все слова человеческого языка возникли «по договору» (θέσει), в большинстве случаев приводил к произвольным и случайным, а порой и фантастическим толкованиям, к мнемонической «игре в слова», построенной на народной этимологии, внешнем сходстве, религиозной символике, далеким от фактов и подлинной науки. Подобные же методы с небольшими видоизменениями сохранились и в средние века [1]. Открытие фонетических соответствий в начале XIX в., как известно, явилось величайшим достижением лингвистической науки, впервые создавшим прочную основу для понимания многих глубинных процессов развития языка и особенно родственных отношений между языками. Необходимо, однако, указать, что сравнительно-исторический метод никак не предполагал регулярного соответствия в с е х с л о в, относящихся к более раннему периоду развития того или иного языка, в с е м с л о в а м, засвидетельствованным в более позднее время, и вообще был введен в научный обиход отнюдь не в качестве универсального «набора правил» для установления семасиологического тождества. Имелось в виду, как на это указывал еще Г. Шухардт (Zfrom Ph., 26, 1902; «Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft», Halle, 1928, стр. 108), лишь наличие соответствий между н е к о т о р ы м и хронологически неодинаково представленными лексемами [2]. Такие надежные со-

[1] Ср.: R. K l i n c k, Die lateinische Etymologie des Mittelalters, München, 1970. Пути исследования этимологии в европейской лингвистике хорошо отражены в недавно опубликованной интересной хрестоматии «Etymologie». hrsg. von R. Schmitt (Darmstadt, 1977), содержащей теоретические работы В. Тапполе, Ф. Клуге, Г. Ломмеля, В. фон Вартбурга, Ж. Вандриеса, О. Н. Трубачева, В. И. Абаева и др.

[2] См.: J. D y e n, Reconstruction, the comparative method, and the Proto-language uniformity assumption, «Language», 45, 3, 1969; ср.: A. J u r e t, Les idées et les mots, Paris, 1960.

ответствия давно установлены и стали аксиомами компаративистики. Не секрет, что использование фонетических законов, правомерность и сфера действия которых вызвали в свое время горячие споры среди лингвистов, далеко не всегда дает надежные результаты при лексико-семантической идентификации, особенно в тех случаях, когда эти законы абсолютизируются или чрезмерно отрываются от реальных фактов существования языка; эти законы оказываются далеко не безупречными и в тех случаях, когда для сравнения приходится привлекать новый, ранее не учтенный материал, например хеттский или тохарский [3]. Нельзя, в частности, упускать из виду, что на основе одного и того же фонетического соответствия нередко существует возможность уравнивать корни, не имеющие между собой ничего общего. Одной из слабых сторон фонетических сопоставлений является и то, что они исходят из непрерывности, преемственности языковых явлений, в то время как в действительности в языке наблюдается диалектическое взаимодействие прерывности и непрерывности [4]. Важно иметь в виду и тот факт, что семантика уравниваемых слов нередко стоит в противоречии с результатами, полученными на основе сопоставления фонетического состава соответствующих лексем. Однако в практике семасиологических исследований при совпадении фонетического состава сравниваемых слов их значение обычно считалось второстепенным фактором или произвольно истолковывалось на основе «здравого смысла» или субъективных ассоциаций того или иного лингвиста [5]. Но, как справедливо отмечал Гегель, здравый смысл «есть такой способ мышления..., в котором содержатся все предрассудки своего времени» [6].

Важно учитывать, что на протяжении своей истории одно и то же слово может иметь несколько этимологических связей, т. е. несколько этимологий одного и того же слова могут оказаться верными, особенно в связи с метафоризацией, народной этимологией и другими видами контаминации. Франц. *hasard*, англ. *hazard*, нем. *Hasard*, исп. *azar*, русское заимствование *азарт* в большинстве словарей возводится к араб. *al-zahr* (произносится *az-zahr*). Подобное истолкование этого слова справедливо ставится под сомнение многими исследователями (Скит, Девиц) в связи с тем, что слово *zahr* не зафиксировано в словарях классического арабского языка. Весьма интересны в этом отношении факты современных английских диалектов, где находим слова: *azzard* (вариант, *azzald*) а также *nazzard*, *nazzle*, *nassel*, *azzy*, *nazzy* «a peevish, wayward, mischievous child; an ill-tempered person; bad-tempered, irritable», *azzardly* «poor, ill-thriven» (EDD, I, 106). В свете этих данных ставится под сомнение традиционная этимология русского слова *озорной* [ср. русск. диалектн. *азаристый* (*озаристый*); *азарчивый* «рьяный» (Филин, s. v.)], возводимого обычно к *о-зор*, т. е. к корню, представленному в словах *позорный*, *зазорный*, *зреть*, *взор* и др. В данном случае, очевидно, перед нами народная этимология. Нам представляется, что во всех указанных случаях мы имеем дело с корнем, отраженным в лат. *acer* (ср. так-

[3] Ср.: J. L. Butler, A murmured proposal regarding Grassman's law, IF, 79, 1974; O. Dempwolff, Fiktion und Hypothese in der Sprachwissenschaft, «Annalen der Philosophie», III, *стр. 246 и сл.*; E. Öhmann, Über unregelmässige Lautentwicklung, «Neuphilologische Mitteilungen», XLVII, 1948; W. S.-Y. Wang, Competing changes as a cause of residue, «Language», 45, 1, 1969; «The Lautgesetz-controversy: a documentation», Amsterdam, 1976.

[4] Ср. сб. «Kontinuität — Diskontinuität in den Geisteswissenschaften», hrsg. von H. Trümpy, Darmstadt, 1973.

[5] Ср. : R. J. Jeffers, On the notion «explanation» in historical linguistics, «Historical linguistics», II, ed. by J. Anderson, Ch. Jones, Amsterdam, 1973; S. C. Dik, Inductive generalizations in semantic change, «Studies in descriptive and historical linguistics», ed. by P. Hopper, Amsterdam, 1977.

[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 245.

же *acies*) «пылкий, горячий, страстный, бурный, неукротимый, стремительный; решительный; злобный, свирепый, жестокий; проницательный, остроумный; тяжелый, трудный» (ср. значения лат. *dīscrimen*). Переходы прилагательных в существительные, в частности на основе эллипсиса словосочетаний, известны в различных языках. Ср. русск. *военный*, *пожарный* и др.; ср. также др.-в.-нем. *gisunt* «здоровый», но также «здоровье» (ср. бавар. *Gesund* «здоровье»). Особую важность в связи с фонетическим обликом рассматриваемого слова имеет тот факт, что в средневековых вульгарнолатинских глоссариях слово *acer* имеет следующие варианты: *asser-um*, *asseri-um*, *azer-um*, *assero*, *asselo* (R. Latham, Revised medieval Latin word-list, стр. 4—5). Ср. англ. диалектн. *haze* «to scold», амер. «subject to brutal horseplay», др.-франц. *haser* «irriter, piquer, fâcher, insulter», шотл. *hastard* «irascible», нем.-швейц. *Hasard* «Zorn». Интересно англ. диалектн. *haister* «фант, игра в фанты; потеря ч.-л.». В связи с обычной для английских диалектов «меной согласных» в различных позициях в слове (ср. *haze* «to drizzle» — *hagger* «to rain gently» — *hadder* «a fine rain or drizzle», EDD, s. v.) весьма важно принять во внимание англ. диалектн. *hagger* (обычно употребляется в форме past participle *hagger't*): «in games of marbles: to win all an opponent's marbles, „to clear out"; a boy who has lost all his marbles or cherry-stones is said to be *hagger't*» — EDD, III, 16. Ср. англ. диалектн. *hagglin* «rash, uncautious», *haggle* «to scold, to tease, to worry; to do anything with much difficulty, to struggle».

Вместе с тем вполне возможно, что в разные периоды истории языка рассматриваемое слово на основе народной этимологии идентифицировалось с лат. *as*, *asser* [это подкреплялось и на текстологическом уровне: ср. *acer*, *azar*, *asser*, *scharffe* (Diefenbach, 8) и *as*, *asser*, *scherpff*, *scherff*, *scharpff*, но также *wurffel* (Diefenbach, 53)], с сочетанием латинских слов *as* и *arrhe*, а также с сочетанием *as* и *ardus*. Необходимо постоянно учитывать возможность так называемой «перекрестной этимологии», т. е. возможность контаминации нескольких различных корней в процессе их истории (ср. J. Vendryes, Sur l'étymologie croisée, BSLP, 51, 1955; E. Ernout, Rencontres du sens, «Philologica», II, Paris, 1957). В этой связи важно, что, наряду с традиционной этимологией нем. *Brett*, англ. *board* и др. (и.-е. **bhr̥tóm* < **bherd-* «резать» от основы **bher-* «пронзать, делать углубления» с расширителем *-d*), существует и возможность заимствования этого слова из латыни, выявляемая при текстологическом анализе. В Ahd. Gl. 1, 18 читаем: *trapi. gepretta*. Однако в Ahd. Gl. III, 10, 60 *trapes* глоссируется через *capretta*, а вслед за указанной глоссой находим *capriuns. rafuun*. Здесь мы имеем дело с лат. *capreo* [род. пад. *capreonis* (ср. др.-франц. *chevron*, др. провансс. *cabrion* «Dachsparren»), ср. REW, § 1650: *capreolus* «Stützenträger»]. Ср. нидерл. *keper*, ср.-н.-нем. *kēpere*, *kēper*, ср.-в.-нем. *kepfer* «Balken», др.-в-нем. *chipfa*, *chiffa*, др. англ. *cipp* (< лат. *cippus*). Ср. также: Ahd. Gl. II, 471, 16; 656, 26.

В противоположность атомизму младограмматиков, которые обычно вели исследование по принципу «post hoc, ergo propter hoc» и не учитывали того факта, что ни одно явление в языке (в силу одновременного действия самых разнообразных факторов — идиолектных, социальных, территориальных и др.) никогда не представлено в «чистом виде», системный подход к изучению явлений языка в ряде случаев приводил к другой крайности — стремлению во что бы то ни стало навязывать языку определенные (нередко априорные) «правила» и «законы», обязательно устанавливать определенные связи и отношения языковых реалий, а феномены, не укладывающиеся в эти правила, считать нетипичными для «механизма языка» или по крайней мере не играющими существенной роли в его становлении и развитии. Языковая действительность намного сложнее и богаче

подобных искусственных построений и обычно носит многоаспектный, комплексный характер. Как справедливо отмечал еще Ф. Бэкон, «человеческий разум по своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит. И в то время как многое в природе единично и совершенно не имеет себе подобия, он придумывает параллели, соответствия и отношения, которых нет» [7]. Я. Гримм писал: «Я не сторонник общих правил в грамматике: они вносят кажущуюся строгость и законченность в определения, но препятствуют наблюдению, которое я считаю душой исследования языка» [8].

Важно иметь в виду, что существует целый ряд факторов, которые, действуя независимо от разного рода чисто лингвистических закономерностей (фонетических, семасиологических и др.) и наряду с ними, в значительной мере определяют формальный облик лексем и их семантическое содержание. Так, фонетические соответствия нередко применяются не только к истинным лексемам, но и к случайным или искусственным образованиям, возникшим благодаря ошибке в рукописи, неверному переносу или слогоделению, а также в связи с ошибочным соединением частей отдельных слов в одно «слово» [ср. др.-англ. *wenþ* «beauty» (Hpt. Gl. 417, 23) < *wen þeh*; *raedecempa* < *raedewiga vel cempa*; *resuans* «ineptias», включенное как др.-англ. слово в «Student's dictionary of Anglo-Saxon» Г. Суита, но в действительности представляющее собой сочетание латинских слов *res vanas*; греч. στήτα «женщина» (Theokr., Syrinx, 14), возникшее в результате неверного чтения фразы διὰ στήτην' (вместо διαστήτην) ἐρίσαντε... (Il., I, 6). Ср. также KZ, 33, стр. 47 и сл.; «Festschrift Wackernagel», стр. 274 и сл.], принятием слов (или частей слов) языка, с которого сделан перевод, за слова языка, на который переведен рассматриваемый текст [др.-англ. *ruma*, например, зафиксированное в некоторых словарях как самостоятельное германское слово, представляет собой в действительности искажение лат. *ruina*; др.-англ. *ides* «juvenculus; matrona» представляет собой не что иное, как латинские пояснительные слова *id est*, часто встречаемые в глоссах (ср., с одной стороны, вульг. лат. *ides* «sheep» (Latham, 223), а с другой — лат. *veruex. vermis. verna* — Diefenbach, s. v. О другой параллельной контаминации *ides* см. ВЯ, 1977, 3, стр. 63]. Внешний облик слова в рукописях часто затемняется заменой, пропуском, перестановкой и наращением букв. Интересно рассмотрение так называемых «Buchstabenwörter», т. е. мнимых слов, совпадающих с алфавитным звучанием той или иной начальной буквы в лексеме. Ср. англ. диалектн. *aitch* «a mantlepiece» (по первой букве в *hearth*); англ. литерат. *ache* «боль» [< др.-англ. *aece* — по вульг.-лат. названию первой буквы (**accha*, **ahha*, др.-франц. *ache*, ср.-англ. *ache*) в др.-англ. слове *hearm* «боль, страдание»]; англ. диалектн. и сленг *to gee* «to suit» (по первой букве в слове *to go*, ср. русск. *это платье идет тебе*); англ. сленг *jay* «an amateur, an inferior actor; a fool» (по первой букве в слове *juggins*); англ. литерат. *cue* «direction for an actor's appearance» [по первой букве лат. *quando*, т. е. «when (the actor has to come in)]»; совр. н.-нем. *Em(el)*[9] «Querholz» [по первой букве слов: ба-

---

[7] Ф. Бэкон, Новый Органон, Л., 1935, стр. 118; ср. также стр. 119: «...уму человеческому постоянно свойственно то заблуждение, что он более поддается положительным доводам, чем отрицательным, тогда как по справедливости он должен был бы одинаково относиться к тем и другим; даже более того: в построении всех истинных аксиом бо́льшая сила — у отрицательного довода».

[8] J. Grimm, Deutsche Grammatik, Göttingen, 1882, стр. IV.

[9] Вполне возможно, что вторая часть этого диалектного слова совпадает с алфавитным названием первой буквы синонимичной лексемы, представленной др.-англ. *lorh* «colus; liciatorium» (ср. нем. диалектн. *Lork* «Schurke», *Lorch*, «Riese»). В нижненемецких диалектах имеется омофон разбираемого слова — *Ämmel*, *Emel* «Blutlaus», др.-англ. *emel*, *aemil* «curculio, a cankerworm, caterpillar, weevel», который, по всей

вар. *Matz* «knorriger Holzblock», швейц. *Matz(en)* «grosse Holzkeule», др.-англ. (*wull*)-*mod* (ср. совр. англ. диалектн. *maiden* «a clothes-horse»), др.-в.-нем. (*wolla*)-*meit'* «colus» (ср. др.-англ. *am* < **aem* «the reed of a weaver's loom»]; н.-нем. *Äm* «Eiter» [по первой букве немецких диалектных слов: *Mäggi* «Durchfaule oder Klauenseuche», *Maggen* «Faulniswunde», *mäukeln* «kränkeln, bald zu Grunde gehen», (*g'*)*mauch* «trockenfaul (von Früchten)»]; англ. диалектн. *ea* «a watercourse» [< *eagre*, *eger*, *egor* «a tidal wave in a river» — EDD, II, 224, ср. др.-англ. *ae* (< др.-англ. *aege*)]; др.-англ. *a*, *ae* «*lex*» (< др.-англ. *aew*, ср. нем. *ewig*, в нем. *Ehe* буква *e* повторена дважды); англ. диалектн. *o*, *oe* «внук» (< гаэльск. *ogha* «grandchild»); англ. диалектн. *ee*-(*grass*) «aftermath or second crop of grass» (< англ. диалектн. *eddish*); англ. диалектн. *ess*(*e*) «an earthworm» (< *serpent*); франц. *dé* (< лат. *digitus*, франц. *doigt*) «наперсток»; англ. диалектн. *kay* «left; crooked» — по английскому названию первой буквы в бретонск. *kleiz*, ирл. *klē* «левый»; англ. диалектн. *to see* «схватить» (по первой букве в слове *to catch*, ср. *to see hold of* «to catch hold of»); в диалектах американского варианта английского языка *bee*, *bees* «дрожжи» (по названию первой буквы в слове *barm*); англ. сленг *dee* «a pocket-book» (< *diary*); нем. арго *keß* «gescheit» (по первой букве др.-евр. *chochem* в том же значении. Ср. A. Götze, *Keß* und die Abkürzungssprache, «Muttersprache», 51, 1936); нем. арго *Kah* «Dirne» (<*Kebse*). Интересны слова, составленные из алфавитного названия нескольких букв (акрофония), например, др.-исп. *abze* (варианты — *abce*, *auze*, *alze*) «fate, luck» [10] (ср. семасиологическую параллель: англ. *to spell* «читать по буквам», но *to spell* «to cast an evil spell»); ср. также: англ. *geep* «небольшая военная автомашина» (*general purpose car*), русск. *хабе* «военная одежда из хлопчатобумажной ткани». Известно, что названия букв в некоторых алфавитах несут определенное вещественное значение. Ср. в англо-саксонском: *b*=*birce* «birch», *c* = *cen* «a torch» или *cene* «bold», *d* = *daeg* «day», *e* = *eh* «a war-horse», *f* = *feoh* «money», *g* = *gifu* «gift», *h* = *haegl* «hail», *l* = *lagu* «sea, water», *m* = *man*, *s* = *sigel* «sun», и др. Ср. также в семитических языках: *gimmel* «a camel», *bet* «a house», *dalet* «a gate», ст.-слав. *глагол*, *добро* и др., греч. *gamma*, *delta* и др.[11].

Есть основания полагать, что многие слова в индоевропейских языках представляют собой сочетание первых (или любых других) слогов нескольких (особенно синонимичных) лексем, а в некоторых случаях даже эквивалентны одному слогу тех или иных слов, особенно вышедших из языка или не засвидетельствованных письменностью (акронимия). Такие мнимые

вероятности, представляет собой сочетание алфавитных названий первых букв в словах: нем. *Mücke* (или нем. диалектн. *Miere* «муравей») и нем. диалектн. *Lind* (ср. нем. *Lindwurm*).

[10] Ср.: Y. Malkiel, Form versus meaning in etymological analysis: Old Spanish *auze*, «Estudios dedicados a James Herriott», Madison (Wis.), 1966; W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1968, § 16.

[11] Во многих из этих случаев мы имеем дело с пиктографией или с «магическим» значением букв. Интересны также случаи метафорического использования цифр в определенном вещественном значении, сокращения одного из компонентов сложного слова до его начальной буквы (нем. *S-Bahn*, *U-Bahn*, *D-Zug*, *U-Boot*, англ. *G-man*, *D-day*, *H-hour* и др.), звуковой символизм (ср.: I. Fonagi, Die Metaphern in der Phonetik, The Hague, 1963). Ср.: Y. Malkiel, Secondary uses of letters in language, «Essays on linguistic themes», Oxford, 1968; F. Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig — Berlin, 1922; его же, Buchstaben, «Reallexikon für Antike und Christentum», II, 1954, стр. 775; C. M. Edsman, Alphabet-und Buchstabenmystik, «Religion und Geschichte der Gegenwart», Tübingen, 1957; A. Berthelot, Die Macht der Schrift in Glauben und Aberglauben, «Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1949; K. Preisendanz, Papyri graecae magicae, Leipzig — Berlin, 1928; H. Meyer, Die Zahlenallegorese im Mittelalter, München, 1975.

слова, получившие «права гражданства» в языке, естественно, не поддаются анализу на основе закономерных звукосоответствий. Со временем подобные искусственные образования могли сами разлагаться на слоги, которые в сочетании с отдельными слогами других слов в свою очередь образовывали новые мнимые слова, отличные от исходных. Происхождение всех указанных лексико-семантических образований особенно затемняется в связи с тем, что в языке обычно отсутствуют языковые элементы, послужившие непосредственной основой их возникновения, хотя это обстоятельство и не снимает того факта, что мнимые слова продолжают оставаться реальностью. Исследование подобных слов имеет огромную общетеоретическую важность, ибо дает возможность иначе оценить сферу действия и результаты известных фонетических, семасиологических и словообразовательных процессов. Отметим, в частности, что в ряде случаев ошибочное разложение слова привело к появлению новых (но по происхождению своему мнимых) словообразовательных элементов, например, в американском варианте английского языка: *alcohol-ic*, но также *alco-holic*, *worko-holic* «lookong for work», *tobacco-holic* «looking for tobacco»; *hamburger*, но также *ham-burger*, *beef-burger*, *cheese-burger*, *basket-burger*, *husky-burger*, *wimpy-burger* и др.

Нельзя упускать из виду и то, что мощным источником возникновения мнимых слов и значений является анаграмма во всех ее социально-лингвистических, идиолектных и территориальных разновидностях, особенно в сочетании с акронимией. Интересно, например, что известное «магическое» сочетание букв ἀβρασαδαβρα и связанное с ним ἀβράξας, независимо от того, имели ли они чисто символический смысл [эти сочетания обычно писались на особых табличках или каменных плитах в виде треугольника, образуемого одиннадцатикратной записью указанных комбинаций букв, причем каждая последующая строка содержала на одну букву меньше, чем предыдущая: подобные таблички и плиты использовались для изгнания лихорадки или как талисман (сумма цифрового значения букв составляла 365, т. е. количество дней в году)] или обладали каким-либо вещественным значением [было сделано немало попыток истолковать их в том или ином смысле: А. Якоби, например, считал, что перед нами др.-евр. фраза *abar-dak-dabar* «пусть он (демон) выйдет вон, как слово» («Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens», s. v.), а В. Бранденштейн сводил сочетание ἀβρασάδαβρα к греческим (из фракийского) словам ἄφρος «пена» и τέφρα «зола» — «Studies presented to J. Whatmough», 1957; ср. также: A. Dieterich, Abraxas, Leipzig, 1891; «Eranos», 44, 1946, стр. 326; «Genava», 22, 1944, стр. 116], безусловно, явились источником вполне обычных греческих слов: ἄβρα «любимая рабыня, наперсница» (ср. греч. αβρύνομαι «weichlich leben, groß tun, sich brüsten», «in Jugendkraft strotzen», ἁβρός «üppig, zart, weichlich») и αβαξ (из ἀβραξας) «доска (для счета, рисования, игры)». Не исключена возможность, что те же «магические» буквосочетания при определенной комбинации букв дали и такие древнегреческие слова, как ἀρά «Gebet; Fluch» и ἀρκέω «wehre, halte vor, schütze» (ср. лат. *Orcus*).

Можно полагать также, что в целом ряде случаев поляризация значений не имеет ничего общего с энантиосемией как лингвистическим процессом, а возникла в связи с языковым табу[12]. Интересно сопоставить, с одной стороны, лексемы, включающие в свой состав отрицательную частицу, но не имеющие отрицательного значения [ср. англ. *nice* < франц. *nice* «ignorant, foolish» < лат. *nescius*; русск. *невеста* (ср. литов. *vesti* «выходить замуж; жениться»); русск. *невод* (ср. нем. диалектн. *Wate*, *Wade* «рыболовная сеть», латыш. *vâds*, др.-сев. *vaðr*), франц. *enfant* «ребенок»

[12] Ср.: H. Werner, Die Ursprünge der Metapher, Leipzig, 1919.

< лат. отрицательного префикса *in* + *fans* (< *fāri*), букв. «не говорящий», ср. S. R. Levin, Negative contractions with Old English verbs, University of Pennsylvania, 1956], а, с другой стороны, лексемы, не допускающие сочетания с отрицательными частицами, которое в более ранний период развития языка было вполне возможно (ср. например, англ. *silly*, *short* и др.). Наряду с этим нельзя упускать из виду то обстоятельство, что отрицание, употребляющееся со сравнительной степенью во многих индоевропейских языках (ср. KZ, XLII, 167; IF, XXXII, 339; Archiv, 114, 358; IF, XXVIII, 236; ESt, XXXI, 265), в результате факультативности отрицательной частицы (ср. итал. *Maria è piu intelligente di quanto tu c r e d i*, но также *di quanto tu n o n c r e d a*) было ошибочно контаминировано со значением лексем, с которыми оно непосредственно соотносилось.

Как справедливо отмечал Ф. де Соссюр, «язык есть механизм, продолжающий функционировать, несмотря на все повреждения, которым его подвергают» [13]. В этой связи особенно показательны различные произвольные изменения формального облика слова — как сокращения (ср. русск. *деть*, также *о-деть*, *раз-деть* < *делать*; франц. *aller* < лат. *ambulare*), так и наращения [ср. франц. *grenouille* < лат. *ranunculus*, др.-франц. *renoille* — наращение возникло под влиянием галлором. *crassantus* «Kröte», франц. *graisset* «Laubfrosch»; франц. *brûler* < лат. **ustulare*, др.-франц. *usler* (IX в.) — наращение возникло под влиянием южно-франц. *bruizar*, *bruzar*; франц. *hideux* < др.-в.-нем. *eisde* (ср. также ZfromPh., XLIV, стр. 646, «Vox romanica», 1, стр. 47)]. Сюда же относятся и так называемые парные сочетания типа англ. *galley-proof*, *ewe-lamb*, *court-yard*; франц. *cabaret borgne*, где последнее слово (< др.-франц. (*ca*)*borgne*) синонимично первому и представляет собой синкопу в связи с гаплологией (естественно, оно не имеет ничего общего с совр. франц. *borgne* «кривой»); *canard boiteux*, где первое слово (т. е. фактически *cagnard*, *cagneux*) является синонимичным второму (откуда и *canard*); *anicroche* < др.-франц. *ain*, *hain*, *haim* (< лат. *hamus*) + *croche* (ср. «Neophilologus», 1956, 3, стр. 230).

Если слова, обусловленные табу, становятся заимствованиями или источник таких слов забыт, то они превращаются в мнимые слова в заимствующем языке: поиск фонетических и семасиологических соответствий в близко- и неблизкородственных языках в этих случаях становится напрасным. Ср.-англ. *ille*, *ill* (др.-сев. *illr*, совр. англ. *ill*) «больной; плохой, скверный» представляет собой, очевидно, германское заимствование латинского слова *illāc*, употребленного по соображениям табу вместо слов со значением «болезнь, страдание, смерть» и первоначально означавшего «туда! прочь!» (как заклинание болезни). Ср. лат. *illīc* «там (т. е. на том свете)». Ср. еще англ. диалектн. *eely*, *ely* «to disappear, to vanish» (EDD, II, 250), швейц. нем. *ilich* «hübsch» (*ili Händli* «die rechte Hand»). Указанное латинское слово, неверно понятое переписчиками, дало начало двум весьма распространенным ныне германским словам — корню, представленному англ. *ill*, и корню, представленному англ. *lack* (ср. совр. швед. *elak*). Ср. этимологию нем. *übel* (Kluge, s. v.) [14]. Происхождение англ. *sick* (нидерл. *ziek*, др.-сев. *sjukr*, совр. нем. *siech*) проясняется на фоне того интересного факта, что в ряде современных немецких диалектов *-sich* употребляется со значением направленности движения (подобно ссвр.

---

[13] См.: Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 93.

[14] Нем. *übel*, англ. *evil* возводятся, как известно, к и-е. **upo* «von unten hinauf» (ср. др.-инд. *upá*, греч. ὑπό). Ср. англ. *up*, но *uppish*; лат. *super*, но *superbia*. В свете приведенных данных можно полагать, что немецкое слово *eilen* «спешить» также является мнимым, в связи с чем вряд ли есть необходимость реконструировать общегерманский этимон этого слова (см.: K l u g e, s. v.: др.-в.-нем. *illan*, др. сакс. *ilian*, общегерм. **ijilian*).

нем. *-wärts*): *über-sich* «gerade aufwärts», «nach oben», *umb-sich* «ringsum», *für-sich* «vorwärts», *wider-sich* «rückwärts» (Staub — Tobler, VII, s. v.). Ср. глоссы: *sanare* (*sarrire*). *sechin*; *sarrire.reyn machen. besniden* (Diefenbach, 510). С этим последним словом ср. англ. диалектн. *to sock* «to strike, to thrash», шваб. *socken* «schlagen, prügeln» (ср. M. Leuman, *Heilen* «castrieren» und *sanare* «heilen», Zfvergl. Sprf., 67, 1942). Ср. эвфемизмы: англ. диалектн. и сленг *to sock* (ср. нем. диалектн. *sochen* «krank sein») «to win, to get credit», шваб. *gesockt* «abgewonnen», *Socke* «Geliebte, Schatz» (Fischer, s. v.), *sochen* «schmeicheln», англ. диалектн. *socher* «to make much of one's self» (Warrack, s. v.). С другой стороны, возникновению слова *sick* «больной» могло способствовать и то обстоятельство, что лат. *sic* обычно стояло в начале магических формул, заклинаний, молитв и т. д. [15].

Исследование показывает, что лингвистический анализ, основанный на предпосылке о сплошной системности, неизбежно ошибочен в какой-то своей части. В самом деле, те процессы, которые «должны» произойти в языке, далеко не всегда осуществляются, а народная этимология и случайные или ненормативные явления нередко лежат в основе подлинной истории слова. Именно поэтому в этимологии важно выяснить не то, к чему «должно» восходить данное явление, а то, чем оно р е а л ь н о обусловлено. Игнорирование ненормативных и асистемных явлений в языке ведет к искажению исследуемых фактов и в значительной мере суживает, упрощает (или, наоборот, усложняет) рамки исследования, не позволяет рассматривать язык во всех его аспектах и ракурсах и односторонне ориентирует исследователя только на определенную плоскость, определенную грань языкового комплекса. В связи с этим первостепенную важность приобретает не только решение вопроса о «сопоставимых» и «несопоставимых» языках, но и выяснение неодинаковых возможностей, условий и уровней сопоставимости даже в пределах одного языка и, в частности, выяснение вопроса о том, допускает ли данный смысл данное фонетическое сопоставление, а данный фонетический состав — данный смысл. Необходимо иметь в виду следующую антиномию: анализ семантики отдельного изолированного слова обычно не может дать объективного представления о причинах и сущности преобразований его значения, но, с другой стороны, комплексное исследование определенной части лексики нередко не может вскрыть специфики развития каждой отдельной лексемы.

В связи с тем, что многие сопоставляемые при фонетическом методе лексемы в том или ином виде засвидетельствованы только в рукописях, огромную важность имеет исследование определенных традиций переписки [16], в свете которых «фонетические соответствия» нередко предстают не как языковые закономерности и изменения, а как рукописные варианты, причем традиционно подразумеваемый принцип соответ-

---

[15] Различные точки зрения на происхождение слов *ill* и *sick* см. соответственно: J. d e V r i e s, Altnordisches etymologisches Wörterbuch, Leiden, 1962, стр. 285; е г о ж е, Nederlands etymologisch woordenboek, Leiden, 1971, стр. 863—864. Ср. также: W. B e t z, Der Einfluss des Lateinischen auf den althochdeutschen Sprachschatz, Heidelberg, 1936.

[16] Ср.: M. D a u n t, Old English sound-changes reconsidered in relation to scribal tradition and practice, «Transactions of the Philological Society», Oxford, 1939; H. P e n z l, Konsonantenphoneme und Orthographie im althochdeutschen Isidor, «Mélanges de linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam», Paris, 1959; N. D a v i s, Scribal variation in fifteenth-century English, там же; R. W. B u r c h f i e l d, The language and orthography of the Ormulum MS., «Transactions of the Philological Society», Oxford, 1956; E. B a u e r, Möglichkeiten zur Veränderung von Texten, «Sprachwissenschaft», 3, 1976; F. M. K e l l y, The origin of the use of *i* as a sign of length in Middle Scot, Columbia University, 1957.

ствия одной буквы одному звуку [17] речи нередко оказывается ошибочным. Кроме того, исключительное значение имеет анализ ошибок при переписке и соответствий ошибочных вариантов букв и орфографических вариантов в рукописях. Так, М. Донт убедительно показала, что англо-саксонские писцы, пользовавшиеся не только латинской, но и ирландской системой письма, нередко использовали гласные *i*, *e*, *u*, *a*, *o* в качестве диакритиков, указывающих на бо́льшую или меньшую твердость согласных, перед которыми или после которых они ставились (о том, что гласные могли использоваться как диакритики, свидетельствует и тот факт, что в средненемецких рукописях они используются для различения качества звука, над которым ставятся), в связи с чем вряд ли можно говорить о таких звуковых процессах («законах») в древнеанглийском, как преломление, палатальная дифтонгизация и умлаут. В этой связи становятся понятными и такие типичные для нортумбрийских текстов написания, как *deiȝlice* (рядом с *deȝlice*), *seisto*, *reihtniss*, *ȝebreinȝendum* и др. Спорным до сих пор остается произношение готских диграфов *ai*, *au* и латинского *ae*.

В настоящей работе рассмотрены некоторые случаи, когда при идентификации того или иного слова вообще нельзя опереться ни на «фонетические законы» (или их роль оказывается второстепенной), ни на возможные семасиологические преобразования.

I. В ряде случаев в результате контаминации созвучных слов в латино-германских глоссариях эти лексемы получают совершенно несвойственное им значение [18]. Если же промежуточные звенья такой контаминации оказываются утраченными, то при установлении семасиологических связей соответствующих слов (и, в частности, лексем, синонимичных тем, которые контаминированы) неизбежна идентификация слов, не имеющих между собой ничего общего, хотя соположение таких слов и может поддерживаться фонетическими соответствиями.

Одним из наиболее спорных в семасиологическом отношении слов в германских языках является нем. *Weib*, англ. *wife* и др. Так, Шрадер возводит это слово к санскр. *vip*-«begeistert sein», Бецценбергер — к и.-е. * *vei/k/-po* (санскр. *viçpati* «Herr»), а Клюге — Митцка — к и.-е. * *ueip* «drehen», представленному в гот. *biwaibjan*, др.-сев. *veifa* «unwickeln». Обратимся однако, к материалу средневековых латино-немецких глосс и рассмотрим этот вопрос более подробно.

Вульг.-лат. *vernaculus* в глоссах уравнивается с *vermiculus* — Diefenbach, стр. 613 [19] (интересно, что в нижненемецких диалектах слово *Käfer* означает «девушка» — Buurman, 6, стр. 5). Лемма *vernaculus* глоссируется средненемецкими словами *maget*, *mayt*, *meyt*, *maytsen*, а также *knecht*. Синонимы же *vermiculas* глоссируются следующим образом: *scarabaeus* — *wiber*, *keffer*; *curculio* — *wubbel*, *wibil*, *wybel* (Diefenbach, 163). Один из вариантов *curculio* — *cartulio*, контаминируемый с *cartulositas*, — ср.-нем. *liste* (Diefenbach, 103). Синонимом же *liste* в вульгарной латыни является *dolus*: *list*, *betregunge*, *betriegung*. В свою очередь *dolus*, безусловно, контаминируется с вульг-лат. *dula. i ancilla* (Diefenbach, стр. 192), глоссируемым как *magit*, *mayd*, *maecht* «девушка» (Diefenbach, стр. 33). С другой стороны, в качестве леммы ср.-нем. *list*, *betregunge* выступает *pellarius. i pellax*: *bedriegunge*, *betruglich* (Diefenbach, стр. 421). Вариант же *pellarius* — *pellex* глоссируется *kepß-weib* (*pellex* также контаминируется с

---

[17] Ср. K. Luick, Historische Grammatik der englischen Sprache, Oxford, 1964, § 53.

[18] Ср.: М. М. Маковский, Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях, ВЯ, 1977, 3.

[19] L. Diefenbach, Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis, Francofurti ad Moenum, 1857.

pellicium (Diefenbach, стр. 421): *pellicium. i vestis de pellibus facta. deceptio*); синоним *pellex* — *concubina* глоссируется *kebis wip*, *kefse*, *kebs weyp*. Любопытно, что *curculio* варьирует с *capito*, а это последние с *gracius* (Diefenbach, стр. 97), т. е. очевидно с *grauia. i gratuita. mulier pregnans* (Diefenbach, стр. 269). С этой последней глоссой следует сравнить *ganeo* (вариант *graneo*). *hurer* (Diefenbach, стр. 257), а также *ganea. hure* (там же). Ср. также вариант *curculio* — *capito*, глоссируемый *gauata*.

Таким образом, можно констатировать, с одной стороны, контаминацию значений слов, глоссирующих лемму *vermiculus* (*curculio*) — *wiber*, *keffer*, и, с другой, слов, глоссирующих соотносимое с этой леммой *vernaculus* «девушка». Это смешение поддерживалось особенно в связи с контаминацией соответствующих германских слов: др.-в.-нем. *mado*, ср.-в.-нем. *mayde* (Diefenbach, стр. 579), нем. *Made*, др.-англ. *maða*, *maði* (ср. совр. англ. *maggot*) «червь» и др.-в.-нем. *maget*, ср.-в.-нем. *maget*, *mayt*, *meyt* (совр. нем. *Mädchen*) «девушка». Не подлежит сомнению, что нем. *Weib* по своему происхождению является мнимым словом, возникшим в связи с контаминацией слов *wiber*, *keffer*, глоссирующих *vermiculus* (*scarabaeus*, *curculio*), со значениями уравниваемых с этими последними лемм *cartulio*, *dolus*, *pellex*, *ganea*, *concubina*, ошибочно глоссируемых теми же лексемами — *kefse weyp*, *kebis wip*, *kepβ weyp*.

Интересно, что латинское *vermis* (которое, как мы видели,часто глоссируется через ср.-нем. *wif*) контаминируется с *veruex* (см. Diefenbach, s. v.), а это последнее соответствует лат. *buggens*, *bigens*, *spado*, *hermaphroditus*. В этой связи становится понятной следующая древнеанглийская глосса: Wrt. Voc. I, 161, 11: *hermaphroditus. waepenwifestre*. Ср.др.-в.-нем. *wibello*, *wivello*, *widillo* «hermaphroditus». В этом случае перед нами, очевидно *wif* в значении «vulva», противопоставляемое *waepen* «membrum virile». Ср. нем. диалектн. *Weitling*, *Weiding*, *Wädlen*, *Widing* «Gefäss» (др.-в.-нем. *bahweiga*, *bahweida*). Ср. также др.-в.-нем. *waben*, *wapp* «Hönigscheibe», а также нем. арго *Wedl* «Dirnenkunde» (S. Wolf, Wörterbuch des Rotwelschen, s. v.). Ср. еще глоссу у Дифенбаха (стр. 613): *vernaculus. ł vermiculus. kneht. eigen*, *schlecht* (пейоративная функция). Ср. бавар. *Knüchtel* «Prügel» и др.-англ. *wifel*, *wifer* «an arrow, dart, javelin» (Hpt. Gl. 432, 45, 53; 405, 52—55); Prompt. Parv. 526: *Wyfle*, *wepene. bipennis*. Ср. в связи с этим соотношение семантики латинских *virga* ~ *virgo* (ср. IF, 50, 2, 1932, стр. 132; PBB, 41, 1916, стр. 182).

Вполне правомерно допустить, что, разлагая синонимы *pellex* и *dolosus* — *fraudulenter*, *fraudula* — на две части и приравнивая их по значению, глоссаторы ошибочно принимали *frau* за германское слово, глоссируемое лат. *dula*: ср. *dula. dulia. ancilla. (h)abra* (Diefenbach, 192); *virago. friedela. wyp. fraw*.

Слово *abra* (из греч. ἄβρα) глоссируется как *dienst-mayt* (Diefenbach, 4). Интересно ошибочное слияние латинского и немецкого слов *arbaswurm* (Diefenbach, 517), что лишний раз подтверждает контаминацию *vernaculus* и *vermiculus*. Весьма любопытна следующая контаминация, произошедшая параллельно с указанной выше. Латинская лемма *mane* глоссировалась в средненемецком *vruo* (др.-в.-нем. *fruo*, *frua*, *frô*, *froâ*, совр. нем. *früh*). При этом лат. *mane*, несомненно, контаминировалось с др.-в.-нем. *man* (совр. нем. *Mann*) «человек, мужчина». В этой связи показательно глоссирование латинских лемм *matrona*, *domina*, *dominatrix*, *mulier* мнимым словом *vrou* (внешне сходным с *vruo. mane*; ср. также др.-англ. *fréa* «dominus» и *fréa* «mane»), с одной стороны, и словом *vir* — с другой (O. Schade, Altdeutsches Wörterbuch, I, стр. 229). Любопытно, что в современных немецких территориальных диалектах слово *Mensch* употребляется в значении «девочка, девушка» (особенно в нижней и верхней Австрии:

«Deutsche Wortatlas», IV, 1955); в значении «девушка» употребляется и слово *Wicht* «Person» (ср. также англ. диалектн. *wight* «an individual, a person»). Ср. также англ. диалектн. *maid* «a child of either sex»[20]. Отметим, что нем. *Frau*, как и слово *Mann* (т. е. фактически лат. *mane*), с которым оно ошибочно уравнивалось в глоссах, выступало первоначально в мужском роде (др.-в.-нем. *frō*, др.-англ. *fréa* — мужской род). Женский род немецкого *Frau* обусловлен тем, что это слово с помощью словообразовательного форманта *-a* в древневерхненемецком было образовано от существительного мужского рода: *frō*>*frouwa*. Кроме того, женский род слова *Frau* мог в определенной степени быть обусловлен женским родом латинских лемм, которым оно соответствовало в переводных памятниках. С момента своего появления в языке и вплоть до наших дней слова *Weib*, *Mädchen* и *Mensch* (в значении «девушка») выступают в среднем роде. Как известно, средний род в немецком языке (да и в других индоевропейских языках) является наиболее «общим» и неопределенным родом, в котором часто выступают слова необычные, не совсем усвоенные системой языка [21]. Хотя слова *Weib* и *Mädchen* в ходе развития немецкого языка прочно вошли в его систему, их первоначальная родовая характеристика осталась прежней. В этимологических словарях немецкое слово *Frau* обычно возводится к др.-инд. *pūrva-* «первый», *pūrvya* «ранний».

Вульгарно-латинская лемма *dolium* (*doleum*), глоссировавшаяся через *but*, *butten*, контаминировалась писцами с созвучной ей леммой *dolus* [Diefenbach, стр. 187: *dolus. list*, но также *zuber* (*dolium*)]. При этом в средневековых германских глоссариях *but*, *butt* имеет следующие графические варианты — *buzius*, *buzca*, *bot*(*t*)*a*, *bussa* (Latham, стр. 61). В частности, лемма *dolus*, с которой контаминировалась лемма *dolium*, глоссируется и как *boeser* (*anschlag*), *beß* (*list*), а это ошибочное образование, несомненно, легло в основу совр. нем. *böse* «злой». Таким образом, перед нами мнимое немецкое слово, возникшее благодаря контаминации указанных лемм и глосс, но уже получившее значение леммы *dolus*. Интересна в связи с этим латинская глосса *busa. i. despectus. i. q. buzi.* К тому же корню, несомненно, относятся и такие (тоже мнимые по своему происхождению) слова, как поздне-др.-англ. *bisig*, *bysig*, совр. англ. *busy* (слово это не имеет этимологии, хотя Хольтхаузен связывает его с лат. *festinare* «eilen»), нидерл. *bezig*, швед. диалектн. *bös* «wild, verwegen, hochfahrend», норв. *baus* «stolz, keck», шваб. *bisen* «wild umherrennen (von Vieh)» — Fischer, I, стр. 1338; эльзас. *bisen* — Martin — Lienhart, II, стр. 101; швейц. *bisen* (то же) — Staub — Tobler, IV, стр. 1684. Ср. также в итальянских диалектах: ломб. *bezéy*, эмил. *bezíu*, *bžiy*, лиг. *beziġu*, венециан. *biziyo* «Stachel (der Biene)», милан., бергам., парм. *besià*(*r*) «stechen», «lebhaft werden», *besiadura* «Schwellung» [22]. К тому же корню относится др.-франц. *beser*, *besiller* «s'effaroucher; courir ça et la; tourmenter, maltraiter; ravager, détruire», а также англ. *to* (*em*)*bezzle*, которое первоначально означало «to impair». Интересно, что среди вариантов *butt* имеются и следующие: *bussardus*, *buzzardus* (Latham, стр. 60). В свете этих данных и учитывая значение указанных выше слов, глоссирующих *dolus* (*böse* и

[20] Ср.: H. Bäck, The synonyms for «child», «boy», «girl» in Old English, Lund, 1934; L. Frei, Die Frau in der schweizerdeutschen Volkssprache, Zürich, 1935; M. Keller, Die Frau und das Mädchen in den englischen Dialekte, Zürich, 1938.

[21] Ср.: G. Bonfante, L'animismo nelle lingue indeuropee, «Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift A. Debrunner», Bern, 1954; J. Lohmann, Genus und Sexus, Göttingen, 1930; A. Rosetti, Sur la catégorie du neutre, в сб. его работ: «Linguistica», The Hague, 1965; L. Hjelmslev, Animé et inanimé, personnel et non-personnel, «Travaux de l'Institut de linguistique», I, Paris, 1956.

[22] «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 199, Jg. 114, Hf. 4, стр. 229—230.

др.), становится понятным происхождение и значение весьма спорного слова *bizzare*, распространенного в ряде европейских языков: англ., франц. *bizzare*, исп. *bizarro* «gallant», brave», итал. *bizarro* «capricious» (ср. итал. *bizza* «Zorn») [23]. Др.-англ. *rūm*, др.-в.-нем. *rūmi*, др.-сев. *rūmr*, гот. *rūms* (ср. совр. англ. *room*, нем. *Raum*) могли означать не только «пространство», но и «вместилище, сосуд» [ср. совр. нем. диалектн. *Riehm(en)*, *Riemen* «Gefäss» [24], вульг. лат. *rumo* «packing material» (Latham, s. v.), голл. *ruim* «трюм» (на корабле)], в связи с чем указанные слова были синонимичными вульг.-лат. *butt* и его вариантам *bussardus*, *buzzardus*. Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что англ. *rum* (первоначально оно было распространено только в сленге), как и *bizzare*, приняло значение «странный». Ср. также шваб.-нем. диалектн. *rumsen* «brunstig sein» (Fischer, s. v.), англ. сленг *rum* «good, excellent; valuable; handsome; dexterous» (Partridge, s. v.) [25]. Ср., с другой стороны, в американском сленге: *rum*, *rummy* «poor, mean, contemptible» (L. Berrey, M. van den Bark, The American thesaurus of slang, стр. 31)

Немецкое слово *bunt* «пестрый», а также нидерл. *bont* «мех, шкура» (как и заимствованные рум. *bunde*, венг., серб.-хорв., чеш. *bunda*) принято возводить к лат. *punctum*, причем значение «мех» считается семантическим вариантом к «пестрый» (Kluge — Mitzka, Et. Wb. der deutschen Sprache, стр. 111). Я. Гримм в своем словаре соотносит это слово с *Bund* (от *binden*). Дело, однако, обстоит намного сложнее. В средненемецких глоссах, собранных Л. Дифенбахом, вульг.-лат. лемма *pella* контаминируется с *pellis* «шкура» и уравнивается со ср.-в.-нем. глоссами *bone. hutt*, *en bom. hutte* (стр. 421). Представленная в глоссах лексема *bone* ошибочна и используется вместо *bom* (ср. лат. *gamaria* = *ganiaria*). Лат. *pella* означает здесь «лукá (седла)»: ср.др.-англ. Txts. 88, 818: *pella. sadulfelgae* «the pommel of the saddle», исп. *pella* «a ball, anything made in a round form». Буква *e* в глоссах, как правило, варьировалась с *c* (ср. Diefenbach, стр. 584: *tineta* = *tincta*, *tinca* = *tinea* и др). В свою очередь буква *c* в огромном количестве случаев варьируется с *t* (ср. OEGM, 40; *sitarcis*: *fecislun*, но Wrt. Voc 423, 3; *in sitharciis*: *in faetelsum*; Diefenbach, стр. 82: *brucus* = *brutus*, *famicus* = *famitus*, *occa* = *octa*, *tenca* = *tenta* и др.). Таким образом, вполне возможно возникновение в рукописях из варианта *bone* варианта *bont*, который, как мы говорили, приобрел значение своей леммы, а именно *pellis* «шкура». Буква *t* в конце слова *bone* могла возникнуть и из перечеркнутого *ł* (т. е. *vel*), непосредственно следующего за ним в глоссе. Весьма важна глосса *bonasus. i pellifex*. Слово *bonasus*, несомненно, контаминировалось с *bombasium*, *pannibasium* (Diefenbach, стр. 78), которое глоссируется ср.-нем. *wams* «запятнанный»: ср. англ.

---

[23] В специальной литературе это слово не имеет определенной этимологии. Испанские лексикографы связывали его с греческими и арабскими словами, а также с баск. *bizar* «борода». Другие этимологи возводят это слово к итал. *bizza* «гнев», происхождение которого, однако, остается темным (ср.: F. Schalk, Das Wort *bizzar* im Romanischen, «Etymologica. Festschrift für Wartburg», Tübingen, 1958, стр. 655). Наконец, ряд ученых считает возможным связать рассматриваемое слово с лат. *vitium*, *vitiosus* (ср.: F. Schoknecht, Die Bedeutungsentwicklung der Wortgruppe *vitium*, Rostock, 1930, стр. 78; H. Meier, Die Etymologie des Wortes *bizzar*, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 196, Jg. 111, Hf. 4, стр. 317).

[24] «Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen», III, Giessen, 1963, стр. 384.

[25] Указанная контаминация, очевидно, произошла уже в готских текстах (ср. гот. *frauja*), которые, как убедительно показали специальные исследования, в определенной своей части были переводом с латинского. См.: W. Henss, Leitbilder der Bibelübersetzung im 5. Jahrhundert, Heidelberg, 1975; G. W. S. Friedrichsen, The Gothic version of the gospels, Oxford, 1926; его же, The Gothic version of the epistles, Oxford, 1939; ср. также: М. М. Маковский, Пути реконструкции прототипа готских текстов, «Уч. зап. 1-го МГПИИЯ», XXVI, 1961.

bunting. В свою очередь *fex* в слове *pellifex* могло контаминироваться со ср.-в.-нем. *vēch* «пестрый», тем более, что и вульг.-лат. *fex* означало «запятнанный, нечистый» и глоссировалось также *bome* (Diefenbach, стр. 232). Отметим, что слово *pellifex* в глоссах варьируется с *pelli-farius* (Diefenbach, стр. 421), а *farius* глоссируется ср.-в.-нем. *bunt* (Diefenbach, стр. 225). Таким образом, перед нами не закономерный «семантический переход» («шкура» → «пестрый»), а смешение значений, возникшее благодаря ошибкам в рукописи. Ошибки же нельзя выявить с помощью закономерных соответствий, подобно тому, как и закономерные соответствия нельзя выводить на основе ошибок.

В др.-англ. глоссе Wrt. Voc. II, 82, 55 лат. *tabo* глоссируется как *hune vel adle* (ср. эльзас.-нем. диалектн. *Hünsch* «Geschwulst»). Однако синонимом *tabo* в глоссах было *bona*, вариант *boa. i. tumor pedem prae itinere*. В связи с ошибочной идентификацией *hun* с лат. *bonum* «хороший» вполне понятно возникновение мнимого слова *hund* «gut», распространенного в нижненемецком диалекте и в немецком арго (S. Wolf, Wörterbuch des Rotwelschen, стр. 140). Буква *d* в этом слове является избыточной, как и в англ. *sound* (<франц. *son*).

В др.-англ. линдисфарнских глоссах находим «загадочное» слово *word*—лат. *rubus* (Lk VI, 44; XX, 37). Слово это встречается в значении «virga» (Cambr. Psalter, 88, 32, 33), *uueard* находим также в значении «sandix» (Ep. Gl. 950). Указанное слово сближали с арм. *vard*, а также с араб. *ward*. Приводят также ср.-лат. *warantia* (>др.-франц. *garance*) «красный краситель». Рассмотрим, однако, фактический материал. Вульг.-лат. *occa* передается у Дифенбаха (стр. 391) *felh ł ear*. Синоним *occa* — *novalis* глоссируется *gerodet erde*, *gerut*, *gerute* (ошибочно воспринятые как ср.-в.-нем. *ruote*, т. е. *virga*). Обращаясь еще раз к *occa*, находим ошибочную глоссу — *genus coloris* (вместо *colonus*). Тем самым объясняется «загадка» со значениями указанных слов: перед нами известное др.-англ. слово *earth* «земля» с препозитивным артиклем (в глоссах *th* часто заменялось на *w*). К этому надо добавить, что в древнеанглийских рукописях лат. *occa* и *novalis* глоссируются через *wyrthing*: Wrt. Voc. 495, 20: *occa*: *wealh oðde wyrðing*; Wrt. Voc, 495, 21; *novalibus*: *wyrðelandum*. Ср. также в современных английских диалектах *worthing* «manure» (EDD, VI, стр. 547).

Немало домыслов возникло вокруг франц. *risque*, нем. *Risiko* и др., проникших в европейские языки лишь в позднем средневековье. Полагают, например, что это слово является романским заимствованием из греческого ῥίζα «корень», которое якобы впоследствии стало употребляться в значении «(подводная) скала», в связи с чем реконструируется гипотетический вульг.-лат. глагол **risicare* «Klippen umschiffen», откуда итал. *risco* (ныне *rischio*), франц. *risque*, исп. *riesgo*, др.-прованс. *rezegue*, нем. *Risiko*, а также итал. *rischiare* «Gefahr laufen, wagen», С другой стороны, взвешивается возможность соотношения рассматриваемого слова с араб. *rizq* «Lebensunterhalt, der von Gott und Schicksal abhängt».

Нам представляется, что становление рассматриваемого слова значительно сложнее: речь, видимо, идет о нескольких параллельных процессах лексико-семантической контаминации. Латинское слово *riscus* (из греческого) засвидетельствовано только в значении «корзина; сундук» (как и в греческом). Др.-в.-нем. *huot* [др.-сакс. *hod*, ср.-нидерл. *hoet*, тюринг.-нем. диалектн. *Hotze* «Wiege», (франц. *hotte* «корзина» — заимствование из германского)], эквивалентное по своему значению указанной латинской лемме, могло, несомненно, легко контаминироваться со своим омофоном др.-сакс. *huoti*, *hoti* «feindlich, erzürnt» (др.-франц. *hat*, др.-сев. *hatr*, совр. нем. *Haß*, англ. *hate*, др.-сев. *hoetta* «рисковать», совр. швед.

höta, норв. диалектн. *höta* «угрожать», *höt* «угроза»). Именно в связи с этим и лат. *riscus*, первоначально соответствовавшее только др.-нем. *huot* «корзина», было, видимо, ошибочно уравнено и с германскими словами со значением «угроза; опасность».

С другой стороны, есть основания полагать, что наряду с указанным процессом произошло и другое переосмысление. В средневековых латинских глоссах, собранных Дифенбахом, лат. *riscus*, кроме значения «корзина», выступает в несвойственном ему значении: *rima*, *ein loch*, *ein spalt*, *fenestra*, *scrinium* (ср. также швейц.-нем. заимствование *Rüsch* «Loch»). Объяснение этому явлению можно найти, если учесть, что в средневековых глоссах вульг.-лат. *riscus* уравнивается с вульг.-лат. *rifta* (Latham, стр. 409). Отметим, что лексема *huot* «корзина» (ср. др.-англ. *haet* «labrum» и др.), уравниваемая с лат. *riscus*, может выступать и в значении «Fürsorge, Bewachung, Schutz, Schaden verhindernde Aufsicht» (др.-в.-нем. *huota*, ср.-в.-нем. *huote*, др.-фриз. *hode*, *hude*; глаголы: др.-англ. *haedan*, др.-в.-нем. *huotan*, совр. англ. *heed* «observe», совр. нем. *hüten*, *Hutung* «pasturage»). Ср. лат. *defensio* < *de-fendere*, *fendere* [26].

Кроме того, вульг.-лат. *riscus* могло контаминироваться с вульг.-лат. *rixa* (Latham, s. v.): ср. швейц.-нем. *rusch* (лат. *riscus*) «aufgeregt, unfreundlich, brunstig, unwirsch» — Staub — Tobler, II, 1462, а также глоссу: *risia. fermentum*, *werck* — Diefenbach, s. v. Ср. в словаре О. Шаде (I, стр. 286): ср.-в.-нем. *geverc*, *geverch* «gefährlich» (ср. *risius* = *riscus*, Diefenbach, 499). Ср. швейц-нем. диалектн. *er-hueten* «Jmd. durchprügeln» (Staub — Tobler, II, 1792), *umen-hutten* «ringen (einander), herumstossen» (Staub — Tobler, II, 1779); *hotten* «treiben, sich unruhig hin und her werfen» (Staub — Tobler, II, 1772); *hueten* «wild wüten, stürmisch sich geberden mit und gegen einander» (Staub — Tobler, II, стр. 1779; в отношении значения ср. совр. нем. *fahren*, но *Gefahr*). Ср. с этим глоссу: *rima. i. pugna. slachting* (Diefenbach, стр. 498). Таким образом, в результате перекрестной контаминации лат. *riscus* «корзина» приобрело все значения лат. *discrīmen*.

Контаминация глосс — весьма частое явление, которое необходимо строго учитывать при семасиологическом анализе [27]. Приведем некоторые из них. На стр. 241 в собрании глосс Дифенбаха читаем: *fames. hunger*, но также *floß an einem visch* (контаминация греч. πεῖνα «голод» и лат *pinna*). Кроме того, *fames* уравнивается с *fomes* и глоссируется *lignum aridum. radix*. Лат. *cauilla* глоссируется как *betriegung*, но также и как *holcz-nagel* (из лат. *claviculla*). Лат. *ala* у Дифенбаха глоссируется *flogele. voghel*, но также *ritter* (контаминация с *alae*) и *turma. schar* (смешение с *asalla*). Глосса *mal-ignus* разлагается на две части, вторая из которых уравнивается с *ignus* и переводится: *einer der da brint in bosheit* (Diefenbach, стр. 344). К лемме *sunamitas*, *captiua ł peccatrix*, наряду с закономерными глоссами *dieren*, *unselige*, *irre wustunge*, *gefangener o. vester* приводятся ошибочные *ghe wangen*, *wangen rot*, основанные на созвучии с *gefangener* (Diefenbach, стр. 566). Латинская лемма *cremium. holocaustum* — глосса ср.-в.-нем. *griebo*, *offer* уравнивается с *cremeum. i. surculus*, *racemus*, а также с *gremium. schoß* (Diefenbach, стр. 156, 269). Интересна контаминация глосс и

[26] С точки зрения семантики ср. Diefenbach, стр. 426; *periculum*, *sorge*, но также *var*, русск. *опасность*, *опасный*, но русск. диалектн. *опасный* «осмотрительный, осторожный», укр. *опас* «опасность», но также «охрана», др.-русск. *опасно* «внимательно, осторожно»; ср. еще: др.-англ. *pleoh* «risk», но др.-в.-нем. *pflicht* «care» (Buck, s. v.), ирл. *gābadh* «care», но также «danger» («Language», XIII, 24).

[27] Контаминация в глоссах по сущности своей не равносильна контаминации слов, происходящей нередко в процессе развития языков и затемняющей их значение: Ср.: U. Behr, Wortkontamination in der neuenglischen Schriftsprache, Würzburg, 1935; W. Petersen, Some Greek examples of word-contamination, AJPh,56, 1935.

лемм, проводимых на стр. 240 и 266 глоссария Дифенбаха: *flos* уравнивается с *glos* и глоссируется и как *blume*, *blum*, и как *bruoderswib*: *gloris. bruders wyb ł flos ł vetus lignum splendens in nocte. blumme*; ср. также *glossis. holcz.* Лат. *vola* (видимо, контаминация с др.-в.-нем. *fola* «жеребенок») уравнивается в глоссе с *equa*, но толкуется и как *concauitas manus, pedis*, а также как *fructus cuj. arboris.* Отсюда самые различные по семантике глоссы указанной леммы: 1) *der gauff, der mittel in der hant o. in den fiessen, tanar ł terren, thern in der hant ł schwiel* (*terren* — контаминация с греч. θέναρ, т. е. *vola manus*), но также 2) *perde, pferd* и 3) *ein quite, pforsich* (Diefenbach, стр. 628). Ср. также контаминацию в глоссе: *rancere* (*rangere*). *i. fetere. i. irasci. stincken, czorn, czornig.*

II. В большом количестве случаев в глоссах представлены резко отличные друг от друга в фонетическом отношении варианты одного и того же слова, которые в случае отсутствия промежуточных звеньев могут сделать это слово неузнаваемым и привести к установлению неверных фонетических сближений и несуществующих соответствий. Так, в глоссарии Дифенбаха находим следующие варианты: *ıebellus, sebalus, cebelus, sabelus, leuillus.* Интересно, что все эти слова глоссируются в немецком также лексемами с вариантным фонетическим составом: *zabel, zobil,* (*beltzes*) *zagel* (стр. 574). Лат. *salpix, sapix* глоссируется и как *duge*, и как *dube* (стр. 508). Лат. *clauus* имеет вариант *clamis* (стр. 126); *coxa — coura, cera*; *flaudula — frandiola* (стр. 246); *frisia — frigia* (стр. 247), *madulla — macula* (стр. 342); *bubo — bulio, bufo* (стр. 82); *bulimus — delismus* (стр. 84), *ceix — cedex, cerex, corex, ceges, segex, ciar, coyes* (стр. 110).

Лат. *custis* имеет варианты *fustis, cuspis.* Лат. *terma* варьирует как *turmius, tarmus* (стр. 579), *timpus, tympus* и чередуется с *tempus.* Лат. *doma* глоссируется ср.-в.-нем. *first, forst, wers, furst.* На стр. 553 у Дифенбаха находим следующие варианты: *stiria, sciris, surria, sauria, tiria, stigera*, а на стр. 233: *fiscedula, spiscedula, fecidula, sincedula, cincedula*; *damus* имеет варианты *dacus, dapax, dopax, dedax.*

Ошибочные замены букв в рукописях — типичное явление. Можно наметить даже целую гамму таких ошибочных «соответствий», которые «конкурируют» с фонетическими соответствиями — *l* > *f*: Wrt. Voc. 496, 9: *gewilsaelig. fortunatum*, но Wrt. Voc. 406, 3: *fortunatus, gewifsaeli*; *i* > *t*: Ср. Gl. LV, 393, 37: *soltum* = *solium*, 332, 66: *sirecto* = *strecto*; *c* > *g*: F 287: *folligantes* = *follicantes, sangit* = *sancit*; *l* > *r*: H. 139: *holioglapha* = *holographa*; IV 521, 43: *gradiotores* = *gladiotores*; O. 46: *obsculatio* = *obscuratio*; *l* > *b*: Ср. Gl. F. 405: *lugulre*= *lugubre*; V, 301, 47: *solita*= *sobita*; *g* > *t*: Ср. Gl. LIV, 140, 14: *gegmina* = *tegmina*; 248, 45: *inergia* = *inertia.* В рукописях, однако, можно обнаружить и много «незакономерных» ошибочных соответствий (типа *bada* вм. *hada*, *srig* вм. *frig* и др.).

Фонетическая вариативность не является, однако, только уделом рукописей, где она чаще всего является результатом ошибки. И в живой речи, особенно в диалектной или в социально окрашенной, фонетические варианты — весьма частое явление [28]. Ср., например, нем. арго: *Miß, Moß, Meis, Mese, Mais, Maus, Mosch* «девушка», *Moos, Mees, Maas, Mous* «Geld» (S. Wolf, 3671); *Maure, Moure, Murer, Maier* «Furcht; ruchbar gewordener Diebstahl; Lärm, Auflauf» (S. Wolf, 3465—3473). *Rosch, Rasch, Resch, Risch* «Kopf» (S. Wolf, 4624—4644), англ. диалектн. *mitch, mooch, mutch, moach* «to idle or loaf about; to pilfer» (EDD, IV, стр. 151), швейц. диалектн. *Röschi, Röspi, Rösti, Räuschi* (Staub — Tobler, VI, 1971). Однако, если подобные варианты зафиксированы в рукописях в виде hapax

[28] М. М. Маковский, О подвижных формативах в современном немецком языке, «Ин. яз. в шк.», 1967, 1.

legomena, они неизбежно ведут к фонетическим недоразумениям. К тому же орфография — не всегда надежный указатель истинного произношения [29].

III. С помощью фонетических соответствий нельзя анализировать опрощенные сложные слова или, наоборот, слова, внешне разлагающиеся на составные части, но в действительности представляющие собой простые лексемы. Приведем примеры. Французское слово *ruban* (впервые засвидетельствовано в XIII в.: *riban, reuban*) «лента» связывалась с нидерл. *ring-band* (Ф. Диц). Э. Гамильшег соотносит *ruban* с др.-англ. *rēod* «red» и др.-сакс. *band*. Во «Французском лингвистическом атласе» (ALF, 319) находим синонимы, означающие «стружка» («copeaux de rabot»): *frisons, vrillons, papillotes, freluches*, также *rifles, ribans, ripes*. Во французском языке имеется глагол *riper* «тереть; полировать», от которого и образовано *ripes* (ср. *riber* «строгать рубанком», *ribot* «рубанок»). Последнее соотносится с англ. *risp* «a carpenter's file» (ср. франц. *rispe*, ALF, 641), вост.-фриз. *ripse*, нем. диалектн. *rippen* (нем. литерат. *reiben*), нидерл., н.-нем. *ribben* (*ribbeln, rippeln*), англ. *rib* «an iron scraper» (NED, s. v.). Подобным же образом и франц. диалектн. *rifle* «стружка» соотносится с нидерл. *riffelen*, нем. *riffeln*. Таким образом, корень изучаемого слова восходит не к нем. *Band*, а к нем. *reiben*. Что же касается окончания, то перед нами обычный собирательный суффикс *-in, -ain* (<лат. *-amen*), например, в словах *levain, couvin, purin, crachin*. Ср. особенно *gratin* (от *gratter*), *rabotin* (от *raboter*) «стружка» [30]. Еще пример. В древнеанглийских глоссах, изданных А. Напиром (30, 2), находим слово *sweorsaga*, которое соотносится с латинской леммой *allec*. А. Напир считал, что перед нами сложное слово, состоящее из *sweord* «меч» и *sagu* (совр. *saw* «пила»). Хольтхаузен, основываясь на лемме *allec*, переводит это слово «Fischsauce». Обратимся к материалу. Указанная глосса встречается в «De arte metrica», где читаем: *as. ut facultas. c. ut allec.* Слова *ut* или *sicut* в древнеанглийском обычно глоссируется через *swe* (Vespasian Psalter), *swa* (уэссекский диалект). Др.-в.-нем. *ursaga* глоссируется через лат. *ratio* (Ahd. GL. II, 750, 31); *occasione* (Ahd. Gl. II, 750, 40: *occasione*: *ursaggo*), *executiones* («Kleinere altniederdeutsche Denkmäler», 1867, 57, 987). В латинских глоссариях *occasio* передается через *oportunitas* (CGL, VII, 12), *oportunitas* же глоссируется через *facultas* (CGL, 7, 25). Таким образом, перед нами не единое др.-англ. слово *sweorsagu* (с дифтонгом *eo*) и не сложное слово, а случайное слияние двух слов в рукописи — *swe* и *orsaga*, причем второе слово соотносится не с леммой *allec*, а с рядом стоящей леммой *facultas*.

*

Установление семасиологического тождества слов обычно направлено на выявление только регулярных, постоянно повторяющихся феноменов в языке. Именно соположение таких явлений считается не только необходимым и достаточным, но и единственным условием и основанием для идентификации тех или иных лексем и их значений. Подобная процедура, однако, неизменно носит односторон-

[29] Ср.: Th. Bynon, Swabian Umgangssprache, «Transactions of the Philol. Society. 1970». London, 1971, стр. 30; N. O. Waldorf, The Hapax Legomena in the Old English vocabulary, Ann Arbor. 1953; F. Martinazzoli, Hapax Legomena, Roma, 1953.

[30] В ряде специальных исследований показана неправомерность толкования «скрытых» сложных слов как однокоренных. Ср.: D. Götz, Studien zu den verdunkelten Komposita im Englischen, Nürenberg, 1971; E. Klein, Die verdunkelten Wortzusammensetzungen in Englischen, Königsberg, 1911; N. Törnquist, Zur Etymologie von nhd. *Ufer*, «Studia Neophilologica», 13, 1940—1941.

ний характер, ибо языку присущи не только соответствия, связи, (со)отношения, упорядоченность и симметрия[31], т. е. определенная системность, но и асистемность, т. е. наблюдаемое одновременно с системностью нарушение всех указанных характеристик: именно совокупность и неразрывное диалектическое единство этих характеристик в значительной мере определяет специфику и возможности существования и развития языка. Можно полагать, что если бы все звенья языкового континуума строго подчинялись только системным закономерностям, не терпящим исключений, то этого было бы достаточно, чтобы такая система сама разрушила себя изнутри. Асистемность находит свое выражение, в частности, в определенной гибкости языковой системы, способной, с одной стороны, включать в свой состав идиолектные[32] или возникшие благодаря ошибке лексемные и семантические образования и варианты (некоторые из них разобраны выше), рифмованные и «перевернутые» слова (ср. back slang в английском). Buchstabenwörter, акрофоны и акронимы, разного рода Streckformen, «нерегулярные» (маргинальные) фонетические и морфологические явления, а с другой стороны, элиминировать чисто системные образования в пользу этих последних. Именно поэтому при лексико-семантической идентификации важно принимать во внимание не только соответствия, но и определенные я з ы к о в ы е н е с о о т в е т с т в и я. Нельзя забывать также, что известные соответствия языковых реалий могут носить относительный характер при рассмотрении с точки зрения различных звеньев и уровней языковой системы. В языке можно выделить, с одной стороны, явления, которые представляют собой как бы «незакономерную закономерность» (т. е. явления, которые, вопреки своему незакономерному происхождению, все же являются закономерными для данного языкового состояния) и, с другой стороны, «закономерные отклонения от закономерности»— необходимо иметь в виду, что некоторые закономерности развиваются только в рамках незакономерных явлений, а некоторые незакономерные явления мыслимы лишь как продукт закономерных. Как справедливо отмечал в свое время Я. Гримм, все исключения суть последствия старых или предвестники новых правил[33]. Именно тот факт, что отдельные явления языка обычно не даны в «чистом виде», а представляют собой своеобразный «клубок» взаимодействия нескольких (как системных, так и антисистемных) факторов, нередко приводит к ошибке тех исследователей, которые хотят видеть в них одноплоскостные, разрозненные явления, вырванные из живой ткани языка.

Все сказанное не оставляет сомнения в том, что различные методы идентификации не только обладают неодинаковой доказательной силой в различных комбинациях и по отношению к различным элементам лексико-семантической системы, но и должны использоваться в различной последовательности. Наиболее существенными оказываются методы, дающие возможность обнаружить такие явления, которыми исследуемые слова н е о б л а д а ю т, или методы, которые направлены н а и с к л ю ч е н и е м н о ж е с т в е н н о с т и семасиологических решений: чем больше возможностей различных решений, тем больше неизвестных в решаемой лингвистической задаче. Особенно важно использовать данные филологического анализа: филологическая «родословная» той или иной лексемы, являющаяся непременным и первым условием всякой идентификации, на основе реальных и зримых фактов нередко позволяет обна-

[31] Ср.: W. F. T w a d e l l, Uses and abuses of symmetry, «Texas conference on linguistic analysis in English. Austin, 1958», Austin, 1962.

[32] Ср.: М. М. М а к о в с к и й, Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке, ВЯ, 1976, 1.

[33] См.: «Sprachpflege», 1961, 12, стр. 242.

ружить отсутствие фонетического или семантического соответствия слов, прежде чем исследователь встанет на путь поисков этих несуществующих соответствий, для чего ему обязательно придется произвольно истолковывать те или иные факты.

Семасиология — это не искусство толкования слов, не subtilitas intelligendi et explicandi [34], а важный раздел филологической науки [35], в которой, как и в прочих ее разделах, строгость анализа и ориентация на факты (в том числе и такие, которые не лежат на поверхности), на языковую реальность являются определяющими принципами. В этой связи не следует забывать, что любые принципы — не исходный пункт, а конечный результат исследования. Именно поэтому лингвистическая телеология (нередко скрываемая под благозвучным, но расплывчатым термином «система») так же мало может приблизить нас к пониманию происходящих в языке процессов, как и давно изживший себя атомизм.

[34] Ср.: U. J a p p, Hermeneutik, München, 1977.
[35] Ср.: Y. M a l k i e l, Etymology and general linguistics, «Lingua», 36, 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

К ТЕОРИИ ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Среди таких фундаментальных для современного языкознания понятий, как языковая семья, типологический класс языков и языковой союз, соотносящихся с тремя основными способами лингвистического описания — генетическим, типологическим и ареальным,— последнее по сей день остается наименее разработанным. До сих пор по существу не создано теории языковых союзов, если не считать отдельных ее набросков, встречающихся главным образом в работах представителей пражской лингвистической школы [1] (мнение, согласно которому тезис пражцев о языковых союзах был предвосхищен неолингвистами [2], едва ли возможно принять). Прямым следствием этого оказывается совершенно фрагментарная разработанность ареальной (в отличие от генетической и типологической) характеристики языков (которая усугубляется еще и тем фактом, что языки даже в условиях контактирования далеко не всегда образуют языковые союзы), а также ощутимые расхождения в позициях разных исследователей даже в отношении многих постулируемых языковых союзов (ср., например, полную неопределенность представлений о так называемом «кавказском» языковом союзе).

Н. С. Трубецкой, введший в научный обиход рассматриваемое понятие (ему же принадлежит термин «языковой союз»—«Sprachbund»), обратился к нему для характеристики некоторой совокупности языков, обнаруживающих существенное сходство в синтаксическом плане, в принципах морфологического строя, в некотором числе общих культурных слов, а иногда также и внешние аналогии в звуковой системе, но без обязательного сопровождения их закономерными фонетическими корреспонденциями [3]. Рассматривая позднее индоевропейскую языковую общность как результат конвергенции генетически различных языков, а не дивергенции первоначально единообразного праязыкового состояния, он постулировал шесть характеризующих ее структурных признаков (фонологических, морфонологических и один морфолого-синтаксический), что стало свидетельством его перехода в трактовке происхождения индоевропейских языков на позиции языкового союза [4].

По идее некоторых лингвистов последующего периода, понятие языкового союза, основанное на представлении о структурной конвергенции группы языков определенного ареала, должно было вообще заменить

---

[1] Наиболее систематическое ее изложение см. в кн.: H. Beckeт, Der Sprachbund, Leipzig — Berlin, 1948.

[2] Ср.: G. Bonfante, The neolinguistic position (a reply to Hall's criticism of neolinguistics), «Language», XXIII, 4, 1947, стр. 349.

[3] См.: «Actes du premier Congrès international de linguistes à la Haye (du 10—15 Avril 1928)», Leiden, 1930, стр. 18. Ср. его же более ранняю публикацию на эту тему: Н. С. Трубецкой, Вавилонская башня и смешение языков, «Евразийский временник», III, Берлин, 1923, стр. 107—123.

[4] См.: N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, «Acta linguistica», Copenhague, I, fasc. 2, 1939; русская версия — Н. С. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1.

собой понятие языковой семьи, немыслимое без признания факта материальной дивергенции языков. Однако уже одного того обстоятельства, что в первом случае исследование с необходимостью исходит из факта закономерной дивергенции исконно общего для языков материала, а во втором из факта структурной конвергенции языков безотносительно к исконному для них материалу, должно было быть достаточным, чтобы заметить, что понятия языковой семьи и языкового союза характеризуют совершенно разные стороны языковой действительности и не способны замещать друг друга. С установлением в дальнейшем целого ряда языковых союзов, никоим образом не совпадавших по своему составу с языковыми семьями, практика лингвистического исследования признала, что оба этих понятия не только не отрицают друг друга, а скорее, напротив, взаимно дополняются [5].

Меньше определенности в современной лингвистике по вопросу о соотношении понятий языкового союза и типологического класса языков, о чем красноречиво свидетельствует довольно широко распространенный взгляд, согласно которому языковой союз представляется объединением типологического порядка. Между тем, последняя точка зрения некорректна уже потому, что она по существу затушевывает самую специфику ареального исследования языков, произвольно отождествляя его подход с типологическим. Весь опыт истории изучения языковых союзов учит, что последние устанавливаются на основе той или иной совокупности структурных и некоторых материальных черт совершенно независимо от их типологической релевантности, без критерия которой невозможно типологическое изучение языков. Естественным следствием такого различия и оказывается принципиальное размежевание ареального и типологического исследования языков мира (смешению ареального и типологического подходов в немалой степени способствует то обстоятельство, что во многих работах типологическое исследование отождествляется с любым структурно-сопоставительным анализом).

Конвергентная природа ареальных объединений уже давно признана в специальной литературе. Об этом свидетельствуют, в частности, установившиеся в англоязычных исследованиях такие термины, как «лингвистическое пространство» (linguistic area), под которым подразумевается ареал конвергенции различных языков [6], и «ареальная группа» (areal group), приближающаяся по содержанию к понятию языкового союза [7]. Это подтверждается и известным высказыванием Р. Якобсона о том, что ареальный метод имеет дело со «сродством языков» [8]. В этой связи представляется целесообразным подчеркнуть нередко остающуюся в тени контактную обусловленность процессов языковой конвергенции, игнорирование которой способно породить неадекватные представления как о путях, так и о результатах ареальной конвергенции, т. е. породить в конечном итоге некоторые иллюзии о самой сущности языковых союзов. Дело в том, что только учет контактных оснований этих процессов позволяет констатировать весьма определенную последовательность тенден-

---

[5] Ср., например: G. Deeters, Vergleichende Sprachforschung. Lehrbuch der Völkerkunde, Stuttgart, 1937; U. Weinreich, On the compatibility of genetic relationship and convergent development, «Word», XIV, 2—3, 1958; Г. В. Церетели, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3.

[6] См., например: M. B. Emeneau, India as a linguistic area, «Language», XXXII, 1; 1956, стр. 16; его же, Dravidian and Indian linguistics, 1, Berkeley, 1962, стр. 32; C. P. Masica, Defining a linguistic area. South Asia, Chicago — London, 1976, стр. XI и сл.

[7] См.: J. Greenberg, Essays in linguistics, Chicago, 1961, стр. 67.

[8] Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 97.

ций структурного выравнивания, необходимо связанную с иерархическими отношениями различных уровней языка.

Таким образом, имеются основания надеяться, что специфика языкового союза как определенной ареальной группы языков станет полностью очевидной, если будет осознано, что каждый из трех названных выше лингвистических подходов (генетический, типологический и ареальный), независимо от других, обращается к остающейся идентичной самой себе структуре конкретных языков, каждый раз в соответствии со своими специфическими критериями — и, следовательно, по-разному, — группируя последние.

Возникает вопрос, каковы же те специфические критерии, которыми руководствуется ареальная лингвистика при постулации языковых союзов? Что является, в частности, эталоном соотнесения конкретных языков с тем или иным ареальным объединением?

Прежде всего следует, очевидно, отметить, что эти критерии не могут быть произвольными, поскольку в их роли способны выступать лишь те структурные признаки, которые действительно являются выражением конвергентных зависимостей, существующих между членами определенной языковой группировки.

Понятие языкового союза как совокупности языков, разделяющих некий комплекс разноуровневых структурных характеристик (охватывающих, по выражению В. Георгиева, «не только лексику, но и фонетику, морфологию, синтаксис и словообразование»), обычно с достаточной степенью убедительности иллюстрируется балканским материалом [9]. Именно такой комплексный критерий лежит в основе вычленения центральноазиатского (или гималайского), волго-камского и ряда других союзов [10]. Вместе с тем, в практике ареальных штудий встречаются случаи применения рассматриваемого понятия и к таким языковым образованиям, которые разделяют минимум структурных признаков, относящихся к какому-либо одному уровню языка. Так, Р. Якобсон уже в 1931 г. постулировал так называемый «евразийский» языковой союз, опираясь всего лишь на два фонологических признака: а) мягкостную корреляцию консонантных фонем (впрочем возможны серьезные сомнения в правомерности подведения, как это делает автор, под понятие мягкостной корреляции согласных тюркского диезного сингармонизма, охватывающего не согласные как таковые, а всю словоформу целиком, исключая тем самым мягкостную оппозицию на сегментном уровне) и б) «монотоническую» систему просодии, т. е. отсутствие фонологически значимых тоновых градаций [11] (эта идея Р. Якобсона была предвосхищена высказыванием Н. С. Трубецкого о «кавказском фонологическом союзе»).

Аналогичные примеры, относящиеся уже к недавнему времени, можно привести в области ареального исследования других зон. Так, известны случаи постулации «однопризнаковых лингвистических пространств»

---

[9] A. Seliščev, Des traits linguistiques communs aux langues balkaniques: un balkanisme ancien en bulgare, RÉSl, V, 1925; Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique, Paris, 1930; В. Георгиев, К вопросу о балканском языковом союзе, «Новое в лингвистике», VI, М., 1972 (особенно — стр. 402 и сл.); H. W. Schaller, Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanphilologie, Heidelberg, 1975 (особенно стр. 46).

[10] См., например: Б. А. Серебренников, О некоторых отличительных признаках волго-камского языкового союза, в кн.: «Языковые контакты в Башкирии», Уфа, 1972.

[11] См.: Р. Якобсон, К характеристике евразийского языкового союза, в кн.: R. Jakobson, Selected writings. I. Phonological studies, 's-Gravenhague, 1962; ср. также: R. Jakobson, Über die phonologische Sprachbünde, TCLP, 4, 1931; его же, Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues, «Actes du IV Congrès international des linguistes», Copenhague, 1938.

(в английской терминологии «single-feature linguistic area», например, «эргативного пространства», «пространства счетных слов» и т. п.). «падежного языкового союза» и т. п. [12].

Следует отметить, что в подобных случаях имеет место по существу фигуральное использование термина «языковой союз» для обозначения некоторых одноуровневых структурных общностей различных языков. В этих случаях трудно говорить о действии необходимого для постулации самих ареальных отношений фактора языкового контакта, поскольку результирующее при этом «сродство», как известно, в первую очередь проявляется на уровнях лексики и синтаксиса и лишь через них проецируется на уровни фонетики и морфологии. В самом деле, едва ли возможно доказать, например, реальное контактное взаимодействие всего огромного числа языков, образующих «евразийское» ареальное объединение (можно напомнить в последней связи, что еще А. Мейе задавался вопросом, насколько гипотеза евразийского языкового союза может быть подтверждена соответствиями морфологического порядка [13]), не показав результатов конвергенции соответствующих языков на более высоких уровнях языковой структуры. Очевидно, именно в связи с этим В. Скаличка предпринимает в дальнейшем попытку расширить набор признаков евразийского союза за счет отдельных дополнительных критериев не только фонологического, но и синтаксического и отчасти лексического характера [14].

Думается, что в случаях очевидной привязанности той или иной структурной характеристики в разных языках к одному ареалу более адекватными были бы термины «структурная изоглосса», «структурная зона», а не «языковой союз». Сказанное в принципе может быть отнесено и к опытам постулации или доказательства языковых союзов на базе сопоставлений на уровне морфологии и синтаксиса [15], поскольку морфолого-синтаксические проникновения, как правило, не встречаются без лексического сопровождения.

Исходя из приведенных выше соображений, понятие языкового союза представляется естественным соотносить с совокупностью целостных языков того или иного ареала, объединяемых комплексом разноуровневых признаков — общностью некоторого фонда лексики, грамматических и фонетических черт, изоглоссы которых могут не всегда совмещаться, образуя, подобно явлениям, характерным для диалектного членения единого языка и группы родственных языков, «пучки изоглосс» и «зоны вибрации», которыми ареал языкового союза отграничен от других языков. Нетрудно заметить, что этот комплекс оказывается эталоном соотнесения конкретных языков с определенным ареальным объединением, играющим такую же роль, какую выполняет праязыковая модель по отношению к генетической семье языков или языковой тип по отношению к типологическому классу языков. Таким образом, напрашивается определение языкового союза как ареального класса языков, объединенных совокупностью разноуров-

---

[12] См., например: С. Р. Masica, указ. соч., стр. 12; В. Н. Топоров, Заметки по лингвистической географии Енисея. I. Из наблюдений над структурой падежной парадигмы, сб. «Лингво-географические исследования», М., 1973, стр. 7.

[13] См.: A. M(eillet), [рец. на кн.:]R. O. Jakobson, K xarakteristike evrazijskogo jazykovogo sojuza. 1931, BSLP, XXXII, fasc. 3, 1931, стр. 7; к критике понятия евразийского языкового союза см.: Т. С. Шарадзенидзе, Классификация языков и их принципы, Тбилиси, 1958, стр. 460—467 (на груз. яз.), 534 (русск. резюме).

[14] См.: V. Skalička, Zur Charakteristik des eurasischen Sprachbundes, AO, 1933, VI, 1.

[15] H. L. Klagstad, Towards a morphosyntactic treatment of the Balkan linguistic area, «American contribution to the V International Congress of Slavists», Den Haag, 1963, стр. 180; С. Р. Masica, указ. соч. Последняя работа представляет попытку определения границ ареала, базируясь на морфолого-синтаксических (преимущественно синтаксических) изоглоссах.

невых структурных и материальных признаков, возникших в ходе конвергентного развития.

Представляется, что насущные задачи теории языковых союзов состоят, очевидно, не только в том, чтобы привести терминологию ареальных штудий в более строгое соответствие с самим содержанием изучаемых ими отношений, но и в том, чтобы скоординировать конечные цели ареального исследования с генетическим и типологическим (мы уже не останавливаемся здесь на необходимости преодоления все еще встречающейся точки зрения, согласно которой явления языкового сродства трактуются в качестве всего лишь условного исследовательского построения).

Совершенно очевидно, что если недостаточно ясными остаются некоторые общие аспекты теории языковых союзов, то тем более неопределенным образом рисуются в настоящее время многие ее частные вопросы. Неясны, например, принципы ареального соотнесения языков, параллельно обнаруживающих структурные соответствия двум языковым союзам (ср., в частности, обнаруживающие некоторые характерные кавказские и балканские черты лазский и армянский языки). Совершенно неразработанным остается вопрос о возможной степени структурной спаянности ингредиентов языкового союза, хотя в специальной литературе иногда говорят о его интенсивности или экстенсивности, в зависимости от числа объединяющих языки структурных изоглосс (все еще не послужил объектом сколько-нибудь серьезного доказательства и известный тезис В. Пизани о возможности формирования на базе языкового союза единого языка [16]). Далеко не всегда ясно, почему именно данная, а не какая-нибудь другая черта становится одним из дифференциальных признаков той или иной ареальной группировки. Наконец, почти совершенно не изучен и вопрос о соотношении ареальных объединений языков с так называемыми «культурными» кругами или зонами (хотя факт их несовпадения во многих регионах достаточно очевиден и отмечается исследователями).

В связи с поисками конкретных путей формирования языковых союзов следует коротко остановиться на возможном качественном различии элементов самого набора ареально закрепленных признаков, который служит критерием для определения принадлежности языка к тому или иному союзу. Такое качественное различие косвенным образом указывает на ту или иную вероятность наличия в данном ареале общего для рассматриваемых языков субстрата, а также на удельный вес его влияния на формирование языкового союза.

В тех многочисленных случаях, когда зафиксированные в ингредиентах языкового союза синтаксические и морфологические соответствия сводятся лишь к языковым средствам формального порядка (ср., например, функционирование предлогов или послелогов, препозиция или постпозиция артикля, линейные отношения членов предложения, конструкции намерения с оптативом или инфинитивом и т. п.), их происхождение может быть приписано как взаимным контактам соответствующих языков, так и воздействию общего для них субстрата. Обе возможности истолкования существуют и при межъязыковых совпадениях в фонемной синтагматике, в некоторых словообразовательных моделях и т. д.

В тех же случаях, когда черты сходства ингредиентов языкового союза затрагивают определенные глубинные структуры (следовательно, категории речевого мышления), способные приобретать весьма различное выражение на уровне поверхностных структур, то с большей вероятностью можно предполагать их обусловленность фактором воздействия общего — по

[16] Ср.: V. P i s a n i, Entstehung von Einzelsprachen aus Sprachbünden, «Kratylos», Jg. XI, Hf. 1/2, 1966, стр. 125—141; ср.: е г о ж е. К индоевропейской проблеме, ВЯ, 1966, 4.

крайней мере, типологически — для них языкового субстрата. В фонетике возникший на базе единого субстрата союз нередко характеризуется сходными произносительными навыками говорящих (при возможности различной по языкам фонологической интерпретации единообразных фонетических элементов).

Существуют основания думать, что именно таким образом должен был сложиться так называемый центральноазиатский, или гималайский, языковой союз, включающий языки Памира, Гиндукуша, Каракорума, Гималаев и смежных территорий [17]. Здесь при наличии некоторой общности фонетических и до известной степени фонологических систем, а также некоторого общего лексического фонда, словообразовательных моделей, синтаксических конструкций, имеется ряд черт, связанных с определенной глубинной структурой. Так, например, при профилирующем распределении глагольных лексем на транзитивные и интранзитивные, во многих языках этого ареала определенная группа семантически интранзитивных глаголов (обычно со значением «смеяться», «плакать», «чихать», «кашлять», «лаять», «кукарекать», многих глаголов движения, глаголов физических отправлений) структурно относится к транзитивным. Если сопоставить эту структурную «аномалию» представленных здесь номинативных и эргативных языков с различением в некоторых из них одушевленной и неодушевленной связки 3-го лица, инклюзивом вторичного происхождения в местоименной системе, случаями перестройки категории рода на классную основу и рядом других черт, основанных на глубинном противопоставлении активного и инактивного начал, то естественно предположить, что лингвистическим субстратом ингредиентов этого союза должны были служить языки активной типологии [18].

Такого рода глубинные характеристики в сочетании с совокупностью разноуровневых черт формальной структуры (ср. в фонетике — наличие церебральных, трехчленная оппозиция аспирации или ее отсутствие, противопоставление одно- и двухфокусных аффрикат, в морфологии и словообразовании — определенный тип преобразования местоимений множественного числа, троичная или пятеричная система дейксиса, вигезимальный тип словообразования числительных и т. д.) дают основания предполагать, что центральноазиатский языковой союз должен был сложиться в процессе наложения различных языков на типологически более или менее единый субстрат (архаическое состояние языков типа бурушаски) и отчасти — в ходе дальнейшего конвергентного сближения языков внутри отдельных зон этого ареала, вследствие чего в нем вычленяются различающиеся по генетическим и структурным характеристикам подареалы [19]. Определение границ этого союза и его основных структурных параметров происходит посредством выявления изоглосс различных поверхностных характеристик и черт контенсивно-типологического плана и сопоставления их размещения.

---

[17] Об этом союзе см.: В. Н. Топоров, Несколько замечаний к фонологической характеристике центрально-азиатского языкового союза (ЦАЯС), «Symbolae Linguisticae in Honorem Georgii Kuryłowicz», Wrocław, 1965; см. также: Д. И. Эдельман, *Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков)*, М., 1968, стр. 66—67.

[18] См. подробнее: Д. И. Эдельман, Структурные «аномалии» восточноиранских языков и типология субстрата, «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft», Jena, 1976, стр. 74—93.

[19] См., например: А. Л. Грюнберг, И. М. Стеблин-Каменский, Этнолингвистическая характеристика Восточного Гиндукуша, «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии», Л., 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

БОНДАРКО Л. В., ЛИЛИЧ Г. А., НИКОЛАЕВА Т. М.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ О Л. В. ЩЕРБЕ

В третий том «Трудов по истории славистики» («Práce z dějin slavistiky», III. Uspořádal doc. PhDr. J. Popela CSc. Praha, Universita Karlová, 1976, 138 стр.) вошли материалы научной конференции «Академик Л. В. Щерба и современное языкознание», которая была организована философским факультетом Карлова университета в декабре 1974 г. в связи с тридцатилетием со дня смерти ученого.

Две юбилейные даты — 30-летие со дня смерти Л. В. Щербы (1974) и приближающееся 100-летие со дня рождения (1980) заставляют — как это бывает в таких случаях — вновь обратиться к его творчеству и посмотреть на ученого глазами сегодняшнего дня. Для многих (и даже самых лучших) ученых прошлого этот подход оказывается неконструктивным, и потому юбилейные статьи часто представляют собой итогово-результативную оценку, если так можно выразиться, перфектного (иногда — плюсквамперфектного, хуже — имперфектного) временного плана. Как представляется, судьба Л. В. Щербы в этом отношении несколько необычна. С одной стороны, он был ученым несомненно признанным, известным еще с начала века, с другой стороны — его научные интересы казались слишком разнообразными, не сводимыми друг к другу (фонология как бы «заземленного», почти нелингвистического плана, лексикография, анализ стихотворений, идеи языковых контактов, классификация частей речи с необычной «категорией состояния»). Казалось, что в одном ученом совмещается несколько исследователей с разными интересами, и на протяжении последних десятилетий неоднократно делались попытки «причесать» теории Л. В. Щербы, сделав их более последовательными [1].

И однако, спустя тридцать лет, концепция языка у Л. В. Щербы кажется все более цельной, а его интересы — последовательными. Остановимся на этом несколько подробнее. История лингвистических учений обычно представляется как смена направлений, как некоторое «или — — или». Однако на самом деле всегда имеет место сосуществование теорий, как бы «и — или», при котором одни из них, действительно, на время становятся ведущими и несколько подавляют другие. В этом смысле, очевидно, можно, огрубляя, говорить о двух основных направлениях синхронного анализа: одно из них направлено на язык, на систему, желательно, стройную и непротиворечивую, уровней и ярусов языковых единиц,

[1] Показательны в этом отношении данные, извлекаемые из очень подробной статьи В. В. Виноградова «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка» (сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950). Из этой статьи видно, насколько непривычными оказались синтагмы Л. В. Щербы, поэтому его теорию стремились сделать более «последовательной» и синтагмы вводились в более единообразные, как тогда казалось, рамки — членов предложения, словосочетаний, частей речи и т. д.

другое — на речевое произведение как на результат языковой деятельности, на механизм его создания и его восприятия. Первое направление можно упрощенно назвать формальным [2], второе — функциональным. Л. В. Щерба явно принадлежал ко второму из них.

Несомненно под влиянием учения Ф. де Соссюра с его классической дихотомией «язык — речь» идеи анализа речи, т. е. анализа индивидуального, невольно стали приобретать некоторую пейоративную окраску: речь — это нечто хаотическое, не совсем ясное и не поддающееся желанному красивому описанию.

Но Л. В. Щерба и не занимался только речью. Поскольку анализируется именно чехословацкий сборник, то необходимо сказать несколько слов об отличии метода Л. В. Щербы от Пражской лингвистической школы, в первую очередь считающейся направлением функциональной ориентации (не останавливаясь на немаловажном вопросе о генезисе пражского функционализма, в свете которого теоретическая близость этой группы и Л. В. Щербы становится очевиднее).

Классики пражского функционализма, обращаясь к высказыванию, исследовали семантическую и звуковую структуру высказывания, оно было как ареной, так и объектом анализа. Л. В. Щербу, как кажется, интересовало не только высказывание и его звуковая и смысловая структура, но и то (в основном!), как «ведут себя» в высказывании языковые единицы, казалось бы, однородные по языковой формальной принадлежности, т. е. он непрерывно обращался к тому, что сейчас формулируется как «язык в действии» [3].

В свете такого анализа оказывалось, что единицы одного и того же формального класса функционально различаются [4], а некоторые классы удобнее даже и ликвидировать. Напротив, существенными оказывались «мелкие», как бы периферийные слова типа частиц, модальных слов и т. д. [5]. С другой стороны, там, где принятая традиция представления языковой системы не могла предоставить функционально нужных классов, Л. В. Щерба и их конструировал и вводил в описание. Это относится, в частности, и к таким разным вещам, как идея категории состояния или идея синтагмы.

С 60-х годов нашего века несомненно наметился сдвиг интересов языковедов в сторону функционирования языковых единиц. И оказалось, что очень многие новые направления в лингвистике вполне соотносятся с идеями Л. В. Щербы. В частности, Л. В. Щерба, сформулировав положения, совпадающие с идеями актуального членения, пошел дальше, говоря не только о функциональном рассечении предложения, но и о парадигматике смысловых отношений между членами рассеченной фразы, о функции акцентного выделения, т. е. о коммуникативном синтаксисе; он различал активную и пассивную грамматики, т. е. performance и competence, подчеркивал важность лингвистического подхода к анализу стихотворного

---

[2] Слово «формальный» здесь не значит обязательно «формалистский», но просто — ориентированный на язык и его устройство. Кроме того, в данном случае необходимо вспомнить о влиянии в начале века «формальной» школы Ф. Ф. Фортунатова.

[3] Именно в этих словах определяет М. А. К. Хэллидей задачу анализа лингвистики текста. См.: M. A. K. Halliday, The place of «functional sentence perspective» in the system of linguistic description, «Papers on functional sentence perspective», Praha, 1974.

[4] Именно такое различие мы получаем в результате анализа, предложенного Н. Д. Арутюновой (Н. Д. Арутюнова, Предложение и его смысл, М., 1976). О расслоении формальных классов при «текстовом» подходе см.: Т. М. Николаева, Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики, ИАН ОЛЯ, 1977, 4.

[5] Анализ таких мелких слов — типа частиц и модальных наречий — становится центральным в современной синтаксической семантике.

текста [6], показал влияние лексического состава на семантику предложения [7], зависимость восприятия звуковых единиц от контекста и т. д. Вполне соотносимы с идеями Л. В. Щербы и основные понятия лингвистики текста и современной синтаксической семантики [8].

Сборник открывается статьей В. Барнета «Личность Л. В. Щербы и его научное творчество». В лаконичном очерке автору удалось дать яркую и достаточно полную характеристику научной, педагогической и научно-организаторской деятельности Л. В. Щербы, подчеркнуть цельность его методологического подхода к языковым явлениям, которая прослеживается во всех проявлениях его многогранного научного творчества. Краеугольным камнем научной концепции Л. В. Щербы явилось представление о единстве речевой деятельности, языковой системы и материала языка. Автор статьи особо останавливается на щербовской идее о непрерывном изменении языковой системы, в которой отразилось стремление к преодолению соссюровской антиномии «синхрония — диахрония». Развивая идею о непрерывности языка и широко привлекая результаты своих диалектологических исследований, Л. В. Щерба, как подчеркивает автор, высказал ряд положений, во многом предвосхитивших принципы решения индоевропейской проблематики в контексте типологической лингвистики, как они были поданы в докладе Н. С. Трубецкого в Пражском лингвистическом кружке (1936).

Отмечая интерес Л. В. Щербы к функционированию языка в обществе, к языковому существованию социальных коллективов, последовательное применение системного подхода, внимание к языковым потребностям практики, В. Барнет указывает на близость лингвистических позиций Л. В. Щербы к тем идеям Пражской лингвистической школы, которые оказались перспективными и плодотворными. В. Барнет напоминает о живом интересе Л. В. Щербы к чешскому языку, который он изучал во время своего пребывания в Праге в 1909 г.

Идеи Щербы оказали воздействие на развитие послевоенной чехословацкой русистики. Достоин внимания, в частности, приведенный в статье факт, что в период восстановления университетских библиотек после освобождения от фашистской оккупации была размножена на ротапринте работа Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке», которая служила для молодых чешских русистов одним из основных учебных пособий. Главные труды Л. В. Щербы были после войны опубликованы в чехословацких периодических изданиях.

Анализу грамматических идей Л. В. Щербы посвящена одна из центральных статей сборника — статья В. Грабе «О грамматической теории Щербы и ее актуальности в наши дни». В. Грабе ставит задачу— определить пути, которые вели ученого к тем или иным формулировкам, по своей нетрадиционности казавшимся иногда экстремальными, но в рамках общего подхода Л. В. Щербы — вполне логичными. В основной части анализа — разбор известной статьи Л. В. Щербы «Очередные проблемы языковедения», опубликованной уже посмертно [9].

[6] О роли лингвистического подхода к анализу литературного произведения см.: J. Ihwe, Linguistik in der Literaturwissenschaft, München, 1972; W. O. Hendricks, The relation between linguistics and literary studies, «Poetics», 1974, 11.

[7] Это соотносится с идеей т. н. selectional restrictions, столь продуктивной в современной синтаксической семантике.

[8] Очень знаменателен в этом смысле и интерес Л. В. Щербы к звуковой стороне языка — недаром в работах по тексту и семантике синтаксиса, т. е. в работах, как бы относящихся к письменной стороне языка, парадоксальным образом так много говорится о фразовом и логическом ударении и так много курсивов и разрядок, передающих разного вида интонационные подчеркивания.

[9] Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958.

В названной статье, по мнению В. Грабе, в первую очередь обращает на себя внимание выделение в качестве двух главных компонентов языка грамматики и лексики, при этом нет корреляции с традицией, согласно которой лексика отражает предметы мысли, а грамматика — отношения между ними. Л. В. Щерба показывает, что целый ряд слов не называет предметы и не передает отношений между предметами; при традиционном подходе эти слова остаются, по выражению Щербы, «беспризорными». Таковы слова типа *очень*, *весьма* и т. п. Идея отношений между предметами в качестве основной идеи грамматики сузила бы ее, лишив отношений собственно синтаксических. Итак, в центре интересов Л. В. Щербы, подчеркивает В. Грабе, находится предложение (věta) с опорой на коммуникативную функцию языка.

При создании предложений участвуют два основных слагаемых языковой системы — лексикон и грамматика. Эти два слагаемых социальны. Процесс же речи (mluvení) не индивидуален, а коллективен. Самым примечательным в отделении грамматики от лексики оказывается для В. Грабе собственно языковая заданность последней. К лексике относятся те элементы, варьировать которые говорящий не властен, элементы, безразличные к его коммуникативным установкам, некоторые единичные данности — например, формы лица от *быть* и *дать*, тип управления глагола и т. д. Грамматика, таким образом, есть «сборник правил речевого поведения» (в переводе В. Грабе — soubor pravidel řečového chování). В грамматике проявляется активность говорящего, из словника же он берет речевые единицы как готовые. В соответствии с этим к грамматике относится и словообразование, творение слов, причем могут порождаться как несуществующие слова — *писальщик*, *читальщик*, так и существующие — *носильщик*. Грамматика строит и формы одного слова. Необычной, как подчеркивает В. Грабе, была у Л. В. Щербы трактовка фонетики. Он не выводит ее из грамматики (см. обычную триаду: фонетика — грамматика — лексика), а включает ее в грамматику, поскольку задача фонетики — «исследовать общие правила данного языка в области звуков».

Одной из замечательных идей Л. В. Щербы было выделение активного и пассивного аспекта в грамматике[10]. В. Грабе определяет пассивный синтаксис как разбор уже готовых образцов и установление на этой базе функций словоформ, сочетаний и особых синтаксических средств — порядка слов, интонации и т. п. Активный синтаксис — это анализ того способа или тех способов, которыми можно, в соответствии с языковыми правилами, выразить ту или иную мысль [11]. Таким образом, грамматика Щербы состоит из фонетики, словообразования, формообразования и синтаксиса.

Второй круг вопросов, анализируемых в статье В. Грабе, связан с классификацией частей речи, предложенной Л. В. Щербой [12]. Л. В. Щерба делит части речи на знаменательные, служебные и междометия. Отличи-

[10] Характерно (если говорить и о прикладном аспекте щербовских идей), что на первой конференции по машинному переводу в 1958 г. один из докладов был посвящен именно этой идее Л. В. Щербы (И. И. Ревзин, «Активная» и «пассивная» грамматика Л. В. Щербы и проблемы машинного перевода, «Тезисы конференции по машинному переводу, 15—21 мая 1958 г.», М., 1958).

[11] В. Грабе об этом не пишет, но интересно отметить различение Л. В. Щербой активного и пассивного аспекта в фонетике. «Она в своем пассивном аспекте выясняет среди пестрого разнообразия произносимого смыслоразличающие звуковые противоположения данного языка; в своем активном аспекте она изучает правила произношения фонем в разных фонетических условиях» (Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, стр. 22). Таким образом, различение активного и пассивного аспектов проводится Л. В. Щербой последовательно на всех языковых уровнях.

[12] Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957.

тельная черта последних — отсутствие когнитивного смысла, несвязанность с другими словами в высказывании (формы типа *трах*, по Щербе,— это глагольные формы). У Л. В. Щербы — «взгляд функционально-синтаксический доминирует над формально-морфологическим». В. Грабе отмечает гибкость критериев Щербы, комбинацию семантических и синтаксических критериев. Не излагая классификацию в пересказе В. Грабе, остановимся на тех чертах описания Л. В. Щербы, которые автор статьи считает особенно нетрадиционными.

Это — введение категории состояния с именно синтаксическим опорным критерием выделения (см. отличие *Мне холодно* и *Он принял меня холодно*). Затем — исчезновение местоимений как особого класса, его функциональное расслоение и разбиение по другим частям речи (но особое выделение вопросительных слов — носителей фразового ударения, důraz). Это также — отделение от глаголов-связок, которые Л. В. Щерба считал синтаксическим словом, а не полноправным знаменательным элементом. При этом (предвосхищая идею семантической шкалы, т. е. идею градуальности в употреблении) Л. В. Щерба, выделяя чистую связку *быть*, указывает на постепенность смыслового перехода от класса связок к классу собственно глаголов. Не споря с Л. В. Щербой прямо, В. Грабе упоминает классификацию Ф. Травничека, объединившего собственно наречия и предикативные слова по общим признакам — несклоняемости и способности выражать способ или обстоятельства глагольного действия [13] (см.: *Утром мы поднялись рано. Было холодно.* // *Утром мы поднялись рано в холодную пору.*— стр. 56 сборника). Не согласен В. Грабе с выделением Л. В. Щербой слова *это* в качестве связки. В примере Щербы *Наши дети — это будут дельные ребята* В. Грабе видит в качестве связки глагол *будут*, а *это* — считает словом, не выполняющим связочной функции, так как оно не выражает время и модус. Нам же кажется, что в этом примере *будут* — вообще не связка, а полноправный глагол, связкой же является, как и считал Щерба, *это* [14]. Влияние Л. В. Щербы В. Грабе видит и в «Гр. 70», а именно — в способе, по которому решается вопрос о местоименных числительных и несклоняемых прилагательных.

С 1945 г. влияние грамматических идей Л. В. Щербы стало сказываться и в работах по богемистике. Так, на них опирался Б. Гавранек — автор наиболее значительного исследования о частях речи в чешском языке [15]. Применяя синтаксический подход к классификации слов по частям речи, Б. Гавранек творчески развивал идеи Л. В. Щербы.

Последний ряд проблем, разбираемых В. Грабе, связан со статьей Л. В. Щербы о второстепенных членах предложения [16]. В этой работе Л. В. Щерба критиковал существующее тогда в науке различение обстоятельства, дополнения и определения. Сам же Л. В. Щерба считал дополнением нечто обязательное, вытекающее из семантики глагола (см. *Он живет в Ленинграде — В Ленинграде* обязательно требуется семантикой глагола *жить*[17]), определение — это нечто, действительно определяющее глаголь-

---

[13] F. Trávníček, K otázce slovních druhů v češtině, SaS, 17, 1956, 1.

[14] См. такие конструкции: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 552.

[15] B. Havránek, Řadění slovních druhů v mluvnici, «Rusko-české studie», Praha, 1960.

[16] Л. В. Щерба, О второстепенных членах предложения, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, 1.

[17] Таким образом, Л. В. Щерба предвосхитил и популярную теперь идею пресуппозиций, в частности лексических. Так, Ч. Филлмор предлагает ввести в информацию для *to open* пресуппозицию закрытости, для *knife* — пресуппозицию физического объекта, для *tall/short* — вертикальной ориентации объекта (Ch. Y. Fillmore, Types of lexical information, «Studies in syntax and semantics», Dordrecht, 1969).

ное действие, обстоятельство — наиболее свободный, логически обособляемый член предложения [18].

Заканчивая разбор статьи В. Грабе, можно только с сожалением добавить, что во всем сборнике не нашли отражения идеи Щербы о членении речи на синтагмы, а здесь особенно очевидна связь фонетики и синтаксиса в рамках общих контуров его языковой концепции.

Общие вопросы языковой теории Л. В. Щербы рассматриваются в небольшой статье Й. Попелы «Подход Щербы к языковой действительности». Автор останавливается на знаменитой статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [19], где, как известно, Л. В. Щерба различает три аспекта языковых явлений — речевую деятельность, языковую систему и языковой материал, причем термин «язык» относится ко всем трем аспектам.

Й. Попела считает заслугой Щербы менее жесткое и упрощенное понимание речи, чем у Соссюра, для которого язык был социален, а речь индивидуальна. У Щербы различается речеговорение и понимание речи: при этом и то, и другое социально. Существенным и новым оказывается понятие языкового материала, Л. В. Щерба понимал его не так, как обычно понимали лингвисты — как данность текста, а как совокупность всего говоримого и слышимого, взятого в некоторой конкретной ситуации и в некотором жизненном периоде. Й. Попела особенно отмечает интерес Л. В. Щербы к «негативному» языковому материалу («так не говорят»). Эти интересы и интерес к живым языкам, к живой их фонетике, Л. В. Щерба несомненно взял у своего великого учителя — И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Очень современными оказываются, в изложении Й. Попелы, и семантико-синтаксические идеи Л. В. Щербы, согласно которым соединение слов при речепроизводстве определяется преимущественно не правилами синтаксиса, а — и это гораздо интереснее — правилами сложения смыслов, причем создается не сумма смыслов, но новый смысл. Важны при этом и типологические наблюдения Л. В. Щербы, в частности, положение о том, что объективная реальность категоризуется грамматически разными языками по-разному.

Существенно в связи с этим замечание Й. Попелы о том, что Л. В. Щерба, хотя и не занимался специально вопросами истории языка, был близок к идеям «динамической синхронии». С этим кругом проблем Й. Попела соотносит идеи Л. В. Щербы о билингвизме, о контакте языковых сообществ, при которых история конкретного языка предстает как ряд «катастроф», возникающих при скрещивании. В отличие от А. Мартине, отрицающего норму, Л. В. Щерба не был противником нормализаторства, он считал, что дело лингвиста — объективный анализ фактов, результатом которого явится глубоко продуманная норма. Еще задолго до Хомского Щерба осознал творческую роль говорящего (у Хомского же — порождение фраз есть процесс только автоматический, строго детерминированный). Интересным продолжателем этого комплекса идей Л. В. Щербы Й. Попела считает в первую очередь С. Д. Кацнельсона [20].

---

[18] Показателен в этой связи не приведенный В. Грабе интересный и очень «нетрадиционный» по трактовке пример Л. В. Щербы. Так, во фразах: 1) *Мой спутник тихим голосом говорил о необходимости считаться с обстоятельствами*; 2) *Тихим голосом мой спутник говорил про необходимость считаться с обстоятельствами*; 3) *У моего спутника болело горло, и он говорил тихим голосом* — в первой *тихим голосом* — определение, во втором — обстоятельство, в третьем — дополнение.

[19] Л. В. Щ е р б а. Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974.

[20] Имеется в виду в особенности книга: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972.

Итак, трактовка языка как троякой сущности, метод эксперимента в языкознании, борьба с формализмом, идеи языкового скрещивания и динамической синхронии, интерес к литературной норме — вот те основные аспекты теории Л. В. Щербы как языковеда, которые кажутся автору статьи наиболее важными. Заканчивается статья фразой очень верной и справедливой, которую мы позволим себе привести по-чешски: «Co se nám dnes jeví v jazykovědě jako víceméně samozřejmé, by tak samozřejmé nebylo, kdyby nebylo akademika Lva Vladimiroviče Sčerby» («То, что теперь в языкознании нам кажется более или менее очевидным, таким явным бы не было, если бы не было академика Льва Владимировича Щербы»).

Общефонологические идеи Л. В. Щербы рассматриваются в статье Й. Моравца «Понятие фонемы у Щербы и эволюция этого понятия». Прежде всего автор этой статьи обращает внимание на связь щербовских фонологических представлений с идеями его учителя, Бодуэна де Куртенэ. Психологизм при описании явлений языка, подвергшийся стольким нападкам, оказался вполне оправданным в том, что касается особенностей функционирования единиц языка в речи. Й. Моравец отмечает несколько этапов развития теории фонемы у Л. В. Щербы — от общего описания ее свойств в «Русских гласных» (фонема как кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова) к формулировке отношений между фонемой и ее вариантами (оттенками), к описанию изменений звукового состава морфемы через чередования фонем. В статье подчеркивается то обстоятельство, что для Л. В. Щербы главным в фонеме была ее способность формировать звуковую оболочку слова — единственно реально осознаваемой носителями языка единицы. Упоминая о дискуссии между щербовской и московской фонологической школами, Й. Моравец согласен с С. И. Бернштейном в том, что обе концепции не исключают друг друга, но рассматривают звуковую субстанцию языка с разных точек зрения [21]. Оценивая сегодняшнее состояние щербовской фонологии, автор говорит о том, что многие неясные формулировки были уточнены и что сейчас упрек в том, что щербовская фонология работает только с фонетическими критериями, явно несправедлив. Фонема является абстрактной единицей, так как у нее нет однозначных артикуляционно-акустических характеристик. Особое значение материальной стороны фонемы определяется социальным характером языка — его коммуникативной функцией. Передача информации осуществляется благодаря звуковой материи и неотделима от нее в условиях реальной жизни языка.

Упрекая щербовскую фонологию в неразличении центральных и периферийных явлений в языке, Й. Моравец приводит в качестве примера интерпретацию отношений между /ы/ и /i/ в системе русских гласных. Фонологическая самостоятельность /ы/, о которой писал Л. В. Щерба, по мнению автора статьи, характеризует периферийную систему русских гласных; но ведь и сам Л. В. Щерба писал об особых отношениях между /ы/ и /i/ — и эта «особенность» фонологического статуса пары гласных безусловно является фактом центральной системы, а не периферии.

В последние десятилетия плодотворность щербовского понимания фонемы проявилась в области, непосредственно связанной с коммуникативной функцией языка — мы говорим здесь о моделях распознавания речи (в том числе и автоматической). Й. Моравец пишет о том, что в своих научных построениях Л. В. Щерба никогда не был догматиком, и нужно признать, что это — одно из самых ценных свойств, определяющих развитие щербовской фонологии сегодня. Значение щербовской фонологии для че-

[21] См.: С. И. Бернштейн, Основные понятия фонологии, ВЯ, 1962, 5.

хословацкой русистики и славистики, по мнению Й. Моравца, заключается в том, что она дает более простые и однозначные основания для сопоставительных и исторических исследований, способствует оптимальному изучению звуковой системы русского языка в чешской школе и дает возможность перейти от фонологического описания к морфологическому путем классификации разнообразных фонемных чередований.

Статья М. Ромпортла «Л. В. Щерба как фонетист» посвящена специальной и интересной теме — вопросу о наблюдениях Л. В. Щербы в области чешской фонетики. М. Ромпортл пишет о том, что Щерба, как и основоположник чешской экспериментальной фонетики Й. Хлумский, получив образование романиста, свои первые опыты в области экспериментальной фонетики проводил под руководством их общего учителя — Руссло. Как и Хлумский, Щерба обращается затем к славянским языкам — и в течение долгих лет упоминания этих ученых друг о друге полны взаимного интереса и уважения. Конечно, между ними существовала и дискуссия (пусть и негласная), как об этом можно судить по заметкам, сделанным Хлумским на полях работ его более молодого коллеги. Как пишет М. Ромпортл, сейчас можно увидеть, что довольно часто в этих спорах истина была на стороне Л. В. Щербы, который уже в те годы, вслед за своим учителем Бодуэном де Куртенэ, рассматривал многие явления в языке не со строго формальной точки зрения, но с учетом психологии говорящего и слушающего. Синтезирующий метод позволял Щербе уже тогда переходить от фонетических наблюдений к фонологическим построениям.

Собственные наблюдения Л. В. Щербы в области чешской фонетики упоминаются им самим всегда с деликатными оговорками и с большой скромностью. Однако можно видеть, что для своего времени они были достаточно точными и глубокими. В наиболее концентрированном виде эти факты изложены в рецензии Л. В. Щербы на книгу второго крупнейшего чешского фонетиста А. Фринты «Novočeská výslovnost. Pokus o soustavnou fonetiku jazyka českého», вышедшую в Праге в 1909 г. Рецензия эта появилась в Известиях отделения русского языка и словесности ИАН в 1910 г. (т. XV, кн. 1).

Здесь Л. В. Щерба пишет о необходимости введения «психического элемента» в изучение фонетики, находя много общего между пониманием фонемы у Бодуэна де Куртенэ и пониманием éléments significatifs, встречающимся у учителя Фринты, Пасси.

М. Ромпортл, подробно анализируя замечания, сделанные Л. В. Щербой относительно конкретных вопросов чешской фонетики, показывает, что во многом он был прав и в этом немалую роль сыграли его собственные экспериментальные данные.

Анализу основных положений книги Л. В. Щербы «Фонетика французского языка» посвящена статья М. Догалской «„Фонетика французского языка“ Щербы». Автор обращает особенное внимание на то, что в этой книге ставится общий вопрос о механизмах овладения звуковой стороной чужого языка. Необходимость сознательного изучения звуковых единиц родного языка и сознательного сравнения системы родного и изучаемого языков; слуховой контроль и анализ тончайших нюансов звуковых изменений в чужом языке; проблема фонемной интерпретации звуков изучаемого языка — эти положения Щербы автор статьи вполне справедливо считает наиболее важными и сегодня. М. Догалска специально упоминает о систематическом сравнении артикуляций русских и французских звуков, приводимых Щербой в этой книге, и о тех методических указаниях, которые касаются способа артикуляции, очень различного для русских и французских гласных. Щербовские мысли о классификации и функциях французских гласных, высказанные в 1937 г., в свете современных дос-

тижений французской фонетики и фонологии, актуальны и сегодня.

Сравнительный анализ двух языков плодотворен и при рассмотрении таких явлений, как слогоделение, ритмическая группа; особенности оформления элементов высказывания зависят и от темпа речи, и от стиля произношения. М. Догалска отмечает, что Л. В. Щерба рассматривал ритмическую группу в тесной связи с синтаксической функцией. Важно, пишет она, оценивая эту книгу в целом, что при каждом элементарном случае Щерба использовал целый комплекс методических и лингвистических знаний. Его методические рекомендации являются современными и плодотворно используются при обучении иностранному языку.

Значению идей Л. В. Щербы для создания научной методики преподавания иностранных языков посвящена также статья М. Затовканюка «Л. В. Щерба и методика изучения иностранных языков».

Автор заметки о Л. В. Щербе как исследователе текста К. Кожевникова («Идеи Щербы о лингвостилистическом анализе текста») начинает с некоторых упреков в адрес ученого — он не создал цельной теории лингвостилистики или теории лингвистической интерпретации художественного текста; из-под его пера не вышел и очерк русского стихосложения или описание художественного перевода с точки зрения синтаксиста. Однако он смоделировал профили этих областей, и В. В. Виноградов, А. В. Федоров, Б. В. Томашевский считали его своим учителем. О том, что мог бы дать Л. В. Щерба в этой области, можно, как считает К. Кожевникова, судить по двум работам — анализу стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» и анализу стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сосна» в его сравнении с немецким прототипом [22]. Работы его — пионерские и абсолютно современные. Так, в вводных словах ко второй работе ясно сказано о потребности синтеза литературоведческого и лингвистического подходов к художественному тексту; причем Л. В. Щерба, подчеркивая их взаимную связь, одновременно говорит об их незаменяемой специфике. Разве, спрашивает К. Кожевникова, эти мысли не являются ведущими для современного понимания стилистики литературного текста? Может быть, пишет К. Кожевникова, с чем-то можно и не согласиться, но анализ, представленный Л. В. Щербой, это образцовый анализ двух основных сторон текста — формы и содержания.

К. Кожевникова видит отчетливое различие между двумя щербовскими «этюдами». «Пушкинский» строже, с установкой на однозначность трактовки. Здесь разбор микро-, а не макростилистический. А в «лермонтовском» — установка на возможность различной интерпретации. В этом, как указывает К. Кожевникова, сказалось влияние на Щербу книги А. П. Горнфельда [23], по теории которого некоторые элементы звукового образа ясны, а другие — как бы в тени; создается «упаковочный материал» [24]. Из этого вытекает, что одни элементы образа интерпретируемы точно, а другие — допускают много интерпретационных возможностей [25]. Эту

[22] Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина, его же, Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957.

[23] А. П. Горнфельд, Пути творчества, Пг., 1922.

[24] В связи с этим К. Кожевникова ссылается на статью М. Б. Борисовой «Еще раз об „общей образности", „упаковочном материале" и их отражении в словаре писателей» («Вопросы стилистики», 6, Саратов, 1973).

[25] Так, при экспериментальном исследовании одного из авторов рецензии, целью которого было проследить, как распределяются паузы при чтении одного и того же художественного текста разными дикторами (совпадение пауз по смыслу, по месту, по длительности и числу), оказалось, что во всяком тексте есть разные по степени восприятия смысловые точки — в одних смысл выражен однозначно (обнаруживается максимальное число совпадений), в других такой определенности нет (частичное совпадение),

идею о неравномерности эстетической направленности текста развил впоследствии В. В. Виноградов.

Таким образом, показывает К. Кожевникова, Л. В. Щерба прошел определенную эволюцию, но основой его метода был двоякий анализ: 1) анализ разноуровневых средств текста, 2) анализ текста в целом.

Одной из важнейших сторон деятельности Л. В. Щербы посвящена статья К. Хлупачовой «Академик Щерба как лексикограф». Автор подчеркивает роль ученого на новаторском «Русско-французском словаре» под ред. Л. В. Щербы, в котором был воплощен принцип научного описания словарного состава как системы. Огромное значение, особенно для развития двуязычной лексикографии, имел разработанный в предисловии ко второму изданию этого словаря тезис Л. В. Щербы о сложности семантической структуры слова, не совпадающей в разных языках. Появление щербовского словаря с его максимальным учетом смысловых оттенков и употреблений слова при выборе переводных соответствий означало подлинный переворот в двуязычной лексикографии и определило ее дальнейшее развитие. Важна идея Л. В. Щербы о создании нового типа двуязычных словарей с толкованиями слов на родном языке учащихся, которая пока еще не осуществлена в полном объеме [26]. Значение лексикографических идей Л. В. Щербы для теории и практики перевода рассматривается в статье Я. Шабршулы.

Статья Я. Петра «Л. В. Щерба как славист и сорабист» посвящена славистической стороне деятельности Л. В. Щербы. В центре внимания автора — монография Л. В. Щербы «Восточнолужицкое наречие» (1915). Я. Петр приходит к выводу о том, что труд Л. В. Щербы и поныне сохраняет свою актуальность и методологическую значимость. Некоторые его положения, например, отрицание гипотезы о едином пралужицком источнике современных серболужицких диалектов, до сих пор не получили однозначной оценки и являются спорными, в целом же это значительный вклад в славянское языкознание. К наиболее ценным общетеоретическим положениям щербовской монографии автор относит мысли об особенностях языкового взаимовлияния в условиях билингвизма. Большого внимания заслуживают, в частности, рассуждения Щербы о природе слова в двуязычной среде (наличие двух языковых, материальных оболочек при одном мыслительном содержании). В статье прослеживается также постепенное преодоление Л. В. Щербой психологизма в подходе к языковым явлениям.

Ценным приложением к статье Я. Петра является первая публикация девяти писем Л. В. Щербы А. Муке, относящихся к 1907—1927 гг. Письма, которые свидетельствуют о тесных и многолетних связях Л. В. Щербы с известным исследователем сербо-лужицких языков, хранятся в Литературном архиве Праги.

Несомненно, что в связи с приближающимся юбилеем Л. В. Щербы появится множество исследований, посвященных идеям этого замечательного ученого. А сейчас можно только приветствовать появление интересного и содержательного сборника еще раз подтверждающего плодотворность и актуальность его научных идей.

в третьих — допускается индивидуальная трактовка. См. об этом более подробно: Т. М. Николаева, Смысловое членение текста и его индивидуальные варианты, «Semiotyka i struktura tekstu», Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1973.

[26] Попытка реализации этого замысла Л. В. Щербы на материале языка отдельных писателей (М. Пуймановой, А. Зегерс и др.) проводится в Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина в ЛГУ. См.: А. В. Федоров, Г. В. Крылова, Г. А. Лилич, О. И. Трофимкина, Переводный объяснительный словарь языка писателя (место в лексикографии и в методике преподавания перевода), в кн.: «Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков. Материалы Всесоюзной научной конференции», ч. I, М., 1975, стр. 58—60.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1978

РЕЦЕНЗИИ

«Sprache und Ideologie. Beiträge zu einer marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung», hrsg. von W. Schmidt.—Halle (Saale), VEB Max Niemeyer Verlag, 1972, 238 стр.

Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, посвященных проблеме взаимоотношения языка и идеологии. Некоторые аспекты этой проблемы, прежде всего особенности языка политики, довольно давно привлекли внимание исследователей. Достаточно упомянуть книгу Х. Д. Ласуэлла «Язык политики» [1], появившуюся еще в 40-х годах; впоследствии буржуазные лингвисты и социологи неоднократно возвращались к этой теме[2]. Особенно большой интерес вызывала и вызывает эта тема у исследователей, занимающихся немецким языком. Обусловлено это, несомненно, той довольно редкой ситуацией, в которой функционирует в настоящее время немецкий язык. Он одновременно используется в ГДР и ФРГ, государствах, основное население которых имеет общее историческое прошлое. Совершенно очевидно, что различные идеологии, господствующие в этих государствах, оказывают существенное влияние на развитие немецкого языка в каждом из них. Процессы, протекающие в немецком языке под влиянием различных идеологий, уже давно исследуются лингвистами и философами как в ФРГ, так и в ГДР [3]. Однако с годами тема эта не становится менее актуальной. Более того, поскольку на современном этапе из всех форм классовой борьбы на первый план все больше выступает идеологическая борьба, которая ведется преимущественно при помощи различных языковых средств, потребность в глубоком и всестороннем изучении проблемы взаимоотношения языка и идеологии неуклонно возрастает. Для ГДР проблема эта является особенно важной. Первое социалистическое государство на немецкой земле живет и развивается в непосредственной близости с ФРГ: в таком соседстве вопросы идеологической борьбы стоят по вполне понятным причинам чрезвычайно остро. Перед лингвистами ГДР стоит задача не только исследовать изменения, происходящие в современном немецком языке под влиянием буржуазной и социалистической идеологии, но и опровергать нападки буржуазных, особенно западногерманских исследователей, пытающихся исказить языковую политику ГДР, извратить сущность процессов, протекающих в немецком языке в ГДР.

В рецензируемой книге объединены работы, рассматривающие теоретические аспекты взаимоотношения языка и идеологии, а также исследования, иллюстрирующие теоретические положения на материале идеологически релевантных текстов.

Хотя авторов прежде всего интересует вопрос эффективности использования языка для формирования и укрепления социалистического сознания граждан ГДР, а также для борьбы с буржуазной идеологией, тематика книги не ограничена только этими проблемами: в отдельных статьях исследуется соотношение языка и идеологии в самых различных аспектах, при этом речь идет не просто о языке и идеологии, но о современном немецком языке в той форме, в какой он используется в ГДР, и социалистической пролетарской идеологии.

Сборник открывается статьей В. Шмидта «Das Verhältnis von Sprache und Politik als Gegenstand der marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung», которая является своего рода теорети-

---

[1] H. D. Lasswell, The language of politics, New York, 1949.

[2] См., например: «Philosophy, politics and society», ed. by P. Laslett, Oxford, 1956; E. Topitsch, Über Leerformeln. Zur Pragmatik des Sprachgebrauchs in Philosophie und politischer Theorie, Wien, 1960; T. D. Weldon, Kritik der politischen Sprache vom Sinn politischer Begriffe, Neuwied, 1962.

[3] См., например: Th. Schippan, Die beiden deutschen Staaten und die deutsche Sprache, «Deutschunterricht», Hf. 1, 1967; G. Klaus, Die Macht des Wortes, Berlin, 1968; его же, Sprache der Politik, Berlin, 1971; и мн. др.

ческим введением к статьям других авторов, посвященным практическим исследованиям некоторых сторон данной проблемы. В. Шмидт прежде всего обращает внимание на огромное значение языка в общественной жизни, поскольку язык, сопровождая индивидуума всюду и всегда, является необходимой предпосылкой существования как общества, так и человека внутри этого общества. В связи с этим в процессе построения социалистического общества язык также играет весьма существенную роль; именно поэтому одной из основных задач лингвистов является исследование с позиций марксизма-ленинизма значения языка для общественной жизни. В ходе этого исследования необходимо охватить все многообразие функций языка в социалистическом обществе, описать их сложную взаимосвязь для того, чтобы создать научные предпосылки для наибольшей эффективности языковой коммуникации во всех сферах общественной жизни.

Особое значение придает автор исследованию языка как инструмента управления общественной жизнью. Сам по себе вопрос этот, безусловно, не нов, однако в данном случае он поднимается в условиях научно-технической революции и общего обострения идеологической борьбы, и именно эти новые условия придают вопросу особую остроту и актуальность.

Автор раскрывает в работе роль языка в формировании социалистического сознания. Дело в том, что язык как средство общественной коммуникации и инструмент руководства общественными процессами является одновременно и средством объективизации идеологии, вследствие чего в процессе формирования как индивидуального, так и общественного сознания язык играет важнейшую роль.

Кроме этих общих проблем, автор рассматривает и некоторые более частные вопросы, представляющие, однако, значительный интерес. Так, например, он уточняет значение термина «язык политики». Правомочность этого термина часто дискутируется, хотя обычно исследователи и исходят из положения о том, что языковое оформление политического материала отличается целым рядом инвариантных признаков. Для обозначения языковой подсистемы, характеризующейся этими признаками, обычно употребляются термины «специальный язык политики» или «функциональный стиль политики». В. Шмидт полагает, что оба эти термина имеют весьма существенные недостатки, причем замена термина «язык политики» одним из них имеет не столько терминологическое, сколько содержательное значение. Использование термина «специальный язык политики» нежелательно ввиду того, что хотя язык политики, безусловно, характеризуется наличием специального словаря, тем не менее он отличается от других специальных языков целым рядом особенностей, основная из которых состоит в том, что специальный словарь политики используется не только в специальных политических текстах, но и в самых различных сферах повседневной жизни. Особенно ярко это проявляется в языках, обслуживающих развитые социалистические общества, что обусловлено привлечением широких масс трудящихся к политической жизни, в результате чего поднимается политико-идеологический уровень всего населения и все более широкие массы овладевают специальным словарем политики. Термин «функциональный стиль политики» является малоудовлетворительным хотя бы потому, что политические тексты могут принадлежать к самым различным жанрам, что влечет за собой существование различных стилей в рамках языка политики.

Интересными являются замечания автора об идеологической обусловленности языка как марксистско-ленинской, так и буржуазной политики. Под этим он понимает семантическую детерминированность слова, обусловленную его принадлежностью к терминологической системе определенной идеологии и его местом в этой системе. Лингвистов интересует в первую очередь то, как отражается эта идеологическая обусловленность языкового знака в структуре его значения. В. Шмидт совершенно справедливо утверждает, что было бы неверно выделять особый «идеологический компонент» в значении слова, ибо это противоречило бы марксистско-ленинскому положению о тесной связи познавательного и идеологического аспектов в процессе познания действительности. Дело в том, что идеологическое восприятие действительности осуществляется в единстве с понятийным; лингвистическим следствием этого является тот факт, что понятийный компонент значения слова идеологически окрашен уже в момент его возникновения.

Большое внимание уделяет автор исследованию роли языка в формировании социалистического сознания, а также месту языка во взаимоотношении общественного и индивидуального сознания. В заключение В. Шмидт рассматривает глубокие качественные различия политико-идеологического воздействия языка на человека в социалистическом и капиталистическом обществе, опираясь при этом на использование в целях пропаганды и агитации немецкого языка в ГДР и ФРГ.

Статья Х. Харниш «Zu einigen spätbürgerlichen Auffassungen vom Wesen und von den Funktionen der Sprache» посвящена критике воззрений некоторых направлений современной буржуазной философии на сущность и функции языка. В работе раскрывается роль неопозити-

визма в развитии определенных взглядов на язык в буржуазной науке, рассматриваются некоторые наиболее важные положения работ Б. Рассела, Л. Витгенштейна и Р. Карнапа, а также анализируются классовые и исторические предпосылки возникновения лингвистического позитивизма. Подробно разбирая работы Э. Топича и Т. Д. Уелдона (см. примеч. 2), в которых авторы стремятся доказать, что политическая терминология будто бы носит ненаучный характер, Х. Харниш убедительно демонстрирует, что основная ошибка этих авторов состоит в том, что они распространяют результаты исследования терминологии буржуазной философии и на терминологию марксистско-ленинской философии, что в конечном итоге приводит к неверным теоретическим выводам.

Критическому разбору подвергнуты также работы Ч. Морриса и Т. Т. Сегерстедта [4], в которых предпринимались попытки объяснить связь между языковым знаком и человеком с позиций бихевиоризма, работы представителей «общей семантики» И. Д. Ли и С. И. Хаякавы [5], пытавшихся доказать, что улучшение языка делает излишним изменение социальной практики жизни общества, ибо последнее вытекает из изменения языка, а также работа представителя этнолингвистики Б. Уорфа [6], отводящего языку решающую роль в процессе формирования мышления и сознания.

Большой интерес представляет статья В. Шмидта и Х. Харниш «Kategorien und Methoden einer marxistisch-leninistischen Sprachwirkungsforschung». В ней делается попытка выяснить на материале политической статьи из газеты «Neues Deutschland», при помощи каких средств добивается автор определенного воздействия на аудиторию. В процессе анализа авторы вводят понятие коммуникативной стратегии — план оптимальной реализации коммуникативных намерений, учитывающий объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает акт коммуникации и из которых в свою очередь вытекает внешняя и внутренняя структура текста и использование определенных языковых средств. В коммуникативной стратегии выделяется коммуникативно-психологический компонент, служащий для достижения определенного воздействия на сознание и поведение слушающего, и коммуникативно-логический, обеспечивающий надлежащее понимание заданной информации. Этот компонент зависит в первую очередь от внутренней логики самого предмета изложения. Перспективным представляется анализ коммуникативной стратегии текста, предлагаемый авторами. В каждом предложении текста выявляется его композиционное значение, коммуникативно-логический и коммуникативно-психологический аспекты. Кроме того, производится классификация предложений по их основной коммуникативной функции. В результате этих исследований авторам удается выявить некоторые языковые средства, использование которых позволяет добиться максимального воздействия на аудиторию.

Весьма содержательной является также работа авторов по исследованию языковых факторов партийности текста путем анализа как лексических, так и грамматических элементов стиля, причем, что особенно важно, семантический анализ текста дополнен данными опроса большого количества информантов. Фактический материал, полученный в результате этого опроса, представляет значительную ценность для лингвистов, социологов и психологов.

Остальные работы сборника посвящены более частным проблемам. Так, в статье Г. Михеля «Zum sprachlichen Ausdruck von Wertungen in politischen Texten» исследуется вопрос об использовании синонимичных выражений в политических текстах. Автор выясняет, при помощи каких синонимов достигаются в связном тексте различия в оценке одного и того же денотата. К. Менг в работе «Sprachliche Mittel zur Realisierung der Funktionen der Nachricht» исследует на материале двух сообщений радио ГДР, при помощи каких лексических и грамматических средств реализуются функции этих сообщений. Проведенный анализ показывает, что в такого рода сообщениях можно выделить достаточно ограниченные классы используемых языковых средств. Еще одним интересным результатом анализа является тот факт, что невозможно строго разграничить средства, используемые для выполнения двух основных функций сообщения: изложения фактов и оценки их. Аналогичной теме посвящена работа И. Либау «Bemerkungen zum Aufbau und zur sprachlichen Form eines polemischen Artikels» — объектом исследования является текст политической полемической статьи.

Заключают сборник три работы, связанные общей темой: исследование некоторых областей общественно-политической лексики немецкого языка в ГДР. Так, в статье У. Зидель «Entwicklungsvorgänge im Wortschatz der Kulturpo-

[4] См. Ch. Morris, Signs, language and behavior, New York, 1955; T. T. Segerstedt, Die Macht des Wortes. Eine Sprachsoziologie, Zürich, 1947.

[5] I. J. Lee, Language habits in human affaires. An introduction to general semantics, New York, 1941; S. I. Hayakawa, Language in thought and action, New York, 1949.

[6] B. L. Whorf, Sprache, Denken, Wirklichkeit, «Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie», Hamburg, 1963.

litik der DDR» демонстрируется тесная связь между общественным и языковым развитием на примере изменения словарного состава немецкого языка в области культурной политики. Статья И. Шерцберг «Zur Struktur des Wortschatzes der Wirtschaftspolitik der DDR» посвящена описанию и классификации хозяйственно-политической лексики, причем, что особенно ценно, лексика эта анализируется в сопоставлении с аналогичной областью лексики немецкого языка в ФРГ. И, наконец, работа И. Хоффманн «Zur Ideologiegebundenheit der finanzpolitischen Lexik» иллюстрирует на примере финансово-политической лексики немецкого языка в ГДР тезис В. Шмидта об идеологической обусловленности любой области языка политики. К сожалению, У. Зидель и И. Хоффманн не привлекли к исследованию материалы немецкого языка в ФРГ, что, безусловно, придало бы работам большую значимость.

В целом же исследования, представленные в сборнике, проведены на весьма высоком теоретическом уровне, при этом авторы вносят большой вклад в решение важных практических проблем, уделяя особое внимание поиску максимально эффективных средств воздействия на аудиторию. Книга несомненно вызовет большой интерес как у лингвистов, так и у психологов и социологов.

Крючкова Т.Б.

«Социально-лингвистические исследования», под ред. Л. П. Крысина и Д. Н. Шмелева. — М., «Наука», 1976. 232 стр.

Сборник «Социально-лингвистические исследования» распадается на четыре раздела. Первый посвящен теории и методам социально-лингвистических исследований. Открывает первый раздел статья одного из ведущих американских социолингвистов У. Лабова, которая названа «Единство социолингвистики». Автор ставит два взаимосвязанных вопроса: представляет ли собой социолингвистика внутренне согласованную систему и существует ли у этой дисциплины своя собственная проблематика. Отвечая на эти вопросы, автор определяет предметную область как изучение структуры языка и языковых изменений на основании данных полученных при исследовании повседневного употребления языка. Нам кажется, что такое определение предмета социолингвистики чрезвычайно узко и соответствует лишь одному разделу этой дисциплины, в котором исследуются языковые подсистемы и речевое поведение монолингва [1].

Не лишено интереса объяснение У. Лабовым социальных и политических причин развития социолингвистических исследований в США, тем более что некоторые советские лингвисты склонны были сводить эти причины исключительно к «микролингвистическому грехопадению американского языкознания».

Интерес для советских языковедов представит попытка У. Лабова (также и других американских лингвистов) объяснить языковое изменение дифференциацией в результате разрывов в сети общения, заимствованиями из диалектных разновидностей, неравномерным распределением по классам, закономерно сочетающимся с протеканием языковых изменений.

Мы считаем перспективным разграничение социолингвистики с лингвистикой, предлагаемое У. Лабовым, и согласны также с тем, что социолингвистика является наукой о социально значащем выборе альтернативных вариантов. Нельзя не отнестись сочувственно и к выводу У. Лабова о том, что единство социолингвистической науки определяется специфической для нее точкой зрения на функции языка. Социолингвистика предполагает лингвистический анализ, который исходит из наличия разных способов осуществления какого-либо высказывания. Нам импонируют также взгляды автора на социальное использование социолингвистики, т. е. на ту роль, которую она призвана играть в обществе и в особенности в обществах, переживающих процесс быстрых социальных перестроек.

В целом нам представляется, что статья даже при доминировании в ней микросоциолингвистического подхода является весьма конструктивной.

В первом разделе находится также статья А. Д. Швейцера «К разработке понятийного аппарата социолингвистики». В ней поставлен вопрос о принципах создания системы понятий для социолингвистики как науки, находящейся на стыке языкознания и социологии, и даются дефиниции наиболее важным понятиям.

Исходя из необходимости учета элементов как социальных, так и языковых структур, А. Д. Швейцер в первую очередь вводит два базисных понятия — языкового коллектива и социально-коммуникативной системы. Автор далее пред-

[1] Ср. наше определение предметной области социолингвистики (Л. Б. Никольский, Синхронная социолингвистика, М., 1976, стр. 57—58).

лагает разграничивать широко применяемые в социолингвистике понятия: коллектив как объективно существующую совокупность людей, объединенных социальным взаимодействием, и общность, выделяемую исследователем на основе единства того или иного признака (возраст, пол). Предлагается также различать языковой коллектив и речевой коллектив: первый — по признаку наличия у его членов общего инвентаря лингвистических единиц, второй — по специфическому употреблению этих единиц в речи, а также — языковую и речевую общность по тому, обнаруживают ли ее члены тождественный инвентарь языковых единиц или единый комплекс речевых признаков. Говоря о социально-коммуникативных системах как атрибуте языковых и речевых коллективов, А. Д. Швейцер подчеркивает, что эти системы представляют собой совокупности языковых систем (типа национального языка).

Важным вкладом в социолингвистику представляется предлагаемое А. Д. Швейцером разграничение стратификационного и ситуативного измерений социальной вариативности и связанное с ним выделение среди социолингвистических переменных: 1) стратификационных, связанных с социальным статусом коммуникантов, и 2) стратификационно-ситуативных, коррелирующих с социальной ролью коммуникантов и социальной ситуацией общения.

Необходимо особо подчеркнуть как заслугу А. Д. Швейцера, что ему удалось вырваться из плена чисто декларативных заявлений относительно междисциплинарного статуса социолингвистики и показать на деле тот путь, который может привести к созданию системы социолингвистических понятий, а следовательно, и теории, органически увязывающих социологические и языковые параметры.

Вместе с тем как недостаток мы бы отметили некоторую нечеткость в формулировании дифференциальных признаков языковых и речевых коллективов и общностей.

Следующей работой первого раздела является статья Л. П. Крысина «Речевое общение и социальные роли говорящих». Л. П. Крысин освещает еще недостаточно ясный социологический вопрос о сущности и признаках социальной роли, разграничивает социально обусловленные и ситуативные роли и выявляет языковые средства и их системы, которые обслуживают роли. В качестве таковых названы: диалектные разновидности языка, стили, речевые жанры. Уделяется внимание соотнесению профессиональных ролей и профессиональных языков или арго. Вводятся понятия симметричных (одноклассники, сослуживцы, члены одной спортивной команды) и асимметричных (сын — отец, подчиненный — начальник, студент — преподаватель) ситуаций общения. В результате анализа проигрывания ролей говорящими Л. П. Крысин приходит к выводу, что между набором ролей и совокупностью стилей, находящихся в распоряжении члена данного общества, нет взаимооднозначного соответствия.

Положения, изложенные в статье относительно связи между ролевым поведением человека и его речью, дают теоретическую основу для экспериментального исследования речевого поведения членов конкретных языковых сообществ.

В статье Ж. В. Ганиева «Социофонетика и фоностилистика (к методике эксперимента)», завершающей первый раздел сборника, рассматриваются проблемы, возникающие в связи с организацией и проведением социолингвистического анализа речевого акта. Хорошо известно, что самой большой трудностью, стоящей перед экспериментатором, является неразрывность социальной и стилистической дифференциации. По мнению автора, эта проблема на избранном им фонетическом (формальном) уровне решается гораздо определеннее. При обследовании речи в различных социальных ситуациях надо выявить социальную принадлежность говорящего, которая, хотя и косвенно и опосредованно, находит отражение прежде всего в автоматизированных речевых или произносительных навыках. Вместе с тем не существует строгого соответствия между определенными социальными группировками и произносительными вариантами, и речь может идти лишь о преимущественной соотнесенности. На социальную стратификацию языка (речи) могут оказывать влияние субъективные оценки сосуществующих вариантов. Поэтому важной задачей экспериментатора является учет мнения информанта о своем собственном произношении.

Второй группой факторов, которые воздействуют на выбор вариантов или их систем (стилей), являются разные ситуации общения, включающие в качестве непременного компонента собеседника, адресат. Поэтому при проведении эксперимента встает проблема учета характера взаимоотношений коммуникантов и исключения или сведения к минимуму воздействия экспериментатора на выбор вариантов, осуществляемый информантом.

Третьей группой факторов являются факторы психологические: психологический эффект на информанта звукозаписывающей аппаратуры, эмоциональное состояние говорящего.

В конце статьи перечисляются проблемы, с которыми сталкивается экспериментатор при обследовании речевых актов.

Нам кажется, что Ж. В. Ганиев в своем стремлении перечислить все факторы, определяющие выбор переменных, вышел далеко за рамки социолингвистики, понимаемой даже как междисциплинар-

ная наука. Во всяком случае вряд ли в социолингвистическом исследовании, имеющем целью выявить социально значимые способы говорения и определяющие их факторы, нужен учет эмоционального состояния говорящего, а также роли мимики и жестов.

Вторая часть сборника посвящена социолингвистической проблематике, связанной с выделением и характеристикой различных языковых подсистем.

В статье Л. П. Крысина «Владение разными подсистемами языка как явление диглоссии» ставится вопрос об изоморфизме явлений билингвизма и диглоссии. В статье на значительном языковом материале доказывается, что существенными признаками диглоссии, как и двуязычия, оказываются: 1) различие языковых кодов (подсистемы одного языка также различаются элементами кода и отношениями, которые существуют между этими элементами в каждом коде); 2) ситуативно обусловленное переключение с одного кода на другой (наблюдается разделение функций и между разными формами одного языка в зависимости от социальных и ситуативных условий общения); 3) интерференция кодовых элементов в процессе коммуникации (лица, владеющие разными подсистемами языка, тоже могут использовать элементы как одного, так и другого кода в одной и той же речевой ситуации); 4) заимствование (при постоянном контакте и взаимодействии двух языковых разновидностей в одном социуме также может происходить заимствование кодовых элементов, при этом заимствованные элементы вступают в парадигматические связи с элементами воспринявшей их подсистемы).

Говоря о непринципиальном различии между билингвизмом и диглоссией, Л. П. Крысин пытается дать объяснение выявленной аналогии. По его мнению, как в одноязычном, так и многоязычном обществе существует определенный набор типовых социальных ролей и определенный набор типовых коммуникативных ситуаций. Различие между речевым поведением индивида в одноязычном и многоязычном обществе состоит лишь в том, что в первом при проигрывании различных ролей используются подсистемы одного языка, а во втором — разные языки.

Сделанный Л. П. Крысиным вывод полностью подтверждают материалы по использованию языка и языков в афроазиатских странах.

Прямое отношение к проблеме разграничения подсистем языка имеет та часть статьи Г. П. Мельникова «К проблеме критериев разграничения литературных, разговорных и просторечных форм (на материале русских падежей)», в которой освещается вопрос о разграничении литературных, разговорных и просторечных форм русского языка.

Г. П. Мельников исходит из того положения, что в языковом коллективе складываются типовые условия функционирования языка, к которым (условиям) приспосабливаются средства языка. Так, например, по его мнению, у двух типичных разновидностей общения — устного и письменного — должны со временем сформироваться две самостоятельные языковые системы.

Сформировавшись, две такие формы языка — книжно-письменный язык и разговорная речь — обладают общей основой. Из сказанного вытекает, что если обе разновидности языка калькируют или заимствуют одна из другой единицы или приемы выражения, то такие формы считаются ненормативными. Из данного логического построения делаются выводы, служащие основой для практических рекомендаций.

Трудно согласиться не только с предлагаемыми рекомендациями (см. также примечание редакции сборника), но и с интерпретацией самого процесса дифференциации книжной и устной форм речи. Конечно, указанное разграничение всегда существовало и будет существовать в естественных языках, и это связано с условиями общения. Но ведь общеизвестно, что по мере приближения к нашему времени различия между разговорными и книжными формами большинства языков сглаживаются. Сейчас случаи кардинального расхождения разговорного и книжного языков воспринимаются как исключения. В прошлом же такие расхождения были обычным явлением. Более того, во многих странах в качестве книжных функционировали заимствованные языки (латынь, санскрит, пали, вэньянь, арабский и т. д.). Следовательно, положение о дивергентном развитии устной и письменной или книжной форм языка, служащее логической основой для практических рекомендаций, само нуждается в более основательных подтверждениях.

Несомненный интерес для социолингвистов представляет статья М. М. Копыленко «О семантической природе молодежного жаргона». В ней рассматривается использование лексем общенародного русского языка для обозначения присущих молодежному жаргону семем.

Автор отмечает, что вопреки распространенному мнению, предметно-понятийное содержание студенческого жаргона довольно бедно. В то же время в нем в полтора раза больше означающих, главным образом за счет значительного числа экспрессивных синонимов. Словотворчество не сводится к «игре словами» и включает как переименование, так и наименование. М. М. Копыленко подчеркивает также, что при переименовании единица жаргона воспринимает синтаксические особенности заменяемой общенародной единицы. В целом же жаргонные лексемы сочета-

ются по правилам, свойственным общенародному русскому языку.

Заключает второй раздел сборника статья Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Русское слово в сознании иностранца». Статья посвящена анализу страноведческо-культурного аспекта преимущественно русского слова или, иначе, его экстралингвистического фона. Суть поставленной проблемы сводится к тому, что в разных языках даже слова, соотносящиеся с одним и тем же понятием, могут обозначать денотаты, находящиеся в различных связях (русские чай заваривают, в Венгрии чай варят, в Китае чай засыпают в горячую воду и т. д.).

Авторы впервые указывают на необходимость семантизации фона слова при обучении русскому языку иностранцев и при составлении словарей. В связи с учетом фона слова предлагается ввести в лексикографии понятие «изъяснение» и составлять лингвострановедческие словари.

Третий раздел сборника составляют статьи, объединенные темой «Социальные различия в использовании языковых вариантов» и единой методикой сбора и обработки материалов. Ценность этих статей (М. Я. Гловинская, Вариативность произношения заимствованных слов в современном русском языке, С. М. Кузьмина, Вариативность произношения заимствованных слов в современном русском языке, С. М. Кузьмина, Вариативность произношения групп согласных, В. Л. Воронцова, Варианты флексий *-ов*, и *-Ø* в родительном падеже множественного числа существительных мужского рода, М. В. Китайгородская, Вариативность в выражении рода существительного при обозначении женщин по профессии, Н. Е. Ильина, Глагольные варианты с чередованием *-ну/*-нуль суффикса в основе, Е. И. Голанова, Словообразовательная вариативность наименований приспособлений и механизмов) состоит в том, что в них излагаются результаты проведенного среди носителей русского языка исследования, в котором были установлены корреляции между языковыми вариантами и социальными группами (возрастными, по образованию, по социальному положению, по территориальному признаку). Думается, что советская социолингвистика, несомненной заслугой которой является постановка и решение ряда методологических проблем, в своем движении вперед должна опираться и на результаты подобных конкретных исследований, в которых проверяются выдвинутые методологические принципы и формулируются новые.

Четвертая и последняя часть сборника озаглавлена «Социолингвистика за рубежом». С. Эрвин-Трипп (США), И. Краус (ЧССР), Ф. Папп, К. Э. Кипп (ВНР), Х. Яхнов (ФРГ) в своих статьях в сжатом виде дают очень полезные сведения относительно состояния и развития социолингвистических исследований в соответствующих странах.

В целом рецензируемый сборник, включающий статьи как советских, так и зарубежных социолингвистов, характеризуется новизной в постановке и решении ряда важных социолингвистических проблем. От сборников, посвященных разным вопросам социальной лингвистики, которые выходили в последние годы, сборник «Социально-лингвистические исследования» выгодно отличается тематическим единством, компактностью и сжатостью, продуманностью структуры и хорошей организацией материала. Хочется выразить надежду, что рецензируемый сборник окажется полезным не только социолингвистам, но и всем советским языковедам.

Никольский Л. Б.

H. Birnbaum. **Common Slavic. Progress and problems in its reconstruction.**— Cambridge—Ann Arbor, «Slavica Publishers», 1975. XI+436 стр.

Славистам есть чем гордиться: в области реконструкции праязыка они достигли экстраординарных результатов, каких не знает ни одна ветвь сравнительно-исторического языкознания. Если в других отраслях сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, по словам В. Пизани (1953/1956), праязык напоминает школьную грамматику латинского языка: «он не имеет развития и не обладает никакими разновидностями», а прагерманский, по словам В. Жирмунского (1964), представляется как «простое перечисление гипотетических признаков фонетики и морфологии», то праславянский уже давно реконструируется как язык, имеющий свою историю и диалектное членение. По мнению Г. Бирнбаума (стр. 339—342), это частично объясняется стечением ряда благоприятных факторов и прежде всего — специфической прозрачностью самого материала славянских языков, с одной стороны, и эрудицией лингвистов, приложивших свои усилия в данной отрасли знания,— с другой.

Рецензируемая книга рассматривается автором как введение в славянское сравнительное языкознание и как руководство по основным источникам, проблемам и результатам славистики для компаративистов других отраслей сравнительно-исторического языкознания (стр. X—XI)

Это — детальный и целостный анализ современного состояния исследований в области реконструкции праславянского языка, его отдельных ярусов (фонетика, морфология, синтаксис, лексика с этимологией) и общих проблем (периодизация истории праславянского языка, его место среди индоевропейских языков, связи с другими языками, диалектное членение, даже вопросы прародины славян).

В свое время Г. А. Ильинский (1916) поставил перед собою задачу проследить «поступательный ход научной мысли» в области реконструкции праславянского языка, которую он блестяще выполнил, изложив «прогресс и результаты» в форме «обычной грамматики», к тому же обосновав положение о том, что «наука о праславянском языке» тогда уже «нашла себя самое» и имеет право на самостоятельное существование. Усилиями многих поколений отечественных и зарубежных ученых эта наука достигла выдающихся успехов, имеющих общелингвистическое значение. Дальнейшее развитие науки настоятельно требует нового, современного обобщения «прогресса и результатов» науки о праславянском языке. За послевоенный период появились разного рода обобщения то в виде сравнительных или праславянских грамматик, то в виде этимологических словарей, но это — как правило — прежде всего обобщение и достижение новых результатов исследования материала. Однако в истории любой науки не менее важен анализ «поступательного хода научной мысли», анализ эволюции идей и понятий, анализ способов получения нового знания, анализ соотношения решенных и нерешенных проблем.

Г. Бирнбаум, профессор Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), известен как высоко эрудированный специалист в различных областях славистики, научные интересы которого распространяются и за пределы собственно сравнительно-исторических штудий. Его частные исследования отличаются пристальным вниманием к мнению и результатам предшественников, к проблемам методологии нашей науки. Многочисленные работы Г. Бирнбаума по сравнительной грамматике славянских языков посвящены наиболее сложным проблемам фонологии праславянского языка и его морфологии, широко известны его работы в области реконструкции праславянских диалектов, теоретических проблем реконструкции и т. п., и, видимо, не случайно, именно ему удалось создать и издать книгу, содержащую анализ состояния науки о праславянском языке.

Здесь детально анализируются сотни книг, брошюр и отдельных статей не только собственно по праславянскому языку и сравнительной грамматике славянских языков, но и по сравнительной грамматике индоевропейских языков и, естественно, исторические грамматики всех славянских языков. Примечателен факт появления этой книги в США не только потому, что в этой стране славистика чрезвычайно молода (здесь работает, так сказать, еще первое поколение славистов), но еще и потому, что из этой страны идут разного рода обвинения в адрес «традиционного эмпирического» языкознания, призывы порвать с традицией и строить «новейшее языкознание», к сожалению, подхваченные и некоторыми нашими лингвистами.

Рецензируемая книга состоит из двух частей. Обширная первая часть («Progress», стр. 23—235) посвящена собственно истории исследований в области реконструкции праславянского языка, начиная с первых праславянских грамматик (Поржезинский 1914, Ильинский 1916; Миккола 1913—1942—1950, Мейе 1924), и, отдельно, по сравнительной грамматике славянских языков (Миклошич, Вондрак, Бернштейн, Вайян и др.). В этой части анализируются и некоторые работы, опубликованные до 1965 г. Эта дата, по признанию автора, чисто условна. Вторая часть («Problems», стр. 237—338) посвящена собственно анализу современного состояния науки (1965—1972). Автор намерен к следующему съезду славистов (1978) опубликовать и анализ работ, появившихся после 1972 г. Книге предпослано «Введение» (стр. 1—22), а в конце ее дается краткое, но полное веры в дальнейшие успехи нашей науки «Заключение» (стр. 339—343). Избранная библиография (стр. 344—436) представляет собой список тех работ, которые так или иначе упоминаются в книге (всего около 900 названий, среди них достаточно полно представлены работы советских лингвистов).

Поразительна осведомленность автора по самым разнообразным проблемам и вопросам сравнительной грамматики славянских языков. И несмотря на то, что по многим вопросам у автора сложилось свое собственное мнение, ему в общем удалось избежать почти неизбежного субъективизма в оценке иных концепций, иных мнений. Большинство его оценок вполне объективно, свое расхождение с той или иной концепцией он излагает вполне доброжелательно. Вполне корректно и достаточно подробно он излагает и те концепции, с которыми сам не может согласиться. Это объясняется тем фактом, что здесь Г. Бирнбаум выступает не как сторонний регистратор: здесь подводятся итоги исследований и обсуждаются результаты, полученные не только многочисленными предшественниками и современниками автора, но и самим автором, внесшим значительный самостоятельный вклад в разработку обсуждаемых проблем.

Не менее поразительна осведомленность Г. Бирнбаума в огромном потоке научной литературы, особенно в литературе после-

военного времени. Здесь сколь-нибудь существенных пробелов нет. Всего этого достаточно, чтобы рецензируемая монография Г. Бирнбаума стала настольной книгой компаративиста вообще и слависта — в особенности.

Основное внимание Г. Бирнбаум уделяет современному состоянию нашей науки, но кое-что из весьма существенного на раннем этапе развития науки оказалось, видимо, не по вине автора, за пределами анализа. К сожалению, Г. Бирнбаум не смог ознакомиться с книгой Г. А. Ильинского, этой первой фундаментальной «Праславянской грамматикой». Ничего не говорится о замечательной работе П. Бузука, а это — первый опыт (не только в славистике, но и в компаративистике) построения именно истории праязыка, где впервые четко сформулировано и так или иначе реализовано представление о праязыке, как об изоглоссной области. Ничего не сказано о Ф. Ф. Фортунатове.

Думается, что и периодизацию истории нашей науки можно построить на объективных критериях ее внутреннего развития и некоторых «внешних факторах». В таком случае, первый этап в развитии нашей науки — процесс накопления фактов, добытых сравнительно-историческим методом, завершившийся созданием обобщающих трудов (Г. А. Ильинский, А. Мейе и этимологический словарь Э. Бернекера). Эти катализаторы интенсифицировали исследования в области реконструкции праславянского языка на втором этапе развития нашей науки (межвоенный период). В этот период происходит постепенный переход от статического к динамическому описанию праязыка, от выяснения инвентаря «архетипов» к реконструкции систем, к эволюционным процессам, усиливаются поиски наиболее общих закономерностей эволюции праязыка, поднимается проблема периодизации его истории. Строго генетический характер исследования постепенно уступает место генетико-типологическому. Совершенствование методов и приемов реконструкции праславянского языка получает общелингвистическое значение.

Здесь наиболее ощутимый вклад в науку о праславянском языке, безусловно, сделали Ф. Ф. Фортунатов, его ученики и ученики их учеников (Э. Бернекер, А. Белич, Е. Будде, П. Бузук, Л. Булаховский, Н. Ван-Вейк, Н. Дурново, Г. Ильинский, С. Кульбакин, Б. Ляпунов, И. Миккола, Х. Педерсен, В. Поржезинский, А. Соболевский, Т. Торбьернсон, Н. Трубецкой, М. Фасмер, А. Шахматов, Р. Якобсон и др.). Признание этого факта нисколько не умаляет заслуги и других лингвистических школ (А. Мейе, Т. Лер-Сплавинский и др.). Но в методологическом отношении, безусловно, фортунатовскому направлению исследователей праславянского языка следует отдать «пальму первенства».

В какой-то мере периодизация истории науки о праязыке обусловлена и таким внешним фактором, как этапы подъема международной роли славянских народов (Октябрь и образование самостоятельных славянских государств, вклад славянских народов в дело разгрома фашизма и т. д.). В связи с этим рос интерес к славянским языкам, увеличивалось число научных центров и т. п.

Третий этап (послевоенный) наиболее детально описан в рецензируемой книге.

Г. Бирнбаум, как и следовало ожидать, большое внимание уделяет уточнению фундаментальных понятий и терминов, настаивая на последовательном разграничении понятий «протославянский» и «общеславянский», отражающих этапы в развитии праславянского языка (стр. 1—3). Автор несколько раз возвращается к проблеме верхней и нижней хронологической границы праславянского языка, периодизации его истории и его диалектного членения (стр. 228—236, 315—338). Детально обсудив различные решения данных проблем, Г. Бирнбаум подчеркивает преимущество собственно структурных, прежде всего фонологических критериев, предложенных Н. Дурново и Н. Трубецким, в их дальнейшей разработке советскими языковедами (В. Иванов, В. Топоров, В. Журавлев), а именно: нижняя граница праславянского языка — падение редуцированных, а верхняя — генезис славянского *-х-* (стр. 228—229, 339—340).

При этом детально излагаются глубоко фундированные соображения О. Н. Трубачева относительно диалектного членения праславянского языка по данным лексики (стр. 300—301). Г. Бирнбаум отмечает и перспективность подхода Н. И. Толстого к проблеме реконструкции доисторического словарного состава праславянского языка (стр. 305—306), высоко оценивает вклад Ф. П. Филина в разработку проблемы генезиса и диалектной дифференциации восточнославянских языков (стр. 335—337) и вообще знакомит читателя со многими работами советских исследователей (С. Б. Бернштейн, Б. В. Горнунг, В. М. Илличи-Свитыч, П. С. Кузнецов и др.), а не только с работами своих западноевропейских и американских коллег, как это, к сожалению, нередко встречается в обзорах некоторых лингвистов.

Анализируя проблемы дефиниций, методов и цели реконструкции праславянского языка, Г. Бирнбаум считает «симптоматичным» в настоящее время пересмотр вопроса о цели и возможностях такой реконструкции, предложенный советскими славистами, считая весьма продуктивными понятия «передового диалекта» и изоглоссной области. Он не-

сколько раз подчеркивает свою принадлежность к сторонникам динамической модели праязыка, сформулированной советскими славистами, развившими традиции, восходящие в конечном счете к Ф. Ф. Фортунатову (ср. его тезис, сформулированный в одном из первых курсов лекций: «праязык, как и всякий язык, должен иметь свою историю и диалектное членение»). В то же время Г. Бирнбаум критикует архиортодоксальное представление о последовательном разветвлении праязыка на базе «догматической» концепции о родословном дереве (стр. 320. 331 и сл.).

Большое место в книге отведено частным и конкретным вопросам реконструкции праславянского языка и его истории: фонология с морфонологией и акцентологией (стр. 84—149, 242—271), морфология (стр. 150—179, 272—291), синтаксис (стр. 180—199, 292—298), лексика и этимология (стр. 200—219. 299—311). При этом постоянно отмечается результативность системно-функционального подхода к проблемам реконструкции и не только в области фонетики, где такой подход дал наиболее ощутимые результаты (стр. 242 и сл.), но и в области лексики (стр. 306). Г. Бирнбаум приветствует применение данных типологии с целью уточнения реконструируемых процессов и явлений праязыка, таких как сопоставление структуры праславянского слога со схожими явлениями в японском и французском (стр. 268—269). Таким образом, в рецензируемой книге читатель найдет не только результаты (с набором различных решений той или иной проблемы), но и получит некоторое представление о способах и методах достижения этих результатов. Правда, в такого рода книге хотелось бы видеть более подробное изложение эволюции методов реконструкции праязыка, описание постепенного совершенствования методов сравнительно-исторических исследований. Здесь слависты внесли немалый вклад в общую сокровищницу теоретического и сравнительно-исторического языкознания.

Следует еще раз отметить действительно редкую способность Г. Бирнбаума видеть взаимосвязи излагаемых концепций, их обусловленность предшествующими идеями и концепциями. Так, пожалуй, впервые подчеркнута связь концепции Р. О. Якобсона («Remarques», 1929) с идеями его учителя по московскому университету Н. Дурново (стр. 85, ср. также стр. 260 и др.). Однако, справедливости ради, необходимо уточнить взаимосвязи концепции о групповом сингармонизме в праславянском языке. Г. Бирнбаум несколько раз подчеркивал связь этой концепции с концепцией Р. О. Якобсона, не видя между ними значительных различий (стр. 267—268, 87—88, 142—144). Сходство, действительно, есть. Так сказать «типологически» их объединяет идея поиска внутренней взаимосвязи между всеми или по крайней мере большинством праславянских фонетических процессов как выполнение заветов Ф. Ф. Фортунатова. Генетически их объединяют идея А. А. Шахматова (1915) [1] о раннем и последовательном смягчении согласных перед гласными переднего ряда и лабиовеляризации согласных перед остальными гласными «в пределах таутосиллабических сочетаний», с одной стороны, и идеи Щербы — Бубриха — Поливанова о силлабемах — с другой. И различия восходят опять-таки к Шахматову.

Представляется, что хронологию смягчения согласных следует, вслед за Фортунатовым, Ягичем, Шахматовым и Мейе, отнести к более раннему периоду вопреки положениям Трубецкого — Якобсона. Необходимо обратить внимание на лабиовеляризацию и, опираясь на идеи Мейе — Мартине, связать ее с делабиализацией гласных, а в конечном счете и с генезисом протетических *u* и *i*-, сняв одну из фундаментальных трудностей (П. Ивич) концепции Р. О. Якобсона. Далее, вслед за А. И. Томсоном надобно строго разграничивать палатальные и палатализованные согласные, относя йотацию к явлениям, противоречащим тенденции слогового сингармонизма, сняв тем самым еще одну фундаментальную трудность (Ван-Вейк) концепции Р. О. Якобсона. Третью, бодуэновскую, палатализацию, перешагивающую через границу слога, необходимо отнести к явлениям, уже разрушавшим слоговой сингармонизм, и вместе с результатами монофтонгизации дифтонгов это и будет началом конца «эпохи силлабем». Тем самым снимается критика Н. Ван-Вейка в адрес гипотезы о сингармонизме. Есть и другие общие и частные различия.

Из всех многочисленных проблем, освещаемых в книге о современном состоянии и реконструкции праславянского языка, пришлось подробно остановиться на одной из проблем лишь потому, что даже самый квалифицированный специалист при весьма доброжелательном отношении к концепции о группофонемах судит о ней несколько односторонне. И это не его вина. Эта концепция, выдвинутая более 15 лет назад, опирается на анализ эволюции идей и понятий в данной отрасли знания и вскрывает теснейшую внутреннюю взаимосвязь всех звуковых процессов (от сатемовой палатализации до падения редуцированных)

[1] Связь концепции Р. О. Якобсона с этим положением А. А. Шахматова неоднократно отмечалась в славистической литературе (М. Комарек, 1963, В. Н. Сидоров, 1966).

праславянского языка как цепи причинно-следственных отношений. Но она пока целиком не опубликована и внешне представляет собой несколько разрозненных статей. Эта концепция имеет хождение в научной литературе и даже за пределами славистики, хотя ей нередко приписываются свойства концепций то Р. О. Якобсона, то Р. И. Аванесова. Но она, пожалуй, ближе к концепции А. Мартине и, естественно, как более поздняя, включает в себя предшествующие концепции.

Еще одно замечание. При общей объективности оценки множества конкретных работ и концепций, иногда (к счастью, весьма и весьма редко) встречаются, пожалуй, и не вполне объективные. Так, думается, что не вполне справедлива оценка (стр. 275) книги Вл. Георгиева «Основни проблеми на славянската диахронна морфология» (1969), данная, правда, в виде выдержки из рецензии Х. Андерсена (1971). Эта книга В. Георгиева в какой-то мере сопоставима с первым опытом диахронической фонологии Р. О. Якобсона в той мере, в какой они демонстрируют и формулируют принципы диахронической лингвистики, отсюда и общие для них достоинства и недостатки.

В заключении рецензии на весьма информативную и ценную книгу необходимо еще раз подчеркнуть, что славистика и компаративистика обогатились еще одним фундаментальным обобщением. Ее издание в США на английском языке свидетельствует о возросшем интересе к славистике во всем мире. Без исследований в области праславянского языка, без этой дисциплины вузовского образования, невозможны ни подготовка квалифицированных специалистов, ни преподавание, ни исследование русского языка, как, впрочем, и других славянских (украинского и белорусского, польского и чешского, болгарского и сербо-хорватского).

Журавлев В. К.

Р. Г. Пиотровский. **Текст, машина, человек.**—Л., ЛО изд-ва «Наука», 1975. 327 стр.

Для развития современной науки характерно, что «могущественный ток идей идет как от естествознания к общественным наукам, так и в обратном направлении — по линии все более сильного влияния проблем, идей и методов социальных наук на естественные и технические» [1].

Потребность в контакте и взаимообогащении обнаруживается в первую очередь между языкознанием, кибернетикой и математикой. И это не случайно. Дело в том, что на начальном этапе своего развития кибернетика довольствовалась только исследовательским аппаратом и идеями непрерывной и дискретной математики, пренебрегая методами гуманитарных наук. Однако постепенно стало ясным, что при решении вопросов искусственного интеллекта и создании автоматов-роботов, управляемых речевыми сигналами, необходимо опираться на сведения о функционировании тех речемыслительных механизмов, которыми пользуется человек, решая творческие проблемы и задачи своей повседневной жизни [2] Интерес к лингвистическим вопросам со стороны кибернетиков, математиков и специалистов по вычислительной технике диктуется нуждами разработки языков программирования, организации удобных форм общения человека и машины, а также создания лингвистического обеспечения автоматизированных систем научно-технической информации [3]. Современная информационно-компьютерная промышленность уже не может успешно развиваться без участия лингвистики. Одновременно и среди лингвистов растет интерес к формально-машинным методам переработки текстов, дающим возможность в несколько раз повысить эффект лексикографической работы и литературоведческого анализа источников [4].

Таковы объективные основы взаимодействия между языкознанием и кибернетикой, контакта, из которого возникает новое направление — инженерная лингвистика (ИЛ). Первостепенная задача ИЛ — это установление теоретического и рабочего контакта между лингвистами, с одной стороны, и математиками-про-

[1] «Укреплять взаимосвязь общественных, естественных и технических наук», «Коммунист», 1977, 1, стр. 67.

[2] Л. Т. Кузин, О системах искусственного интеллекта, сб. «Искусственный интеллект. Итоги и перспективы Материалы семинара», М., 1974, стр. 3—15.

[3] В настоящее время Госкомитетом стандартов утвержден *ГОСТ 19675-74* на научно-техническое понятие «Лингвистическое обеспечение АСУ».

[4] «Compendia. Computer-generated aids to literary and linguistics research», ed. by R. A. Wisbey, Leeds, 1968—1975; В. А. Вертель, Е. В. Вертель, Р. П. Рогожникова, К вопросу об автоматизации лексикографических работ, ВЯ, 1978, 2.

граммистами, кибернетиками и инженерами-электрониками, с другой. Такое взаимопонимание может быть осуществлено при условии, что определены соответствия между закрытым жестко формализованным математическим языком компьютера и открытым естественным языком, нежесткая, диффузная структура которого позволяет человеку решать, пусть неполно, широкий круг повседневных и творческих вопросов [5].

В этих условиях книга Р. Г. Пиотровского «Текст, машина, человек» сближает точки зрения специалистов в разных областях знания и закладывает основу для дальнейших исследований лингвистических аспектов искусственного интеллекта, а также построения лингвистических автоматов, предлагая необходимые для этого теоретико-лингвистические обобщения и полезные практические рекомендации.

Автор справедливо отмечает, что содержащиеся в работе результаты могут быть оценены и интерпретированы с двух точек зрения. Во-первых, их можно рассматривать в чисто лингвистическом ключе, т. е. «с точки зрения перспектив развития лингвистики речи, стремящейся к преодолению противоречия между индивидуальной (интроспективной) оценкой языка лингвистами и коллективной (социальной) его природой путем введения правил остранения» (стр. 293).

В этом случае внимание читателя привлечет вторая часть и начало третьей части книги. В этих разделах автор пытается вскрыть с помощью статистико-дистрибутивных и вероятностно-информационных методов текстообразовательную иерархию лексико-фразеологического, морфологического и синтаксического уровней языка. Вместе с тем Р. Г. Пиотровский показывает, что вероятностно-информационная методика должна сочетаться с приемами неколичественного описания, в частности с методами, предлагаемыми теорией нечетких множеств и алгоритмов (гл. 8) и теорией распознавания смыслового образа текста (гл. 9). Автор справедливо указывает, «что пока созданы лишь общие контуры этих последних теорий» (стр. 293).

Если оценивать книгу только с точки зрения лингвистики речи, то часть третью книги следует рассматривать как вспомогательный раздел, в котором осуществляется формальная проверка объяснительной силы тех гипотез и моделей, которые были заданы автором книги во второй части работы.

Во-вторых, работу Р. Г. Пиотровского можно читать и в инженерно-лингвистическом ключе. В этом случае первая и вторая части выступают в качестве вспомогательных разделов, задающих кибернетическую и языковедческую перспективы для развития не только ИЛ, но и таких устройств вычислительной техники, как ассоциативная память, использующая упаковку элементарных значений [6].

В третьей части и отдельных разделах первой и второй частей (§§ 5, 7, 9, 12—16, 19, 23) излагаются основные идеи и методика ИЛ. Здесь автору удалось показать, что задача ИЛ «заключается не в постулировании и программистском воплощении очередной „единственно правильной" лингвистической концепции, но в создании разумной композиции разных идей — *такой теоретической* композиции, которая обеспечивала бы поэтапное и все более эффективное моделирование на ЭВМ процессов текстообразования и приводила бы к воспроизведению таких сложных лингвистических объектов, как индекс, аннотация, реферат и, наконец, перевод текста» (стр. 294).

Перейдем теперь к рассмотрению некоторых общелингвистических и инженерно-лингвистических проблем, описанных в рецензируемой книге.

Справедливо отмечая, что кибернетический автомат, способный к глобальному распознаванию текста, должен базироваться на лингвистическом опыте коллектива, а не отдельного индивидуума, автор последовательно рассматривает антиномии, вытекающие из этой посылки. Важнейшие из них — парадокс идиолекта и языка, о котором мы только что говорили, парадокс дискретности и непрерывности в речевой деятельности человека, а также так называемый парадокс Ахиллеса и черепахи, отражающий соссюровскую антиномию синхронии и диахронии.

С помощью дискретной, двухпозиционной логики можно успешно анализировать лексико-грамматическую структуру текста, но и она мало пригодна для описания семантических процессов и стилистических коннотатов, так как семантические поля одной лингвистической единицы обычно наплывают на поля соседних единиц. Пути преодоления этого противоречия автор видит в использовании аппарата вероятностной логики и нечетких множеств.

Что касается парадокса Ахиллеса и черепахи, то в нем отражается противоречие между открытым характером системы *естественного языка* и закрытым характером машинных алгоритмов, которые могут содержать лишь синхронный срез описания языка. Автор показывает, что не приходится рассчитывать на легкое преодоление этого парадокса, успех мо-

[5] В. В. Налимов, Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков, М., 1974, стр. 53 и сл.

[6] Т. Г. Хазагеров, Некоторые вопросы семантики в свете теории информации, ИАН ОЛЯ, 1977, 1, стр. 77.

жет быть достигнут на пути разработки эвристических алгоритмов, опирающихся на использование в будущем ЭВМ с ассоциативной организацией памяти.

Важнейшим препятствием на пути глобального распознавания текста на ЭВМ является недостаточная разработанность лингвистической теории. Р. Г. Пиотровский критически анализирует два известных подхода к этой проблеме. Первый — иконический — рассматривает язык как популяцию всех реализованных когда-либо и вообще потенциально возможных текстов. Кроме громадных технических трудностей, при таком подходе возникает методологический барьер. Дело в том, что в результате взаимодействия нормы языка и постоянно меняющейся ситуации порождается большое число совершенно новых текстовых цепочек, которые не являются повторениями и не могут быть выведены с помощью простой аналогии. В силу этого иконический подход не может обеспечить полного машинного распознавания текста.

На первый взгляд, более перспективным представляется детерминистский подход, основанный на теории порождающих грамматик. Но и в этом случае обнаруживается ряд принципиальных трудностей. Во-первых, порождающие грамматики строятся по типу грамматик контекстно-свободных языков, не учитывающих контекстных ограничений. Такой подход оказывается плодотворным при анализе искусственных языков программирования. Ограниченность его возможностей в случае естественных контекстно-зависимых языков достаточно очевидна. Кроме того, порождающие грамматики не создали однозначной процедуры для объективного обнаружения глубинных структур, которые постулируются в большинстве случаев путем обращения языковеда к собственной интуиции и здравому смыслу. Таким образом, остается неразрешенным парадокс идиолекта и языка.

Машинное описание языка должно строиться как распознающая процедура — своего рода «грамматика для слушающего», в то время как порождающие грамматики рассматривают язык и текст с позиции говорящего. И, наконец, в теории порождающих грамматик не выработаны эффективные приемы превращения лингвиста из участника исследуемого процесса в его стороннего наблюдателя.

Рассматривая в качестве коммуникативной системы хорошо известную из теории связи схему передачи информации «источник информации — канал с шумом — приемник», Р. Г. Пиотровский особое внимание уделяет приемнику сообщения, справедливо полагая, что, если слушатель или читатель не в состоянии интерпретировать сообщение, то имеет место лишь энергетическое, а не информационное воздействие на него.

Уделяя большое внимание стержневой проблеме ИЛ — проблеме автоматического распознавания смысла текста, — автор показывает, что «порождение текста является результатом взаимодействия многих переменных, одни из которых относятся к системе, норме и узусу языка, другие имеют ситуативную природу, а третьи отражают индивидуальность источника сообщения. Выявить все эти переменные и представить их в формализованном виде в машинном описании языка практически невозможно...» (стр. 58). Отсюда делается вывод (безусловно, справедливый для сегодняшнего состояния техники), о том, что в память компьютера должна быть введена некоторая модель, представляющая собой сокращенное описание естественного языка, которая именуется в книге машинным базовым языком (МБЯ). Построение МБЯ является сложной, но практически разрешимой задачей, и автор уделяет большое внимание разработке процедуры, которая позволила бы выделить во всем многообразии языка и речи главные релевантные элементы и связи, образующие МБЯ. Р. Г. Пиотровский, опираясь в основном на собственные работы и работы своих учеников, показывает, что выделить основные релевантные характеристики можно с помощью приемов теории вероятностей и статистики. При этом текст рассматривается как случайный процесс, а единицы текста (буквы, морфемы и т. д.) — как случайные события.

В качестве простейших вероятностно-статистических моделей текста рассматриваются частотный список словоформ и слов, словарь устойчивых словосочетаний и типовых контекстов [8]. В книге подробно рассматриваются алгоритмы получения разного вида словарей с помощью ЭВМ, что значительно облегчает работу исследователя и расширяет его возможности, приводятся образцы машинных результатов.

Обращает на себя внимание содержательный анализ парадокса вероятности и информации. Известно, что редкие слова и словоформы несут заметно больше смысловой информации, чем частые лексические единицы, поэтому частотная покрываемость текста фрагментами частотного словаря превосходит информационное покрытие. Для объяснения этого явления Р. Г. Пиотровский впервые вводит понятие нуль-частотных слов, резервных лексических единиц, не зафиксированных в реально получаемых частотных словарях. Производя оценку объемов выборок, необходимых для выявления нуль-частотных единиц конкретных подъязыков, автор отмечает, что

[8] П. М. Алексеев, Статистическая лексикография, Л., 1975.

они весьма велики (до 10^{10} словоупотреблений) и не могут быть обработаны по чисто технологическим причинам. Кроме того, материал будет подвержен действию парадокса Ахиллеса и черепахи (изменение лексики в процессе создания МБЯ). Отсюда делается вывод о необходимости иметь возможность последовательно пополнять МБЯ ранее не зарегистрированными формами. Такая организация обучения компьютера имитирует усвоение человеком специальной терминологии. Для выделения с помощью ЭВМ из больших массивов текста семантически нагруженных единиц и слов-заполнителей предлагается использовать статистические особенности распределения лексики в словаре. При этом предполагается, что появление семантически нагруженных элементов в тексте в конечном итоге определяется ситуацией, употребление же единиц заполнения диктуется системой и нормой языка.

Особый интерес заслуживает трактовка автором основной задачи ИЛ — моделирования лингвистических систем и процессов, отражательной и коммуникативной функции языка. Рассматривая основные вопросы лингвистического моделирования, автор показывает, что при построении лингвистических моделей целесообразно ориентироваться на индуктивные или индуктивно-дедуктивные модели, вырастающие на основе изучения информационной структуры текста. Дело в том, что предложенные последователями Хомского чисто дедуктивные умозрительные модели языка при экспериментальной проверке не выдерживают испытания: обнаруживается, что их объяснительная способность очень низка. Создатель первого в мире робота, способного принимать речевые сигналы и отвечать на них, Т. Виноград в своей книге «Программа, понимающая естественный язык» прямо говорит о том, что хомскианские «трансформационные алгоритмы способны обрабатывать лишь небольшие подмножества английского языка, да и то неэффективным образом» [9].

Обращаясь к методологическим аспектам ИЛ, автор подчеркивает, что ИЛ не ограничивается построением умозрительных гипотез, пусть даже облеченных в высоко математизированную форму (гл. 5, § 41; гл. 6, § 49), а каждая модель подвергается проверке с точки зрения того, как она объясняет лингвистическую реальность. Эта проверка обычно осуществляется в виде реализаций алгоритмов машинного перевода, программ автоматического реферирования и диалога между человеком и роботом. Такую проверку следует рассматривать, как явствует из текста книги, не столько в утилитарном ключе, ключе внедрения, сколько с точки зрения проверки правильности, строгости и объяснительной силы данной лингвистической модели. Иными словами, ИЛ следует рассматривать не как практическую «приземленную» совокупность машинно-лингвистических разработок, но как направление, занимающееся разработкой теории формальных лингвистических моделей и их реализации на ЭВМ.

Разумеется, в одной книге нельзя охватить все перспективы такой быстро развивающейся отрасли языкознания, какой является современная инженерная лингвистика. Уже вскоре после выхода в свет рецензируемой работы у нас в стране была реализована первая промышленная система адаптивного машинного перевода [10], а также созданы экспериментальные алгоритмы диалога «человек — ЭВМ» [11].

Автору все же не удалось избежать некоторых промахов, что в значительной мере объясняется многоплановостью поставленных задач. Так, например, не совсем удачным представляется использование в книге термина «лингвистика текста» (стр. 55 и сл.), который является, очевидно, калькой немецкого термина Textlinguistik, употребляющегося как в значении «лингвистика целостного текста», так и в значении «лингвистика речи». Во избежание омонимии со стилевой «лингвистикой текста» вторую часть книги следовало бы именовать «лингвистикой речи». Укажем также на ряд част-

[9] Т. Виноград, Программа, понимающая естественный язык, М., 1976, стр. 74.

[10] Н. А. Абдуллаева и др., Опыт реализации промышленного МП английских текстов на русский язык, сб. «Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики. Материалы II Всесоюзной конференции», Кишинев, 1977, стр. 21—22; К. Б. Бектаев и др., Промышленный машинный перевод английских, французских патентных текстов по низкотемпературной плазме на русский язык, сб. «Материалы к VII Всесоюзной конференции по генераторам низкотемпературной плазмы», II, Алма-Ата, 1977, стр. 241—242; Р. Г. Пиотровский, К. Б. Бектаев, Машинный перевод: теория, эксперимент, внедрение, ВЯ, 1977, 5, стр. 31—33.

[11] Х. А. Арзикулов и др., Тезаурусное распознавание смысла французских научно-технических текстов, сб. «Лингвистические исследования. 1977. Вопросы лексикологии, лексикографии и прикладной лингвистики», М., 1976, стр. 13—27; его же. Принципы построения дескрипторно-реляторного тезауруса, сб. «Автоматическая переработка текста...», стр. 141; М. С. Хажинская, Тезаурусная семантическая сеть в диалоговых АИПС, сб. «Автоматическая переработка текста...», стр. 177—178.

ных погрешностей в тексте книги. В условных обозначениях к рис. 2 (стр. 9) следует читать «3 — десигнат, 2 — денотат», а не наоборот, как это приведено в тексте; на стр. 51 машинное имя отождествляется с означаемым вместо означающего; на стр. 126 неравенство (9) ошибочно названо равенством. В расшифровке символов к формуле (1) на стр. 224 ошибочно дано E_{iT} (должно быть F_{iT}).

Итак, эксплицируя теорию и практику инженерного языкознания, книга Р. Г. Пиотровского во многом расширяет горизонты современной лингвистики.

Арзикулов Х.

А. Л. Пумпянский. **Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе.** — М. «Наука», 1974. 247 стр.

Книга А. Л. Пумпянского посвящена проблеме, имеющей большое теоретическое и практическое значение: в ней выясняется роль порядка слов в формировании мысли, выражаемой предложением. Теоретическая ценность монографии определяется прежде всего тем, что она служит развитию и конкретизации учения марксистско-ленинской философии и советского языкознания о единстве языка и мышления, подтверждая с помощью языковых и мыслительных фактов не только наличие общей связи между единицами языка и мысли, но и существование строгой зависимости между структурой языковых единиц и структурой соответствующих им логических построений: компонентам логической фразы (логемы), т. е. логическому субъекту и предикату, в предложении соответствуют компоненты логико-грамматического членения предложения (логико-грамматический субъект и логико-грамматический предикат), несущие соответственно вспомогательную (исходную) и основную (новую) информацию.

Пользуясь методом билингвистического исследования порядка слов в научной и технической литературе, А. Л. Пумпянский устанавливает закономерности оформления логико-грамматического субъекта и логико-грамматического предиката в русском и английском языках с учетом как места их расположения, так и их представленности определенными членами предложения. Обнаружение определенного взаимосоответствия в способах оформления логико-грамматического субъекта и логико-грамматического предиката в двух сравниваемых языках обусловливает практическую полезность рецензируемой работы: ее выводы могут быть широко использованы как в процессе обучения иностранным языкам, так и в деятельности переводчика.

Теоретической основой билингвистического анализа, проводимого А. Л. Пумпянским, служит учение В. З. Панфилова о логико-грамматическом уровне предложения, обусловленном его актуальным членением и отличном от синтаксического уровня. По утверждению В. З. Панфилова, «на каждом из этих уровней мы имеем дело с элементами разных структур: если на синтаксическом уровне мы имеем дело с членами предложения, в том числе с подлежащим и сказуемым, то на логико-грамматическом уровне мы имеем дело с логико-грамматическим субъектом и логико-грамматическим предикатом. Значения членов предложения, включаемых на логико-грамматическом уровне в логико-грамматический субъект и предикат, содержатся на логико-грамматическом уровне предложения уже как бы в снятом виде, ввиду чего и логический субъект, и логический предикат могут быть выражены любым членом предложения или группой членов предложения» [1].

Вслед за В. З. Панфиловым А. Л. Пумпянский правомерно рассматривает обобщенную структуру (модель) логико-грамматического членения предложения и обобщенные типы компонентов этого членения (логико-грамматический субъект и логико-грамматический предикат) не как продукт конкретного речевого процесса, а как принадлежность языка.

Наибольшее значение для билингвистического исследования порядка слов в любой паре языков имеет положение В. З. Панфилова о том, что «предложения различных языков, выражающих одну и ту же мысль (передающие одну и ту же информацию), на логико-грамматическом уровне будут иметь одну и ту же структуру» [2], отражающую структуру логической фразы, которая объединяет суждение, вопрос и побуждение как свои разновидности и является универсальной формой мышления, свойственной всему человечеству. Отсюда следует, что «поскольку структура мысли, выражаемой предложением, фиксируется языковыми средствами на его логико-грамматическом, а не синтаксическом уровне, выявление при переводе структуры предложения на его логико-грамматическом уровне явля-

[1] В. З. Панфилов. Грамматика и логика (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения), М.— Л., 1963, стр. 39—40.

[2] В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 229.

ется необходимым условием адекватности передачи той или иной мысли, выраженной предложением на одном языке, средствами другого языка»[3].

При выявленной логико-грамматической структуре предложения для адекватного перевода далее необходимо точное знание порядка расположения логико-грамматического субъекта и логико-грамматического предиката и способов их представления определенными членами предложения в зависимости от занимаемого места. Решение этой задачи и составляет основную цель рецензируемой книги.

Хочется поддержать мысль автора о том, что любое предложение имеет логико-грамматический предикат и логико-грамматический субъект. Отсутствие логико-грамматического членения предложения, о котором иногда пишут в лингвистической и логической литературе, является мнимым. Впечатление логико-грамматической одночленности предложения является результатом либо неразграничения словесно-материальной и семантической структур предложения, либо игнорирования возможности логико-грамматического эллипсиса вспомогательной (исходной) информации.

В номинативных предложениях типа *Яд!*, произносимых при восприятии определенного предмета, вспомогательная информация (исходное отражение предмета мысли) представлена в виде наглядного образа рассматриваемой вещи, основная информация (качественная характеристика этой вещи) выражена словесно.

В научной и технической литературе видимость логико-грамматической нерасчлененности предложения обычно возникает в результате эллипсиса вспомогательной информации, которая присутствует имплицитно в контексте. В этом случае предложение оказывается неполным со стороны логико-грамматической структуры. В сущности, мы имеем здесь дело с частью предложения, его логико-грамматическим предикатом, субъект которого в неоформленном, рассредоточенном виде содержится в контексте. При этом со стороны синтаксической структуры предложение может быть и полным. А. Л. Пумпянский хорошо раскрывает механизм восстановления вспомогательной информации, иначе говоря, механизм структурного оформления субъектного содержания, концентрации его в едином структурном компоненте. Например, эллиптированное в логико-грамматическом плане предложение *Получены новые данные* может быть восстановлено следующим образом: *Нами получены новые данные. В 1970 г. получены новые данные, В ходе эксперимента получены новые данные* и т. д. (в зависимости от содержания контекста).

Автор книги справедливо подчеркивает важную роль модальных слов на логико-грамматическом уровне предложения, указывая на тесную связь модальности с категорией предикативности. Нельзя, однако, согласиться с его утверждением, что модальные слова на логико-грамматическом уровне полисемантичны (полифункциональны): эти слова якобы несут вспомогательную информацию, т. е. входят в состав логико-грамматического субъекта, если они относятся ко всему предложению в целом (в русском языке располагаются в начале предложения и синтаксически не связаны со сказуемым); модальные слова, по мнению автора, несут основную информацию, включаясь в логико-грамматический предикат, если они стоят непосредственно перед глаголом-сказуемым или после него и синтаксически связаны со сказуемым.

Поскольку модальные слова раскрывают характер соотнесения мысли с действительностью, иначе говоря, характеризуют степень объективности информации, они не могут относиться ко всему полному высказыванию в целом. Характер соотнесения логико-грамматического субъекта с действительностью является неизменным: в любом случае мыслится его соответствие предмету мысли, в результате чего предмет осознается как реально существующий. Модальная же оценка, содержащаяся в модальном слове, касается лишь логико-грамматического предиката, содержание которого поразному может соотноситься с объективной реальностью, характеризуясь различной степенью объективности. Модальное слово, таким образом, связано непосредственно с логико-грамматическим предикатом, а не со сказуемым, как утверждается в книге. Но эта связь не является обычной синтаксической связью. Последняя служит для выражения синтаксических отношений, представляющих обобщенное отражение объективных отношений между предметами и явлениями. Связь модального слова с логико-грамматическим предикатом не выявляет какого-либо синтаксического отношения. Само модальное слово устанавливает особое модальное отношение между основной (предикатной) и вспомогательной (субъектной) информацией, наслаивающееся на существующее между ними синтаксическое отношение. Это модальное отношение не отражает объективного отношения, а выступает как оценка отношения между основной (предикатной) информацией и объективной реальностью. В связи с тем, что и основная, и вспомогательная информация есть отражение объективной действительности, модальное слово не может быть носителем ни той ни другой информации и, следовательно, не может включаться ни в состав логико-грамматического предиката, ни в состав логико-грамматического субъекта. Оно всегда внешне присоединя-

[3] Там же.

ется к логико-грамматическому предикату, выражая оценку отношения его содержания к содержанию субъекта, а через него к предмету мысли.

Возможность случаев, когда модальное слово относится ко всему высказыванию и в русском языке располагается в начале предложения, не подрывает справедливости сказанного. В этих случаях, как и в любых других, модальное слово относится к логико-грамматическому предикату, но в качестве логико-грамматического предиката в силу логико-грамматического эллипсиса выступает все высказывание в целом, содержащее лишь основную информацию и нуждающееся для своего введения в речевой процесс в рассредоточенном выражении вспомогательной информации за счет предшествующего контекста. Предложение *Конечно, стоимость производства упала* (с постановкой модального слова на первом месте и его отнесенностью ко всему высказыванию) может быть оправдано только тогда, когда заранее известны некоторые обстоятельства, которые должны были обусловить определенный результат. Приведенное высказывание содержит в себе информацию об этом результате, являющуюся целиком основной информацией. Восстановление логико-грамматического эллипсиса позволяет построить примерно такое предложение, полное со стороны логико-грамматической структуры: *В связи со сложившимися обстоятельствами, конечно, стоимость производства упала.* Восстановленная часть, воплощающая в себе вспомогательную информацию и вводящая благодаря этому тематический контекст, выступает в качестве логико-грамматического субъекта.

Что же касается членов предложения, то каждому из них свойственна логико-грамматическая полисемия: любой член предложения может быть носителем как основной, так и вспомогательной информации. А. Л. Пумпянский хорошо показывает логико-грамматическую полисемию членов предложения в русском и английском языках. Члены предложения, несущие основную информацию, получают наименование «сильные», членам предложения, несущим вспомогательную информацию, автор дает название «слабые». Развивая учение о сильных и слабых членах предложения, А. Л. Пумпянский всесторонне раскрывает связь синтаксического и логико-грамматического (актуального) членений предложения на значительном фактическом материале двух языков.

Важнейшую роль в установлении указанной связи приобретает порядок слов, выступающий на синтаксическом уровне как порядок следования членов предложения. В рамках синтаксического членения предложения традиционно выделялось два порядка слов, связанных с расположением главных членов предложения по отношению друг к другу: прямой порядок слов, при котором подлежащее предшествует сказуемому, и обратный порядок слов, при котором подлежащее следует за сказуемым. При учете информационной нагрузки членов предложения выделение лишь двух типов порядка слов оказывается недостаточным. В рецензируемой работе отстаивается правильная мысль о существовании трех типов порядка слов. При прямом порядке слов слабое подлежащее находится перед сказуемым, при обратном порядке слов сильное подлежащее располагается после сказуемого. При «третьем» порядке слов сильное подлежащее предшествует сказуемому. Без знания всех трех типов порядка слов билингвистический анализ логико-грамматической структуры предложения, необходимый для осуществления адекватного перевода, становится затруднительным.

Сравнительное изучение порядка слов в русском, английском и некоторых других языках позволяет автору рецензируемой монографии вывести особый билингвистический закон «третьего» порядка слов, имеющий большое теоретическое и практическое значение. В результате анализа значительного фактического материала А. Л. Пумпянскому удается установить, что в русской письменной речи (прежде всего в научной и технической литературе) существует постоянный порядок расположения компонентов логико-грамматического членения предложения: в начале предложения располагаются его члены, несущие вспомогательную информацию (субъектные члены), за ними следуют члены предложения, несущие основную информацию (предикатные члены), «третий» порядок слов отсутствует. В связи с этим с помощью качественных переводов с любого языка на русский всегда можно определить наличие «третьего» порядка слов в другом языке. Автор работы следующим образом формулирует установленный им билингвистический закон: «Если предложение любого исходного языка имеет препозитивное предикатное подлежащее, то в русском предложении с одинаковым содержанием эквивалент этого подлежащего будет находиться в конце предложения» (стр. 60). И далее А. Л. Пумпянский пишет: «Другими словами, при билингвистическом исследовании порядка слов любого исходного языка и русского языка словопорядок в русской письменной речи служит индикатором распределения основной и вспомогательной информации в письменной речи другого языка» (там же). Способ подачи информации, свойственный русскому языку и возможный в других языках, при котором в предложении сначала вводится вспомогательная информация, а затем основная, получил название принципа «линейной» подачи информации. В отличие от русского языка в английском язы-

ке вспомогательная информация может находиться до, в середине и после основной. Такой способ введения информации автор назвал принципом «синусоидной» подачи информации.

Итогом билингвистического исследования информационной роли порядка слов в английском и русском языках явилось выведение логико-грамматических формул предложений для английской и русской научной и технической литературы. Логико-грамматические формулы — это модели предложения, компоненты которых различаются одновременно синтаксической функцией (их представленностью тем или иным членом предложения), местом расположения и информативной ролью (выражением основной или вспомогательной информации). Так, английская логико-грамматическая формула I (АЛГФ I) и соответствующая ей русская логико-грамматическая формула I (РЛГФ I) представляют собой сочетание следующих компонентов: слабое подлежащее + сильное глагольное сказуемое. Например: *This idea worked* «Это положение себя оправдало».

В английской логико-грамматической формуле VI (АЛГФ VI) сочетаются сильное подлежащее + ослабленное сказуемое + слабый второстепенный член предложения: *Two weightings are involved in every determination* «При каждом определении осуществляется два взвешивания».

Поскольку в русской письменной речи отсутствует «третий» порядок слов, АЛГФ VI заменяется в русском языке логико-грамматической формулой: слабый второстепенный член предложения + ослабленное сказуемое + сильное подлежащее. Разработка учения о логико-грамматических формулах предложения составляет бесспорную заслугу А. Л. Пумпянского, хотя термин «логико-грамматическая формула» нельзя признать удачным, так как читатель может легко отождествить его с терминами «логико-грамматическая структура» и «логико-грамматическое членение».

В экспериментальной части автор на обширном фактическом материале выясняет многообразие случаев взаимодействия английских логико-грамматических формул и логико-грамматических формул русского языка. Проведенный в этой части билингвистический анализ языковых фактов убедительно подтверждает справедливость выдвинутых в первой части работы теоретических и методологических положений, в основе которых лежит тезис В. З. Панфилова о том, что предложения разных языков, передающие идентичную информацию, обладают одинаковой логико-грамматической структурой и, следовательно, имеют одинаковое логико-грамматическое членение.

Обращает на себя внимание несколько неоднозначное употребление в книге термина «вспомогательная информация». Основное значение этого термина — исходная, субъектная информация о предмете мысли, противопоставляемая основной, т. е. новой, предикатной информации о том же предмете. И та и другая информация носит объективный характер, так как представляет собой отражение объективной реальности. Но вспомогательной информацией называется также содержание слов, характеризующих степень объективности информации, заключенной в предложении, слов, раскрывающих отношение автора к высказыванию, средств, изменяющих логико-грамматическое членение предложения, превращающих вспомогательную информацию в основную. В данном случае речь идет уже не об объективной информации, противостоящей основной информации как новому отражению предмета мысли, а об информации особого плана (логико-грамматической и субъективной информации), служащей для квалификации (характеристики) объективной информации. Целесообразно было бы первоначально противопоставить объективную информацию логико-грамматической и субъективной информации, а затем в рамках объективной информации разграничивать вспомогательную и основную (субъектную и предикатную).

В целом книга А. Л. Пумпянского представляет собой существенный вклад в теорию взаимоотношения логических и грамматических категорий, в учение о взаимосвязи и взаимодействии синтаксической и логико-грамматической структур предложения, о роли порядка слов в этом взаимодействии. Несомненна значимость рецензируемой работы для развития теории и практики перевода и обучения иностранным языкам.

Чесноков П. В.

Г. Ц. Пюрбеев. **Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис простого предложения.** Отв. ред. д-р филол. наук Т. А. Бертагаев. — Элиста, Калмыцкое книжное изд-во, 1977. 222 стр.

Несколько лет назад сектор языка и диалектологии Калмыцкого комплексного НИИ совместно с группой монгольских языков ИЯ АН СССР приступил к созданию нормативной Грамматики современного литературного калмыцкого языка [1]. К настоящему времени труд уже завершен и выходит частями в виде отдельных книг.

Рецензируемая книга является первой попыткой монографического описания синтаксиса простого предложения калмыцкого языка. Недостаточная разработанность синтаксиса простого предложения поставила автора перед большими трудностями. Тем не менее он, можно сказать, с успехом справился со своей задачей: дал подробное описание синтаксиса простого предложения и его членов, а также причастных и деепричастных оборотов. Поэтому было бы неправильным рассчитывать на то, что автор полностью восполнит тот серьезный пробел, который имеется в разработке синтаксических проблем, касающихся, в частности, простого предложения. Автору пришлось не только коренным образом пересмотреть вопросы синтаксиса простого предложения, рассматривавшиеся ранее в работах Г. Д. Санжеева («Грамматика калмыцкого языка», М.— Л., 1940; «Грамматика бурят-монгольского языка», М.— Л., 1941), У. У. Очирова («Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис», Элиста, 1964), Т. А. Бертагаева («Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. Простое предложение», М., 1964), Т. А. Бертагаева и Ц. Б. Цыдендамбаева («Грамматика бурятского языка. Синтаксис», М., 1962), но и дать новые материалы и новые наблюдения.

Не имея возможности подвергнуть анализу все разделы этой большой и содержательной работы, мы коснемся лишь тех ее особенностей, которые представляются нам наиболее примечательными.

Особого внимания, как мы отметили, заслуживают исходные теоретические положения книги, обусловившие и своеобразие ее композиции.

1. Богаты содержанием и выводами почти все разделы книги. Например, во вводном (установочном) разделе «Основные признаки предложения», наряду с освещением специфики синтаксиса простого предложения в целом, большое внимание автор уделяет раскрытию сущности таких важных синтаксических категорий, как предикативность, модальность и интонация сообщения, являющихся основными грамматическими признаками предложения. Автор особо подчеркивает роль предикативности как необходимый фактор и условие образования всякого предложения: «основными признаками предложения являются интонационная завершенность, значение модальности и синтаксического времени, которые в комплексе образуют категорию предикативности, устанавливающую отнесенность содержания предложения к действительности. Таким образом, общим грамматическим значением предложения выступает предикативность» (стр. 15).

В связи с этим особое значение приобретает определение автором модальности, времени и лица как синтаксических категорий, придающих предложению конкретность и актуальность основного средства общения: «Под категорией модальности прежде всего имеется в виду отношение содержания высказывания к объективной действительности. Сообщаемое может представляться реальным и осознаваться как факт настоящего, прошлого или будущего и нереальным (желательным, предполагаемым, допустимым). Модальность, реализующая значение реальности//нереальности сообщаемого, называется объективной. Она не включает отношения говорящего лица к тому, что отражается предложением. Если же говорящий пропускает то или иное высказывание через призму собственного восприятия, то модальность будет носить субъективный характер. Ср., например, объективно-модальную конструкцию: *Хур оржаҗа* „Дождь идет“ и субъективно-модальную *Хур оржах кевтэ* „Дождь, кажется, идет“» (стр. 13).

Далее автор пытается вкратце реализовать то понимание модальности и способов ее выражения, которое излагается в разделе «Основные признаки предложения», а также в соответствующих разделах, где характеризуется модальность, например, при описании типов сказуемого: «Значение модальности (объективной и субъективной) передается в калмыцком языке различными средствами: модальными словами и частицами, формами наклонения, интонацией» (стр. 13—14).

2. Автор, стремясь всесторонне охарактеризовать социальную функцию языка как средства общения людей, по-новому подходит к анализу простых предложений. Например, оригинальной является данная в книге классификация простых предложений: «Конкретные типы предложений выделяются на основе классификационных признаков. Такими признаками являются: характер отношения сообщаемого к действительности (т. е. модальность), цель сообщения или высказывания, состав предложения, полнота или неполнота их структуры, наличие или от-

[1] См.: Г. Ц. Пюрбеев, Развитие языкознания в Калмыкии, ВЯ, 1969, 2.

сутствие второстепенных членов и количество самостоятельных частей. В соответствии с данными признаками в калмыцком языке выделяются следующие типы предложений: утвердительные, вопросительные и восклицательные; односоставные и двусоставные; полные и неполные, распространенные и нераспространенные, простые и сложные» (стр. 16).

Следует отметить, что такая классификация наиболее полно отражает структуру простых предложений калмыцкого языка. Причем в понимании типов простых предложений у автора обнаруживаются принципиальные расхождения с точкой зрения, изложенной в трудах Г. Д. Санжеева «Грамматика калмыцкого языка» и «Синтаксис монгольских языков», где предложения в калмыцком языке делятся на слитные и сочиненные, а в бурятском языке — на простые, неполные и слитные.

3. Довольно обстоятельными являются разделы «Сказуемое» и «Подлежащее», которые особенно выделяются богатством фактического материала и весьма ценными интересными наблюдениями. В разделе «Сказуемое» автор впервые пытается обобщить и охарактеризовать различные формы выражения сказуемого, в особенности составного сказуемого. Последнее с учетом степени сложности автором подразделяется на семь видов (см. стр. 76—131).

Типы сказуемого, выделенные автором, получают подлинно грамматическую характеристику, а способы их выражения впервые находят наиболее полное свое освещение. В морфологическом плане они сопровождаются разного рода уточняющими пояснениями и примечаниями. Особенно ценными представляются наблюдения над глаголами, участвующими в образовании сложного сказуемого и, в частности, *болх* «быть, становиться», *бээх* «быть, находиться», *гих* «говорить, сказать» и др.

4. К числу разделов, представляющих теоретический интерес, относятся «Определение», «Дополнение», «Обстоятельство», в которых наиболее глубоко и полно охарактеризованы различные синтаксические функции второстепенных членов предложения. Особого внимания заслуживает классификация второстепенных членов с точки зрения зависимости их от главных членов предложения. Так, определение, дополнение и обстоятельство соответственно рассматриваются автором в специально выделенных рубриках.

Вместе с тем чрезвычайно положительным является стремление автора выявить, с какими значениями выступают второстепенные члены в различных по типу предложениях. Исходя из их значений, автор, можно сказать, впервые пытается дать семантическую классификацию второстепенных членов предложения.

5. Раздел «Односоставные и двусоставные предложения» (стр. 35—64) представляет собой не только в калмыцком, но и в монгольском языкознании наиболее полный и систематический опыт рассмотрения различных по структуре и значению односоставных конструкций.

Автор находит в современном калмыцком языке следующие типы односоставных предложений: безличные, обобщенно-личные, определенно-личные, номинативные, номинативные предложения со значением оценки и экспрессией, номинативные предложения без оценочного значения. Каждый тип односоставных предложений подробно анализируется и иллюстрируется соответствующими примерами.

6. На большом языковом материале исследуются причастные и деепричастные обороты. Например, рассматривая причастные обороты, автор детально вникает в характер синтаксического построения обособленных и необособленных причастий. Последовательно проводится мысль о том, что причастные обороты могут обрести все грамматические признаки имени, следовательно, причастный оборот, субстантивируясь, выполняет не только роль прямого и косвенного дополнений, но и функцию подлежащего.

Дифференцированное описание получила и сложная система деепричастных оборотов. Новым словом в калмыцком языкознании явилось разграничение деепричастных оборотов на основе способов выражения субъектных значений.

Книга содержит большой фактический материал, извлеченный из произведений современных калмыцких писателей, фольклорных источников и национального эпоса «Джангар», что в значительной мере повышает убедительность многих теоретических положений и является несомненным достоинством книги.

Подчеркивая общее благоприятное впечатление от книги, нельзя не коснуться некоторых, с нашей точки зрения, незначительных погрешностей, которые имеются в ней.

К сожалению, не получил достаточного освещения порядок слов, который играет для монгольской группы языков, как известно, особо важную роль как средство организации не только предложения, но и словосочетания. Автор лишь мимоходом отмечает следующее: «В калмыцком языке, как и в других родственных монгольских языках (бурятском, халха-монгольском), сказуемое, как правило, употребляется в постпозиции к подлежащему и замыкает предложение. Но такой порядок не является строго регламентированным» (стр. 77). Отмечая нерегламентированность порядка слов в калмыцком языке, автор не затрагивает также некоторые вопросы проблемного характера, которые незаслуженно обойдены исследователями монгольских языков. Например, выполняет ли фиксированность членов предложения в калмыцком языке функции грамматической и синтаксической характерис-

тики слов? Или же рамочная конструкция способствует только обеспечению цельности и организации предложения как определенного, законченного единства?! Если бы эти вопросы нашли обстоятельный ответ в рецензируемой работе, то основные специфические признаки предложения калмыцкого языка, на наш взгляд, выглядели бы значительно полнее. Это способствовало бы расширению представления о специфике порядка слов, имеющего, бесспорно, столь большое значение для строя калмыцкого языка. Правда, автор только вскользь замечает о некоторых инверсионных случаях, например: «В живой разговорной речи сказуемое часто употребляется в препозиции к подлежащему. В литературном калмыцком языке, испытывающем большое влияние со стороны разговорной речи, сказуемое занимает нередко место перед подлежащим, а последнее выносится на конец предложения» (стр. 77). Но эти отступления от рамочной конструкции играют в калмыцком языке определенную семантическую роль, что, на наш взгляд, не нашло в «Грамматике» должного отражения.

В заключение следует отметить, что при изложении теоретических положений, легших в основу синтаксического осмысления и описания различных типов простого предложения современного калмыцкого литературного языка, автор стремится по возможности полнее учесть научные достижения монголистики и синтаксиса современного русского литературного языка.

Нам представляется методологически правомерным, когда автор в целом стремится придерживаться той синтаксической концепции, которая за последние годы стала общепринятой в русском языкознании. Это, в частности, видно из самой трактовки понятия односоставности и двусоставности, а также из классификации типов простого предложения.

Теоретические воззрения автора в области синтаксиса простого предложения применительно к фактическому материалу калмыцкого языка вполне приемлемы, изложены весьма убедительно.

Наличие отдельных недочетов и погрешностей, о которых мы говорили выше, а также некоторые опечатки и техническое несовершенство издания все же не снижают большой научной ценности этого весьма полезного и интересного труда.

Дондуков У.-Ж. Ш.

«Suomen kielen etymologinen Sanakirja».—Helsinki. Y. H. Toivonen. I. 1955; Y. H. Toivonen, Erkki Itkonen, Aulis J. Joki. II. 1958; Erkki Itkonen, Aulis J. Joki. III. 1962; Erkki Itkonen, Aulis J. Joki. IV. 1969; Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. V. 1975

Финский языковед акад. Ю. Г. Тойвонен 22 года тому назад выпустил первый том (*auvja — knaappu*) «Этимологического словаря финского языка». К настоящему времени вышел пятый том Словаря (*teini — vatoa*). Теперь этот труд приближается к завершению. Авторами словаря являются виднейшие финские ученые: акад. Ю. Г. Тойвонен, акад. Э. Итконен, профессора А. Йоки и Р. Пелтола.

Появление Словаря нужно считать важнейшим событием в финно-угорском языкознании, поскольку он является первым подробным этимологическим словарем одного из финно-угорских языков [1].

Рецензируемый Словарь отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам по этимологическому изучению лексики языка. Следует отметить, что в нем исчерпывающе подробно представлена лексика финского языка. Он охватывает не только слова современного финского литературного языка и его многочисленных современных диалектов, но также лексику памятников финской письменности (переводы религиозных книг Агриколы — XVI в., Финско-шведский

[1] Аналогичная работа ведется в Венгрии по составлению этимологического Словаря венгерского языка, где выпускается он в двух вариантах: 1) «A magyar nyelv. történeti-etimologiai szótára» («Историко-этимологический словарь венгерского языка») под ред. чл.-корр. Венгерской АН Лоранда Бенко, 2) «A magyar szókészlet finnugor elemei» («Финно-угорские элементы в венгерском словарном составе») под ред. акад. Д. Лако и проф. К. Редеи. Словари издаются параллельно; до сих пор вышли в Будапеште: I том — 1967, II том — 1970, III том — 1976 (первый вариант) и т. I и II второго варианта — 1971. Кроме того, имеются краткие (однотомные) этимологические словари: Г. Барци «Magyar szófeitö szótár», Budapest, 1941 («Венгерский этимологический словарь»); В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев, Краткий этимологический словарь коми языка, М., 1970. Незаконченные этимологические словари, продолжение которых не предполагается (например, словарь Гомбоца и Мелиха), мы здесь не приводим.

словарь Ленрота, представляющий собой капитальный труд, и т. д.).

Прежде всего бросается в глаза то, что богато представленный в Словаре диалектный материал строго локализован (указаны населенные пункты, где встречается данное слово); в словарной статье приводятся многочисленные диалектные варианты фонетического и семантического характера, помогающие раскрыть и уточнить историю данного слова. Оперирование исчерпывающе подробными диалектными данными возможно было сделать только при хорошей изученности говоров прибалтийских языков (финского, эстонского и т. д.). И действительно, в Финляндии диалектологическая наука стоит на высокой ступени развития.

Финский и другие прибалтийско-финские языки в продолжение многих веков контактировали с соседними языками: балтийскими, германскими, скандинавскими, славянскими (прежде всего русским), саамским и т. д. В Словаре хорошо представлен материал, отражающий взаимовлияние лексики финского (прибалтийско-финских) языка и словарного состава соседних языков. Известно, что словарные заимствования дают ценный материал как для исторической лексикологии, так и для исторической фонетики контактирующих языков. Поэтому авторы Словаря обращают особое внимание на этимологический анализ лексических заимствований.

В прибалтийско-финских языках (в совокупности со всеми диалектами) налицо большое количество русских заимствований. Так, на букву *s* мы насчитали в Словаре свыше 120 русских заимствований, среди них: *сахар*, *закон*, *сани*, *зимовка*, *сыщик*, *сундук*, *судно*, *жемчуг*, *ситник*, *часовня* и др.

Немало и прибалтийско-финских заимствований, встречающихся в русских диалектах (главным образом в северно-русских говорах), таких, как: *шарак* «зубец больших вил», *ша́лга* «поперечник в рыбной запруде», *са́лма*, *солбмя* «пролив», *сулбй* «кисель», *су́рус* «крошка, зернышко», *сорбга* «плотва», *ся́ряндать* «дрожать; озноб» и др.

Прибалтийско-финские языки восприняли также большое количество балтийских, древнегерманских, саамских и скандинавских заимствований. Все это в Словаре получило прекрасное освещение. Вообще в Словаре весьма видное место занимают этимологии заимствованной лексики, тогда как удельный вес анализа прибалтийско-финских слов, восходящих к доприбалтийско-финской эпохе, весьма незначителен: таких слов на букву *s* мы находим только около полусотни (всего на эту букву приведено более 1000 слов).

Языковые контакты имели место и с другими соседними (или жившими когда-то в соседстве) народами, например, с коми народом, который в XI—XV вв. в бассейне Северной Двины имел непосредственное соседство с вепсами и карелами (летописной заволоцкой чудью). Эти контакты в Словаре почти совершенно не получили освещения. Между тем в коми языке имеется до 50 карело-вепсских словарных заимствований, как: *агас* «борона», *калля* «квас», *пач* «печка», *кумыльга* «водоворот», *кась* «кошка», *кега* «омет соломы», *сабри* «стог», *разъя* «корзина», *рунь* «жидкая каша», *карандыс* «ушат», *люська* «ложка», *маръя* (*тусь*) «костяника», *соландык* «солонка» и др. (см.: «Virittäjä», 1967, 1; «Основы», 1976, стр. 221—222).

Установлено также несколько коми заимствований в вепсском языке, например: *vadžu* «рыболовная запруда», **roga* «смола-живица» (см. КЭСК, 50, 341); вепс. *латш* «бочонок» < коми *латш* то же (см. «Коми филология», 1975, стр. 30). Почти все данные о древних языковых контактах между прибалтийскими финнами (вепсами и карелами) и коми-зырянами в Словаре отсутствуют.

Этимологии слов, восходящих к доприбалтийско-финскому периоду, хорошо аргументированы и не вызывают сомнения в их правильности. Впрочем в своем большинстве они сделаны предшественниками авторов рецензируемого Словаря, хотя обычно ссылок на них не делается. В Словаре вообще мы очень редко видим ссылки на других исследователей — в противоположность авторам этимологического словаря венгерского языка, которые сжато излагают всю историю этимологического изучения того или иного слова. Эти ссылки были бы весьма полезными. Следует также отметить ограниченность употребления праформ, особенно редко встречаются праприбалтийско-финские формы.

Мы не сомневаемся в том, что авторам рецензируемого труда принадлежит львиная доля этимологий, представленных в Словаре. Может быть, не даются ссылки на предшественников и редко даются праформы в целях экономии места без того уже большого по объему исследования.

Известно, что проделана значительная работа предшественниками (Э. Сетяля, Й. Миккола, Ю. Вихман, Г. Паасонен, Я. Калима и др.) по этимологическому изучению прибалтийско-финских языков. Благодаря их трудам явилась возможность два десятка лет тому назад начать работу по составлению данного высококвалифицированного труда.

Однако с некоторыми этимологиями Словаря мы не согласны, например, коми *кыс* «шерсть с ног и г о л о в ы животного» авторы Словаря сопоставляют с фин. *käpsä* «лапа зайца»; между тем коми слово, имеющее соответствия в удмуртском и марийском языках, по смыслу не связано с понятием «нога», а имеет семантику «ворс» (см. КЭСК); в словарной

статье *kaskeä* «приказывать, велеть» финское слово сопоставляется с коми *кӧсйыны* «намереваться»; между тем по значению финскому слову ближе стоит другое коми слово: *кесйӧдны* «поручить, задать (работу); снарядить на работу; послать что-нибудь сделать» (см. КЭСК).

Ниже сообщаем некоторый дополнительный материал, взятый из пермских языков (на первом месте приводим заглавное слово словарной статьи Словаря):

hinta «цена»; в эту словарную статью следует добавить коми *чадо* фолькл. «какое-то начальствующее, почетное лицо, главарь» (см. «Коми филология», 1975, стр. 42).

häkä (*häky*, *häkkä*) «чад, угар», которому имеются параллели в других прибалтийско-финских языках, например, эст. диалектн. *häga* «пар; спертый воздух (в комнате)» (SKES). Эти слова сопоставимы с коми скр. *тшакавны* (корень *тшак-*) (собств.) «испортить воздух, навонять (в комнате)», ? удм. *ӝокыт* «душно, душный, духота» (Бор.) — праперм. **ǯak-* или **čak-*; удм. *о* < *ӓ* < *а* — произошла лабиализация *а* под влиянием соседнего *к*, как и в удм. слове *кочо* < **кача*, коми *катша* «сорока» = доперм. **čäk-*. Прибалтийско-финскому *ä* иногда соответствует коми *а*, например, коми *ай* «отец», фин. *äijä*; коми *тайӧ* «это», фин. *tämä* и др. Об анлаутной аффрикате см. «Основы. Фонетика», § 21.

jylkeä «скользкий, шероховатый», ? коми *ельӧӧг* «груздь» < «скользкий» (КЭСК).

kитри «повышенное место на болоте», эст. южн. *kotr* «маленькая кочка», саам. *L. kåbbå* «маленькая горка н середине леса или болота»; морд. М. *kotba* «в болоте на гниющем пне возникшая кочка» (SKES). С данным словом сопоставим корень коми слова *гыб-*: *гыбад* л. «сырое мшистое место с крупным высоким лесом»; *гыбад* вв., нв., уд. (Венд.), *гыбач* печ., уд. «зыбун, трясина, топь» (ССКЗД) — праперм. **gub-*, доперм. **kитр-* «трясина». В КЭСК коми слову *гыбад* дана другая этимология.

kyy «змея»; следует прибавить коми *кый* нв. «минога» (см. «Коми филология», 1975, стр. 29).

nisu «пшеница»; коми *нистыны* «теребить, рвать, дергать», эрз. *нозордамс* «содрать кожицу»; *nisu* первоначально обозначало «ободранное (зерно»), (СФУ — XII, стр. 195).

ohra «ячмень»; следует сопоставить с коми *ӧч* лл. «зерно, зернышко», и возвести к финно-пермской форме **oč'* «вид злака» < праиран. **ač'* < и.-е. **ak̑* (см. ВЯ, 1975, 3).

täysi «полный»; в этой словарной статье (см. стр. 1488) приведены данные: манс. *täoγlə* «полный», хант. *tet*, венг. *tele* то же, которые возводятся к финно-угор. **täνδe*; к данному ряду примеров следует прибавить коми *тӧлӧ*! — возглас, которым успокаивают корову, соответствует русскому *довольно*! *полно*! Относительно соответствия согласных середины слова см. «Основы. Фонетика», § 37, а соответствия гласных 1-го слога — там же, § 112. С точки зрения семантики ср. коми *тырмас* «довольно; хватит!; полно!» и *тырны* «наполниться, заполниться», сюда же надо отнести коми-язьв. *дӧл* «весь, всё, полностью», удм. *долак* «все, всё, целиком» < праперм. **dol-* или **tol-*. В коми *тӧлӧ* начальный глухой еще сохранился.

sapsa, в диалектах также *sopsa*, *säpsä*, карел. *šapšo* и т. д. «мягкая мышца под лопаткой передней ноги лошади; кормовое весло; ягодица» и другие значения. Коми-зырянское *шоша* «холка, загривок» следует считать древним карельским заимствованием, предполагая форму карельского оригинала **šopša*; прибалтийско-финское *s* > карел. *š* не позднее XIII в. (см. «Основы», 1974, стр. 26); при заимствовании, видимо, еще действовал в коми-зырянских диалектах закон выпадения *-р-* (см. «Основы», 1974, стр. 151—152).

siitää «идти измороси», слово перешло в удорский диалект в виде *читас*, в ижемский диалект коми языка — *чита* «изморось»; *читны* уд. «идти измороси»; нужно полагать, что в коми диалекты слово попало непосредственно из языка заволоцкой чуди; в русский язык оно попало в виде *чит* (см. выше).

survoa «толкнуть, колотить»; напрашивается сопоставление с коми-язьвинским *сурнӧ* «толкнуть (например, кулаком); ударить кулаком по зубам, дать в морду» (КЭСК) ? удм. *сӧрыны* «разбить, сломать» (Удм. Рус. сл. 1948).— Праперм. **sǫr-*.

sykkyrä «изгиб, складка»; от этого слова неотделимо коми *чукыр* «морщина, складка».

В Словаре можно найти данные о контактах древнерусского языка с финским, например: *lusikka* < др.-русск. *лъжька* «ложка» отражает передачу *ъ*, *ь* финскими краткими *u*, *i*; в фин. *suntio* «церковный сторож» < др.-русск. (церк.-слав.) *сѫдı* показан рефлекс носового *о* в виде *un*; в фин. *määrä* «мера» < др.-русск. *мѣра* мы видим качество древнерусского ять; в фин. *saapas* «сапог» отражается долгий гласный, существовавший в доисторическое время русского языка. В словаре представлены также финские заимствования, проникшие в древнерусский язык, например: *арбуй* (в новгородском памятнике 1534 г.) «прорицатель, пророк» < фин. *arpa* «жребий», карел. *arboa-* «ворожить, гадать». Эти данные представляют также ценность для исторической фонетики и лексики контактирующих языков.

Читатели ждут завершения весьма ценного научного труда, содержащего исключительно богатый фактический материал и глубокий этимологический анализ прибалтийско-финской лексики.

Лыткин **В. И.**

№ 3 1978

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. Ф. Мурьянов, автор статьи «К семантике старославянской лексики» (ВЯ, 1977, 2) на стр. 132 пишет: «А. С. Львов справедливо считает неологизмом, созданным первыми славянскими переводчиками христианских текстов, префиксальное образование *прѣподобиѥ*. Однако нельзя согласиться, будто „употребление в этом слове суффикса *-иѥ*, конечно, искусственно, потому что отсутствует понятие собирательности» (стр. 76) [1]. Ведь суффиксом *-иѥ* выражалась не обязательно собирательность, он мог придавать слову отвлеченное значение действия, состояния, качества: *веселиѥ*, *зачѧтиѥ*, *наводиѥ*, „наводок", *насилиѥ*, *отрочиѥ* „детство", *плодоносиѥ*, *съдравиѥ*. Ничего специфически христианского в этих словах нет, в древнейшие памятники церковной литературы они попали из существовавшего естественного словаря, как это было и во фразе *слоужити емоу прѣподобьемь и правъдоѭ* (Л I, 75)...».

Как видно из приведенной цитаты, автор, противореча самому себе, считает, что в перевод Л I, 75 слово *прѣподобьемь* попало «из существовавшего естественного словаря», как и слова *веселиѥ*, *зачѧтиѥ* и другие (см. выше). В начале же цитаты, как видели, он соглашался с А. С. Львовым, что *прѣподобье* — неологизм, созданный первыми переводчиками.

Следует иметь в виду то, что в славянских языках как индоевропейское наследие существовал глагольный префикс *прѣ-*, *пере-* < **per-*, придающий глагольным основам значения различных способов прохождения или совершения действий, состояний и т. д. [2]. По подсчету С. Слонского, таких глаголов с префиксом *прѣ-* в памятниках старославянской письменности насчитывается 84 [3].

В тех же памятниках наблюдается употребление того же префикса *прѣ-* с прилагательными, который придает присоединившимся основам усилительное значение. Таких прилагательных насчитывается до 30: *прѣблажьнъ*, *прѣвеликъ*, *прѣлѣпъ* и т.п., в число которых входит и *прѣподобьнъ*. Рассмотрев эти прилагательные, Р. М. Цейтлин пришла к такому заключению: «анализ употребления прилагательных на *прѣ-* с усилительным значением и сравнение их с глаголами с приставкой *прѣ-* показывает, что данные прилагательные в числе многих других сложных слов ст.-слав. языка являются искусственно созданными языковыми средствами, плодом творчества и таланта первых славянских писателей» [4].

Ясно одно: в естественном языке существовало прилагательное *подобьнъ*, которое употреблено, например, в кратком апракосе И VIII, 55, входящем в чтение И VIII 51—59 во вторник 5-й недели по пасхе, и И IX, 9, входящем в чтение И IX, 1—38 в воскресенье 6-й недели по пасхе, не говоря о псалтыри; ср.: «азъ же вѣмь і. і аште рекѫ. ѣко не вѣмь его. бѫдѫ подобьнъ вамъ лъжь» (И VIII, 55 Зогр, Ас и др.) — ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης; «іни глаѫ подобьнъ емоу есть. онъ же глаше ѣко азъ есмь» (И IX, 9 Зогр, Ас и др.)— ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. Это прилагательное образовано от основы глагола *подобити сѧ* [5], ср.: «не подобіте сѧ оубо имъ» (Мф VI, 8 Ас) — μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς.

Таким образом, можно констатировать, что в естественном словаре того диалекта, на который переводились впервые греческие церковные книги, существовали *подобити сѧ* и *подобьнъ*. Переводчики, присоединяя к последнему приставку *прѣ-*, образовали *прѣподобьнъ* для пере-

[1] Цит. ст.: А. С. Львов, Праславянский слой старославянской лексики, ВЯ, 1976, 2.

[2] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 236.

[3] St. Słoński, Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim (starobułgarskim), Warszawa, 1937, стр. 178—195.

[4] Р. М. Цейтлин, Старославянские прилагательные с приставкой *прѣ-*, «Studia palaeoslovenica», Praha, 1971, стр. 71.

[5] M. Brodowska-Honowska, Słowotwórstwo przymiotnika w języku staro-cerkiewno słowiańskim, Kraków—Wrozław—Warszawa, 1960, стр. 102.

дачи греч. ὅσιος и такого слова в естественном словаре, конечно, не было.

Существительное *прѣподобие*, содержащее в своем составе приставку *прѣ-*, по всей видимости, образовано искусственно от *прѣподоб-(ьнъ)* + *ие* для передачи греч. ὁσιότης. Менее вероятно, что существительное *прѣподобие* образовано от *подобие*, поскольку такое образование не имеет аналогий. Помимо того, неизвестно и присоединение приставки *прѣ-* непосредственно к основам существительных. Образование же существительного от прилагательных с усилительной приставкой *прѣ-* известно, ср.: *прѣмѫдрость* от *прѣмѫдръ*, *прѣстѫпьникъ* от *прѣстѫпьнъ*, *прѣльстьникъ* от *прѣльстьнъ*. Надо полагать, и слова *прѣподобие* не было в естественном словаре.

Все такие новообразования, созданные, так сказать, из существующих языковых материалов, входили в группу однокорневых слов, расширяя семью последних. Поскольку они, вновь созданные слова, употреблялись в известных оборотах речи, то и понимание их не вызывало затруднений. Говоря иначе, *прѣподобьныи* содержал в своем составе понятное *подобьныи*; *слоужити емоу прѣподобиемь* было близким к оборотам речи: «и съ любовьѭ слоужити... себѣ» (Син тр 11а, 17—18); «съ оусрьдиѥмъ и съ радостьѭ слоужааше вьсѣмъ» (Супр 284, 9—10) и т. п.

Обратимся теперь к списку слов, которые по мнению М. Ф. Мурьянова, вошли в переводы церковных книг «из существовавшего естественного словаря», т. е. из повседневной живой речи славян. Обосновывается же это утверждение тем, что «ничего специфически христианского в этих словах нет».

Вероятно, что слово *веселие* действительно могло существовать в так называемом естественном словаре, так же как и *питие*, ср.: «нѣ(сть) въкоусила ни ꙗта ни питиꙗ» (Супр 520, 1); *житие* [6], ср.: «разлѫчи... отъ мирънааго житиѣ» (Син тр 90 б, 5—6) — ἀπὸ τῆς ἐν᾽ κοσμῷ ζωῆς и некот. др. Но существительные на *-ьje*, особенно образованные от основ причастий на *-тъ*, *нъ*, *-енъ*, в памятниках старославянской письменности, хотя и многочисленны, но признаются искусственно созданными для передачи греческих абстрактных существительных [7]. К таким, в частности, относится *зачѧтие*, передававшее греч. σύλληψις, и оно до сих пор в славянских литературных языках является книжным словом, научным термином.

А. Мейе писал: «*насилье* „καταδυναστεία" Син тр. 15 а, от *на* и *сила*; калька с греч. так же, как и *наводье* и почти все сложные (слова.— *Л. А*)» [8]. В самом деле, *насилье* невозможно иначе объяснить, как калька κατα — *на*, δυναστεία — *силие*, так как *насилити* — явно отыменный глагол, а от предлога *на* в сочетании с существительным *сила* невозможно образование нового существительного *насилие*. Что же касается слова *наводие* (см. Л VI, 48), кальки с греч. πλήμυρα, то оно не усвоено ни одним славянским языком.

Слова *отрочие* нет в памятниках старославянской письменности, его находим в одноразовом употреблении в *мчнии ... вита и модесте...*; в произведении, как установил А. И. Соболевский, носящем явные следы перевода с латинского языка в Чехоморавии [9]. В нем читаем: «многы силы твори блжныи витъ въ отрочии своѥмь» (Усп. сб. 124 б, 1—3). Поскольку латинский оригинал не найден, то трудно судить, какое слово переведено лексемой *отрочие*, которое, кстати, в этой форме не зафиксировано ни в одном естественном славянском словаре.

Что касается следующего в списке слова *плодоносие*, то не может быть тут сомнения в том, что оно калька с греч. καρποφορία; καρπο — *плодо*, φορία — *носие*. Другим образом объяснять происхождение этого слова невозможно, потому что никакой славянской модели образования существительных на *-ие* от основ глагола неизвестно, поэтому невозможно *ходие* от *ходити*, *вѣрие* от *вѣрити*, *творие* от *творити*, *косие* от *носити* и т. д. Не исключено, что и *съдравие* калька с греч. ὑγίεια, так как ὑγίης — *съдравъ*, ὑγίεια — *сѣдравие* так же, как καρποφορία — *плодоносие*, βραχυλογία — *малословие*, κληρονομία — *наслѣдие*, ἀπιστία — *невѣрие* и т. п.

Так выглядит «существовавший естественный словарь» автора статьи. Таким образом, все возражения автора А. С. Львову оказываются фактически необоснованными.

Далее автор, желая показать, что греч. ὅσιότης означало не только «почтительность, уважение», ссылается на Платона, который толковал указанное греческое слово «как умение человека правильно вести себя по отношению к богам; Новый завет употребляет это слово как обозначение благочестия человека, возрожден-

[6] Об этом слове см.: А. С. Львов, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, М., 1966, стр. 109 и сл.

[7] А. Лескин, Грамматика древнеболгарского (древнецерковнославянского) языка, Казань, 1915, стр. 126 и сл.; A. Meillet, Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, 2-e éd., Paris, 1961, стр. 383 и сл.; А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 230.

[8] A. Meillet, указ. соч., стр. 385.

[9] А. И. Соболевский, Мучение св. Вита в древнем церковнославянском переводе, ИОРЯС, VIII, 1, 1903, стр. 287 и сл.

ного христианской верой» (стр. 132 статьи Мурьянова). По мнению автора, прилагательное ὅσιος в псалтыри означает «свойство человека, ощущающего внутренний страх перед божеством и вечными законами, действующего сообразно с этим чувством» (стр. 132). Все это пересказ идей богословов, а не анализ семантики слов, произведенный на основании данных текстов.

Достаточно взять один-два примера, чтобы убедиться в том, что в контексте ὅσιος не содержит ничего того, что приписывают ему богословы. Так, пс XVII, 26 читается: μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ, который переведен так: «съ прѣподобъномь прѣподобенъ бѫдеши» (Син пс, л. 19 об.). Аф. Александрийский этот стих толкует так: «с ним же кто живет. то говоу житию подобитсѧ» [10], т. е. «тот, кто живет с праведником, сам похожим на праведника станет» — и все! «За тѫ помолітъ сѧ тебѣ въсъ (всѣкъ.— Болон пс, греч. πᾶς) прѣподобъноі во врѣмѧ подобъно» (потрѣбъно.— Болон пс) — Син пс XXXI, 6» — ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πᾶς ὅσιος πρὸς σὲ ἐν καιρῷ εὐθέτῳ. И здесь ὅσιος, переведенный *прѣподобъноі*, имеет только значение «праведный (праведник или угодник)»: «За то помолится о тебе праведный в надлежащее время».

Итак, невозможно обнаружить в слове *прѣподобьныи* тех значений, о которых пишет М. Ф. Мурьянов. Но автор идет дальше по избранной им линии: «Художественно наиболее впечатляющий момент звучания этого слова (прѣподобьныи.— *Л. А.*) — прокимен *Честна пред Господем смерть прѣподобных Его* (Пс 115, 6), подхватываемый обоими полухориями» (стр. 133). *Чьстьна* является переводом греч. τίμιος, известного в разных значениях: «почитаемый», «почтенный», «почетный», «дорогой», «драгоценный» и др. Надо полагать, что в приведенном стихе псалма слово *чьстьна* употреблено в значении «почетна» или «почтена»: «Если жизнь была честным служением определенной идее и человек умер на посту службы этой, конечно, его смерть почетна». Эта мысль выражена в приведенном стихе 6 псалма 115. Что же тут особо художественно впечатляющее, для нас лично непонятно.

Не касаясь дальнейших суждений автора, должны все же особо подчеркнуть следующее: в работе с древними текстами богословского содержания надлежит четко различать богословское осмысление слов и их научно-семантический анализ.

Львов А. С. (Москва)

[10] «Болонски псалтир», София, 1968, стр. 46.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Институте русского языка АН СССР 13 января 1977 г. состоялись восьмые чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Во вступительном слове чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин указал на непреходящее значение трудов В. В. Виноградова для развития советского языкознания. Доклады были посвящены различным аспектам русского словообразования.

Академик В. В. Виноградов неоднократно обращался к проблемам словообразования. Созданное им учение о способах русского словообразования: морфологическом, морфолого-синтаксическом, лексико-синтаксическом и лексико-семантическом — оказало большое влияние на все последующее изучение словообразовательной системы русского языка. Н. М. Шанский (Москва) в докладе «Слово как бинарное деривативное целое и классификация способов словообразования», опираясь на предложенную В. В. Виноградовым классификацию способов словообразования, остановился на некоторых вопросах лексической деривации. Противопоставив собственно словообразование как процесс лексикализации слов языкового стандарта словопроизводству как процессу образования речевых неологизмов, докладчик обратился к характеристике морфологического и лексико-семантического способов, объединяемых в сфере словопроизводства. Морфологический и лексико-семантический способы изоморфны по своей деривативной сущности: посредством обоих образуются первоначально вербонды (или словные окказионализмы), и создаются они по закону аналогии в рамках «деривационного квадрата». Отличие этих способов состоит в применении различных технических средств (сегментного характера при морфологическом и суперсегментного — при лексико-семантическом словопроизводстве), а также в том, что при создании вербонда лексико-семантическим способом заполняется только третья клетка словообразовательного квадрата, а при морфологическом словопроизводстве может заполняться как четвертая, так и третья, что объясняет существование в

рамках морфологического способа не только прямого, но и обратного словопроизводства, названного докладчиком редеривацией. Редеривация определяется как такое словопроизводство, с помощью которого новое слово образуется от существующего не в виде производного, а в виде производящего. Докладчик указал на особый, родовой характер редеривации по сравнению с частными разновидностями морфологического словопроизводства (аффиксация, сложение, безаффиксный способ, аббревиация). Вопрос о статусе и характере той или иной частной разновидности морфологического словопроизводства должен решаться с учетом того, на основе какой словообразовательной базы и как именно то или иное слово образовано, и того, каков диапазон действия данной разновидности. Так, в силу узкого диапазона действия (в пределах только имени существительного) нельзя в один ряд со сложением и аффиксацией ставить аббревиацию и безаффиксный способ. Внутри лексико-семантического способа докладчик выделил две разновидности: семантический и семантико-морфологический способы словопроизводства. В заключение Н. М. Шанский подчеркнул, что в силу диахроничности процесса деривации и динамичности словообразовательной системы различные способы словообразования можно глубоко и всесторонне познать только с помощью комплексного — синхронно-диахронического — исследования, рассматривая слово в большом контексте языковой истории и современности.

Академик В. В. Виноградов выдвинул конструктивный тезис об особом месте словообразования в системе лингвистических дисциплин, показал тесную связь словообразования с грамматикой, с одной стороны, и с лексикологией, с другой. Е. С. Кубрякова (Москва) в докладе «Асимметрия смысловых структур и отграничение словообразования от других типов морфологической деривации», опираясь на тезис В. В. Виноградова о том, что сознание тождества слова покоится на понимании его семантического единства в многообразии его мыслимых видоизменений [1], предложила исследовать процессы морфологической деривации с помощью объективных данных: признаков симметрии ~ асимметрии смысловых структур. Смысловые структуры двух сравниваемых единиц — исходной и результативной — являются, по определению автора, симметричными, когда по числу и характеру значений они идентичны друг другу. Асимметрия структур — это разные по объему и направленности комплексы отношений производного и исходного слова. Для формообразования типична симметрия смысловых структур исходных и результативных единиц деривации, для словообразования — асимметрия этих структур. Достоверный вывод о статусе того или иного класса единиц может быть сделан на основании последовательного сравнения смысловых структур возможно большего количества единиц. В заключение Е. С. Кубрякова подчеркнула, что применение методики исследования симметрии ~ асимметрии смысловых структур исходных и результативных единиц деривации позволит, с одной стороны, обнаружить принципиальную нетождественность процессов формо- и словообразования, а с другой стороны,— объективизировать понятие лексико-семантического единства слова и наметить границы его тождества самому себе.

В докладе А. Н. Тихонова (Ташкент) «Множественность словообразовательной структуры слова и русская лексикография» была поставлена задача определить сущность и границы явления множественности словообразовательной структуры слова. Словообразовательную структуру слова докладчик понимает как формально-семантическое отношение производного к производящему, выражаемое формантом (совокупностью всех словообразовательных средств, участвующих в создании слова). Множественность мотивации трактуется как способность производного слова иметь несколько мотивирующих (производных). По характеру отношений между производящими и производными выделяется два основных типа полимотивированных слов: 1) слова, в которых каждая из мотиваций находит особое формальное выражение в производном, т. е. при разных мотивациях производные слова членятся на разные формальные отрезки, что связано с выражением разных смысловых отношений (например, *разбой* → *разбой-нича-ть* 1. «заниматься разбоем» и *разбойник* → *разбойнич-а-ть* 2. «быть разбойником»); 2) слова, в которых при разных мотивациях слова членятся на одни и те же формальные части [например, *шата(ть)* → *шата-ниј-е* и *шата(ться)* → *шата-ниј-е*]; семантические различия между такими словообразовательными парами, восходящие к различиям в семантике производящих, выражаются синтаксически. Докладчик указал на необходимость отличать понятие множественности мотивации, характерное для обоих типов производных слов, от понятия множественности словообразовательной структуры слова (способности производного слова по-разному члениться при каждой мотивации), которой обладают лишь слова второго типа. В заключение на основе анализа толкований полиструктурных слов, опирающегося

[1] В. В. Виноградов, О формах слова, в кн.: В. В. Виноградов, Избранные труды. Исследования по русской грамматике, М., 1975, стр. 47.

на выявление сложности системы значений производных слов с множественной мотивацией, А. Н. Тихонов предложил некоторые конкретные рекомендации относительно подачи полимотивированных слов в словарях.

Н. С. Авилова (Москва) в докладе «Суффиксальная видовая пара как предмет грамматического исследования» обратилась к проблеме установления существа грамматической категории вида с точки зрения принадлежности ее к словоизменению или к словообразованию. Критически проанализировав основания, положенные в основу понимания глагольного вида в части имперфективации как категории словоизменения, Н. С. Авилова пришла к следующим выводам: 1) нельзя говорить о семантическом тождестве членов суффиксальной видовой пары как об основании для включения такой видовой пары в словоизменение, так как при исследовании семантических структур глаголов, входящих в суффиксальную видовую пару, обнаруживается несовпадение лексических значений у ряда многозначных глаголов [например, *впадать — впасть* «втягиваться — втянуться», но *впадать* «вливаться» (о реках)]; 2) последовательность и регулярность вторичной имперфективации не такова, чтобы можно было включить ее в словоизменение: есть целые ряды приставочных глаголов, не допускающих образования от них вторичного несовершенного вида (например, *сделать*, *поговорить*, *закричать*). Н. С. Авилова привела убедительную аргументацию, основанную на анализе конкретного языкового материала, подтверждающую словообразовательный характер соотношения членов суффиксальной видовой пары.

В. П. Даниленко (Москва) выступила с докладом «Об особенностях морфологического словообразования в языке науки», в котором охарактеризовала ряд особенностей морфологического терминообразования — словообразовательной подсистемы, созданной в языке на базе общего словообразовательного фонда. Особенности, выразившиеся, в частности, в вовлечении в процесс терминообразования символики (создание символо-слов, например: ◡ *-образный*, *γ-лучи*), в расширении круга производящих основ (использование греко-латинских элементов, имен собственных), в более отчетливой специализации словообразующих элементов и др., не являются разрозненными, как показала докладчица. Они взаимосвязаны, взаимообусловлены и служат цели наиболее оптимального выполнения основной, номинативно-дефинитивной функции терминов.

В докладе Е. А. Земской (Москва) «О парадигматических отношениях в словообразовании» словообразование рассматривается как особая подсистема языка, связанная с лексикой, морфологией и синтаксисом, в которой различаются два основных типа языковых отношений — парадигматические и синтагматические. Охарактеризовав синтагматические отношения, докладчица основное внимание уделила парадигматическим отношениям, проявление которых она видит в наличии комплексных единиц (словообразовательный тип, словообразовательная категория, словообразовательное гнездо, словообразовательная парадигма) и микросистем (производные, составляющие слова одной части речи, от слов одной части речи, с одним формантом). В докладе были охарактеризованы словообразовательная категория и словообразовательная парадигма, определено отличие словообразовательной парадигмы от парадигмы словоизменения. Отграничивая понятие «словообразовательная парадигма» от понятия «словообразовательное гнездо», Е. А. Земская указала и на тесную связь между ними: построение словообразовательной парадигмы — необходимый этап для изучения словообразовательных гнезд. Одной из ближайших задач дериватологии является, по ее мнению, построение типологии словообразовательных гнезд. В заключение Е. А. Земская отметила, что адекватное объекту описание словообразовательной подсистемы языка может быть достигнуто только при изучении всех видов синтагматических и парадигматических отношений.

В докладе В. В. Лопатина (Москва) «О семантической структуре словообразовательного форманта» развиваются выдвинутые в трудах В. В. Виноградова положения об органической связи словообразования с грамматикой, с разнообразными морфологическими категориями частей речи, о «впаянности» форм словоизменения в словообразовательную структуру слов. Докладчик подчеркнул, что в состав словообразовательного форманта как специфического компонента структуры мотивированного слова, являющегося средоточием словообразовательного значения, входит при суффиксальном способе словообразования система флексий мотивированного слова. Следовательно, общее грамматическое значение части речи (например, значение предметности у существительного) является при суффиксации одним из компонентов словообразовательного значения. В. В. Лопатин подробнее остановился на нескольких лексико-словообразовательных разрядах, в которых компонент словообразовательного значения, вносимый системой флексий мотивированного слова, конкретнее, чем общее значение части речи: на существительных pluralia tantum, существительных женского пола, притяжательных прилагательных. Например, словообразовательное значение притяжа-

тельности выражается в прилагательных уже специфической системой флексий.

И. С. Улуханов (Москва) в докладе «Соотношение способов словообразования в современном русском языке» обратился к рассмотрению неизученной проблемы соотношения способов словообразования, в частности, чистых и смешанных способов. Докладчик определил круг формантов, выступающих только в чистых и только в смешанных способах, а также в тех и других одновременно, и ввел понятие структурно близких слов разных способов словообразования (например, префиксальное *за-пудрить* и префиксально-суффиксальное *за-хламить*). Значения структурно близких слов могут быть описаны с помощью тождественных образцов толкования. Словообразовательную цепочку слов смешанных способов словообразования можно рассматривать, по мнению автора, как такую разновидность словообразовательной цепочки структурно близких слов, в которой пропущены определенные звенья. Эти пропущенные звенья могут «восстанавливаться» (чаще всего окказионально) путем так называемого обратного словообразования. Отдельные слова смешанных способов и новые смешанные способы могут возникать по модели опосредствованной мотивации слов чистых способов словообразования. В докладе были рассмотрены факты, способствующие или препятствующие этим процессам.

Чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев (Москва) в заключительном слове отметил высокую научную ценность прочитанных докладов, в которых нашли дальнейшее развитие выдвинутые академиком В. В. Виноградовым идеи по различным вопросам словообразования. Доклады будут полностью опубликованы в сборнике «Русский язык: вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения — I—VIII».

Белоусова А. С. (Москва

*

10—13 января 1977 г. в Москве в Институте востоковедения АН СССР состоялась научная дискуссия на тему «Типология как раздел языкознания», организованная Институтом востоковедения АН СССР и научным советом «Теория советского языкознания» ОЛЯ АН СССР. По важности поставленных проблем, по числу участников дискуссия явилась значительным научным событием. На ней выступили видные советские специалисты в области типологии и общего языкознания, представляющие многие научные центры страны.

Дискуссию открыл вступительным словом заместитель директора Института востоковедения АН СССР В. М. Солнцев. 74 доклада было зачитано на четырех пленарных, а также на следующих секционных заседаниях: «Общие вопросы типологии», «Типология и история языка», «Типология и семантика», «Типология и фонология», «Типология и вопросы ареальной лингвистики и социолингвистики» и «Типологическая характеристика языков».

В докладах, представленных на пленарных заседаниях и на секции «Общие вопросы типологии», обсуждались общетеоретические проблемы, связанные с современным этапом развития типологии, в частности, с ее становлением как важного раздела общего языкознания, как дисциплины, имеющей особый предмет исследования, требующий его точного определения, а также выработки специального понятийно-терминологического аппарата. Активному обсуждению, в частности, подверглось центральное понятие лингвистической типологии — понятие языкового типа и в связи с этим — основная конкретная задача типологии — классификация языков по типам. Большое внимание было также уделено отношениям типологии с другими областями лингвистики.

В. Н. Ярцева (Москва) указала в своем докладе на важность определения понятия «языковой тип» как для выработки рациональной классификации языков, так и для научного описания отдельных языков и языковых групп. Особое внимание было обращено на вопросы связи языковых типов с содержательными и/или структурными аспектами языка, взаимозависимости различных уровней языка, релевантности отдельных уровней конкретных языков для определения их языкового типа, на проблему соотношения понятия языкового типа с генетическим родством языков и на степень совместимости этих понятий.

Говоря о предмете и задачах типологии В. М. Солнцев подчеркнул, что типология стала важной составной частью общего языкознания. Она смыкается с онтологией языка, так как предметом ее становится человеческий язык вообще. Более конкретная задача типологии — классификация языков по типам — является одним из этапов постижения онтологической сущности языка. При разработке понятия «языковой тип» необходимо, по мысли докладчика, опираться на понятие (структурного) подобия языковых систем. Последнее определяется прежде всего тождеством иерархических межуровневых отношений в языке. Они же определяют тождество языковой системы самой себе во времени, а также могут обусловливать типологическую близость генетически родственных языков.

И. П. Сусов (Калинин) связал новое, более широкое понимание типологии с представлением о ее трехступенчатом строении (теория универсалий, на основе

которых строится язык-эталон, отражающий свойства языка вообще; учение о языковых типах, центральном понятии типологии, и характерологическое описание отдельных типов).

Г. В. Колшанский (Москва) также указал на связь между выявлением универсальных свойств языков и постижением сущности языка вообще. Эти свойства, понимаемые как наиболее общие категории внутренней структуры языка, рассматривались как предмет универсальной типологии, в то время как частная типология, по мысли докладчика, должна заниматься классификацией конкретных языковых средств, выражающих универсальные языковые структуры (такие, как предикативные и атрибутивные отношения). Универсальная типология характеризовалась как ответвление универсальной грамматики на новых современных основах.

Говоря о предмете типологии и путях его выделения, Н. Н. Коротков (Москва) остановился на необходимости сочетания внутрисистемного подхода к языковым фактам с единым, научно обоснованным подходом к решению взаимосвязанных общих проблем языкознания. В центре этой проблематики докладчик видит вопрос о грамматической природе слова.

Исходя из понимания языкового типа как целостной системы, Г. А. Климов (Москва) продемонстрировал на примере эргативного строя импликации его для всех уровней языковой структуры. В частности, была показана специфика структурно-семантической оппозиции «переходность/непереходность» в языках эргативного строя в сравнении с номинативными языками.

В своем выступлении чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (Москва), отметив нерешенность многих общих теоретических проблем типологии, указал на необходимость поиска, осмысления и описания явлений типического в языках. Об изменении роли типологии в современных лингвистических исследованиях говорил Г. П. Щедровицкий (Москва).

На дискуссии широко обсуждались вопросы методики типологических исследований. Они рассматривались в тесной связи с целями и задачами конкретных типологических исследований, обусловливающими множественность частных типологий.

Определяя типологию как классификацию различных типов существования объекта, В. Г. Гак (Москва) изложил идею неизбежной множественности лингвистических типологий, несводимых к одной общей для языков типологии. Была дана классификация типологических исследований по объекту, направлению и цели исследования. Доклад И. Ф. Вардуля (Москва) и В. М. Солнцева содержал характеристику двух разновидностей типологических классификаций, «упорядочивающей» и «предсказательной». Первая упорядочивает уже описанные языки, вторая на этой эмпирической базе стремится описать множество всех возможных языков. Предпосылка этого — установление универсалий как закономерностей, ограничивающих комбинаторику языковых свойств. В. Б. Касевич (Ленинград) обосновал различение ранжирования и классификации языков в зависимости от того, используется ли для сопоставления язык-эталон или конкретные языки соотносятся непосредственно друг с другом. В связи с процедурой классификации рассматривались различные решения при выборе типологически релевантных параметров и признаков. Н. Д. Андреев (Ленинград) и Л. Д. Андреева (Ленинград) предложили строить адекватную типологическую классификацию языков с учетом многомерности внутренней системной организации языка, а также толерантности отношений внутри языковой структуры и толерантного характера корреляций между свойствами классифицируемых языков. Г. П. Мельников (Москва) развивал взгляд на системную типологию как на ветвь системной лингвистики, основанной на понятиях внешней и внутренней детерминанты языковой системы и на принципе обусловленности внутренней детерминанты внешней при формировании языковых типов. В докладе О. С. Ахмановой (Москва) и Н. Г. Бочоришвили (Тбилиси) говорилось о типологическом подходе и выработке понятия языкового типа как пути решения вопроса о «третьем члене сравнения» при сопоставлении двух неродственных языков. Д. Буранов (Ташкент) остановился на особенностях методики и метаязыка сравнительной типологии, понимаемой как раздел типологии, занимающийся бинарными одно- и многоязычными сопоставлениями. В связи с этим особое внимание было уделено понятию типологической категории. Обратив внимание на важность характерологии как раздела современной типологии, Ю. В. Рождественский (Москва) показал необходимость разграничения разных функциональных стилей при сопоставлении текстов разных языков. Принципы информационно-статистической типологии текста (на материале языков различной морфологической типологии) были изложены в докладе П. М. Алексеева (Ленинград), К. Б. Бектаева (Чимкент) и Р. Г. Пиотровского (Ленинград). Онтологической сущности значения языковых единиц был посвящен доклад А. А. Поликарпова (Москва).

В ряде докладов преимущественное внимание было уделено проблеме раз-

работки концептуального аппарата типологии. Б. Ю. Городецкий (Москва) обосновал определение типологии как науки о межъязыковых моделях языковых подструктур, а лингвистического типа как абстрактной (по отношению к конкретным языкам) языковой подструктуры. Проблемы понятийно-терминологического аппарата типологии были рассмотрены А. Е. Кибриком (Москва) в связи с задачами описательной лингвистики как эмпирической базы для типологии. Докладчик указал на необходимость достижения переводимости метаязыка каждого конкретного описания на единый метаязык типологии. В докладе В. Н. Ерхова (Орел) говорилось о терминах, образующих единый метаязык лингвистики в силу того, что они ориентированы на универсальные языковые явления. На примере термина «падеж» было показано, что использование таких терминов должно ориентироваться на содержательную основу языковых универсалий, а не на типологически различные формальные способы их выражения.

Вопросы универсалий и их значения для типологии широко обсуждались на дискуссии. В ряде докладов они были предметом специального рассмотрения. Так, о методике обнаружения абсолютных языковых универсалий путем семиологического анализа языка говорил в своем докладе В. В. Мартынов (Минск). При этом, семантика и синтаксис были определены как области, где прежде всего следует искать абсолютные универсалии. И. Ш. Козинский и Н. К. Соколовская (Москва), рассмотрев вопрос об исключениях из лингвистических универсалий, предложили ввести понятие возмущающего фактора, лежащего в основе таких исключений. Примеры подобных факторов были проанализированы И. Ш. Козинским в докладе об универсалиях, управляющих порядком глагольных аффиксов и порядком слов.

Большое место на дискуссии заняли вопросы связи типологии с историческим языкознанием. М. М. Гухман (Москва) рассмотрела важнейшие аспекты соотношения диахронической и синхронной типологий: различие и общность их содержания, задач и методики, важность проблемы диахронических констант для определения предмета исторической типологии, отличие этих констант от диахронических универсалий, в частности, их значимость для исторического развития не только неродственных, но и родственных языков. Т. С. Шарадзенидзе (Тбилиси) посвятила свой доклад диахронической интерпретации традиционной морфологической классификации, в частности, проблеме рассмотрения ее с точки зрения поступательного развития языкового строя. Г. А. Зограф (Ленинград) продемонстрировал важность сопоставительного, типологического анализа родственных языков для уточнения и дополнения синхронной и диахронической интерпретации их фактов. Операциональными единицами такого анализа являются функциональные соотношения материальных элементов. О некоторых методических проблемах диахронической типологии говорилось в докладе Г. А. Давыдовой (Москва) и Г. П. Щедровицкого. Конкретные примеры диахронических констант были проанализированы В. Д. Аракиным (Москва) на материале флективных и агглютинативных языков и наблюдаемых в них закономерностях развития микросистем имени и глагола. На примере исторического развития молдавского языка Т. П. Ильяшенко (Кишинев) показала важность учета исторического взаимодействия языковых типов для понимания соотношения типа, системы и нормы в синхронии. В докладе Н. А. Сыромятникова (Москва) рассматривались причины спонтанных типологических изменений в грамматическом строе японского языка, вызванные нуждами общения, сдвигами в осмыслении действительности носителями языка, сокращением многовариантности и др. А. Ю. Милитаревым (Москва) было высказано предположение, что корнеобразование (путем фонетического варьирования) является универсальным способом развития лексики и заслуживает внимания с типологической точки зрения. З. Н. Волкова (Москва) говорила о роли типологического подхода к истории разных языковых групп для устранения противоречий в описании истории конкретных языков.

В центре внимания ряда докладчиков была роль формальных особенностей структуры слова в определении языковых типов и типология техники выражения грамматических значений (как в рамках слова, так и вне его). В докладе Е. С. Кубряковой (Москва) был представлен общий план типологического обследования языков на морфонологическом уровне, определен набор возможных морфонологических характеристик и охарактеризована их связь с явлениями морфологического уровня и типом языка. С. Е. Яхонтов (Ленинград) указал на необходимость учета грамматических элементов, оформляющих как слово, так и группы слов, при отнесении языка к тому или иному типу. В. М. Алпатов (Москва) рассмотрел понятия «флективность» и «агглютинативность» с точки зрения степени спаянности грамматического элемента с основой. В. И. Беликов (Москва) обратился к понятию инкорпорации в его соотношении с понятиями синтетизма и аналитизма. Определяя морфологический тип

тюркских языков, Ф. Ганиев (Казань) показал необходимость учета не только формального способа соединения морфем, но и соотношения синтетизма и аналитизма в этих языках.

Различными своими аспектами на дискуссии была представлена семантическая типология. Методику полевой работы в этой области всесторонне охарактеризовали в своем докладе Б. Ю. Городецкий и Т. С. Зевахина (Москва). Специальному рассмотрению в некоторых докладах подверглись грамматические средства языка с точки зрения типологии выражаемых ими значений. В. Г. Гак и С. Н. Кузнецов (Москва) представили типологический анализ категории числа с точки зрения более широкой категории квантитативности. Рассматривались две различные типологии в рамках типологии числа — типология квантитативной сегментации и типология квантитативных оппозиций. В докладе Н. В. Охотиной (Москва) и Н. В. Громовой (Москва) был дан сопоставительный анализ семантики согласовательных классов в языках банту в целях пересмотра их типологической классификации. Типология полисемии стативных морфем (на материале нивхского, русского, немецкого и китайского языков) рассматривалась в докладе Г. А. Отаиной (Владивосток).

Преимущественно в плане типологии лексической семантики рассматривались явления лексического уровня. В докладе Т. С. Зевахиной была изложена методика поиска универсалий в области полисемии, охарактеризован ряд универсальных внутрисемемных корреляций, универсальность сходства этих корреляций у антонимов и т. д. Типологии семантических реляций между компонентами сложных слов в изолирующих языках (в частности, межъязыковым реляционным типам) был посвящен доклад А. Л. Семенас (Москва). В связи с вопросами словосложения в изолирующих языках Н. В. Омельянович (Москва) охарактеризовала общие структурные черты лексического яруса в этих языках. В. И. Асланов (Баку) показал важность выявления межъязыковых семантических закономерностей для определения интенций лексико-семантического развития в языке. В. А. Попов (Ленинград) продемонстрировал возможности диахронической интерпретации систем терминов родства в языках акан на основе знания исторического соотношения между типами в общей типологии систем терминов родства. Некоторые обобщения, касающиеся семантической стороны систем терминов родства, были изложены в докладе Э. Г. Соселия (Тбилиси).

Синтаксические структуры языков различного строя рассматривались и в свете общетипологической проблематики и с точки зрения типологической специфики отдельных языков и языковых групп. На материале индо-иранских языков Д. И. Эдельман (Москва) показала две тенденция типологического изменения их строя — переход от номинативности к неустойчивому номинативно-эргативному строю и от последнего — возврат к полной номинативности. Полной эргативизации строя в данных языках не было обнаружено. М. Е. Алексеев (Москва) охарактеризовал строй дагестанских языков как эргативный, но с элементами номинативности, а также с реликтами активного строя. Н. В. Вашкевич (Москва) предложил различать два уровня коммуникативно-смысловой структуры предложения — глубинный, несущий в себе универсальное начало, и поверхностный, определяющий типологическую специфику языков. Е. И. Шутова (Москва) развивала мысль о том, что типология синтаксических систем предложения должна отражать типовые различия парадигматической стратификации инвариантного синтаксического отношения «субъект—предикат». В докладе А. К. Оглоблина (Ленинград) излагались принципы типологического описания номинализованных конструкций. Р. А. Асатиани (Тбилиси) рассмотрел различия между языками в поверхностной реализации универсального глубинного механизма порождения отрицательных предложений. Анализу синтаксического и актуального членения двусоставного предложения в письменном тексте арабского языка посвятила свой доклад А. Г. Белова (Москва). Темой доклада И. М. Юсупова (Москва) был изоморфный характер структурных типов простого предложения арабского литературного языка и современных ему диалектов. Предметом анализа В. Махди (Воронеж) были грамматические значения синтаксических структур в индонезийском языке, на материале которых автор попытался очертить общие границы омонимии в индонезийском языке. Межуровневая взаимосвязь свойств слов рассматривалась в докладе Л. И. Шкарбан (Москва), посвященном типологии систем частей речи в языках Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

Большое место в дискуссии занимало обсуждение различных аспектов фонологической типологии разноструктурных языков. В докладе С. Е. Яхонтова (Ленинград) классифицировались фонетические системы 50 слоговых языков и диалектов Дальнего Востока. Было, в частности, указано, что типологические группы не совпадают с единицами генетической классификации. Закономерности фонетической организации слова как целостной синтагматической единицы в языках различной типологии были из-

ложены Л. Г. Зубковой (Москва). О типологической близости дистрибутивных моделей корня в общекартвельском и общеиндоевропейском в связи с реконструируемой типологической близостью их фонологических систем говорилось в докладе И. Г. Меликишвили (Тбилиси).

Проблеме типологического изучения фразовой интонации в тоновых и нетоновых языках посвятила свой доклад Л. В. Златоустова (Москва). В связи с поиском эталона изолирующих языков Ю. Л. Благонравова (Москва) сосредоточила свое внимание на соотношении тона, слога и морфемы в этих языках. Синтагматика и парадигматика дифференциальных признаков фонем рассматривалась А. Ю. Ефимовым (Москва) с целью выработки универсального алгоритма сегментации слога. О функциональной значимости конечных невзорванных смычных для силлабических языков говорил в своем докладе В. М. Живов (Москва). В ряде докладов рассматривались типологические характеристики фонологических систем близкородственных языков как возможные свидетельства их исторической взаимосвязи: «нижнее сжатие» и эмфатические ларингалы в дагестанских языках (С. В. Кодзасов, Москва), типы просодических систем в дагестанских языках (С. А. Старостин, Москва), типы фонаций в однослогах тюркских языков (И. И. Пейрос, Москва), тональные системы в уральских языках (Е. А. Хелимский, Москва). В контексте типологии ономатопеи С. В. Воронин (Ленинград) и И. Б. Братусь (Ленинград) охарактеризовали изоморфизм фонетической структуры континуантов в индонезийском и английском языках.

В поле зрения участников дискуссии был и типологический аспект ареальной лингвистики и социолингвистики. Темой доклада В. П. Нерознака (Москва) явилось соотношение типологических и ареальных параметров и признаков при выделении и описании языковых союзов. Отмечалось также, что типология языковых союзов должна привести к построению общей теории языковых союзов.

Объект и основные понятия социолингвистической типологии определялись в докладе В. А. Виноградова (Москва), А. И. Коваль (Москва) и В. Я. Порхомовского (Москва). Указывалось, что объектом типологизации являются социолингвистические ситуации, центральным понятием — понятие коммуникативной среды, целью — выделение социолингвистических зон, в терминах которых единообразно описывались бы в социолингвистическом плане и отдельные государства и более обширные ареалы. Об изучении языкового употребления как основной задаче лингвостилистики говорилось в докладе Н. Ю. Бокадоровой (Москва). В частности, типология функциональных подобий рассматривалась как база для таких исследований. Типологической общности и специфике арабского литературного языка и диалектов был посвящен доклад Э. П. Мишкурова (Москва).

Характеризуя дискуссию в целом, В. Н. Ярцева подчеркнула ее своевременность, разнообразие вопросов, обсуждавшихся на ней, важность поиска глубинных причинных закономерностей типологического разнообразия языков и общих для языков закономерностей, лежащих в основе их структуры, а также актуальность системного подхода к типологии и исследований в области исторической типологии. Было указано также на необходимость дальнейшей разработки проблемы типологической классификации языков.

Подводя итоги дискуссии, В. М. Солнцев отметил ее значение прежде всего для разработки общетеоретических основ типологии, для уточнения ее проблематики и концептуального аппарата, а также для выявления всей сложности таких проблем, как определение основ классификации языков, критериев выявления языковых типов. Тем самым, дискуссия помогла определить нерешенные вопросы теории и методики типологии и наметить направление ближайших и перспективных исследований в этой области. Была отмечена также важность и плодотворность обмена мнениями языковедов разных профилей, специалистов по западным и по восточным языкам.

Дискуссия продемонстрировала важную роль творческого сотрудничества лингвистов разных научных учреждений и вузов страны, в частности, Института языкознания АН СССР и Института востоковедения АН СССР, концентрации их усилий для совместного решения на основе максимально широкого языкового материала сложных проблем современной лингвистики.

Шкарбан Л. И. (Москва)

CONTENTS

Articles: Ivanov V. V. (Moscow). The importance of the Russian language for the life of peoples and languages of the USSR; Širaliev M. Š. (Baku). Current trends in the development of the Azerbaidjani literary language; **Discussions**: Trubačev O. N. (Moscow). Etymological studies of the East Slavonic languages: the dictionaries; Sorokoletov F. P. (Leningrad). Traditions of Soviet Russian lexicography; Axmanova O. S., Magidova I. M. (Moscow). Pragmatic linguistics, pragmalinguistics and linguistic pragmatics; Zolotova G. A. (Moscow). Typology of the simple sentence; Grigorieva A. D. (Moscow). On the analysis of poetic texts; Serkova N. I. (Khabarovsk). Some premises for the division of texts at the supra-phrase level; Kurmanbaev N. M. (Alma-Ata). On the origin of morphological formants; **Materials and notes**: Makovskij M. M. (Moscow). Textology and lexico-semasiological studies; Edelman D. I. (Moscow). On the theory of the Sprachbund; **Surveys**: Bondarko L. V., Lilič G. A. (Leningrad), Nikolaeva T. M. (Moscow). L. V. Ščerba as viewed by Czechoslovak linguists; **Reviews**; **Scientific life**.

SOMMAIRE

Articles: Ivanov V. V. (Moscou). Le rôle de la langue russe dans la vie des peuples et des langues de l'URSS; Širaliev M. Š. (Baku). Tendances du développement de l'azerbaijanais littéraire d'aujourd'hui; **Discussions**: Troubačev O. N. (Moscou) Études étymologiques des langues slaves orientales: dictionnaires; Sorokoletov F. P. (Léningrad). Traditions de la lexicographie russe soviétique; Axmanova O. S., Magidova I. M. (Moscou). Linguistique pragmatique, pragmalinguistique et pragmatique linguistique; Zolotova G. A. (Moscou). Sur la typologie de la proposition simple; Grigorieva A. D. (Moscou). Contribution à l'analyse du texte poétique; Serkova N. I. (Khabarovsk). Facteurs de la segmentation du texte au niveau supra-phrastique; Kurmanbaev N. M. (Alma-Ata). Sur l'origine des formants morphologiques; **Matériaux et notices**: Makovskij M. M. (Moscou). Textologie et études lexico-sémasiologiques; Edelman D. I. (Moscou). Sur la théorie de l'union linguistique; **Aperçus**: Bondarko L. V., Lilič G. A. (Léningrad). Nikolaeva T. M. (Moscou). Les linguistes tchécoslovaques sur l'oeuvre de L. V. Ščerba; **Comptes rendus**; **Vie scientifique**.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28.02.78 Подписано к печати 6.05.78 Т-04097 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 15,7 Бум. л. 5 Тираж 7235 экз. Зак. 233

Издательство «Наука», 103717, Москва, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that ti cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Woprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrucke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.